88.3
Л 190

Jacques Lacan

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 10

ТРЕВОГА
(1962–1963)

LE SEMINAIRE

ЛОГОС ГНОЗИС

КНИГА 10
ЖАК ЛАКАН
СЕМИНАРЫ
ЛОГОС ГНОЗИС

ЖАК ЛАКАН. СЕМИНАРЫ. **КНИГА X**

Programme A. Pouchkine

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.

Ouvrage réalisé dans le cadre du programme d'aide à la publication Pouchkine avec le soutien du Ministère des Affaires Etrangères français et de l'Ambassade de France en Russie

Jacques Lacan

LE SEMINAIRE

L'ANGOISSE

LIVRE X
(1962/1963)

Texte ütabli par Jacques-Alain Miller

EDITIONS DU SEUIL
PARIS
2004

ЖАК ЛАКАН

СЕМИНАРЫ КНИГА 10

ТРЕВОГА

(1962/1963)

В редакции Жака-Алэна Миллера

ГНОЗИС/
/ ЛОГОС

МОСКВА
2010

ББК 87.3
Л 86

Перевод с французского – *А. Черноглазов*

Координация проекта – *О. Никифоров, философский журнал ЛОГОΣ (Москва)*

Лакан Ж.

Л 86 *Тревога* (Семинар, Книга X (1962/63)).
Пер. с фр./ А. Черноглазова. М.: Издательство "Гнозис", Издательство "Логос". 2010). – 424 стр.

Дизайн серии – *Андрей Бондаренко*
Художественное формление – *А. Ильичев*

ISBN 5-8163-0037-7 (серия, т. X)

© Jacques Lacan. Le Séminaire, Livre X: *L'angoisse* (Texte établi par Jacques-Alain Miller). Éditions du Seuil. Paris. 2004
© Издательство "Гнозис", "Логос" (Москва). 2010

СТРУКТУРА ТРЕВОГИ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

I
ТРЕВОГА В СЕТИ ОЗНАЧАЮЩИХ

Желание Другого
К орографии тревоги
Серьезность, забота, ожидание
Торможение, затруднение, смущение
Торможение, эмоция, волнение

В этом году я буду с вами говорить о тревоге.

Один довольно близкий мне человек из нашего круга выразил, однако, на днях удивление тем, что я заявил именно эту тему: она не показалась ему многообещающей. Должен сказать, что мне не составит труда доказать обратное. На этот предмет накопилось столько вопросов, что мне придется сделать для этого семинара строгий отбор. Вот почему я постараюсь уже сегодня взять с вами быка за рога.

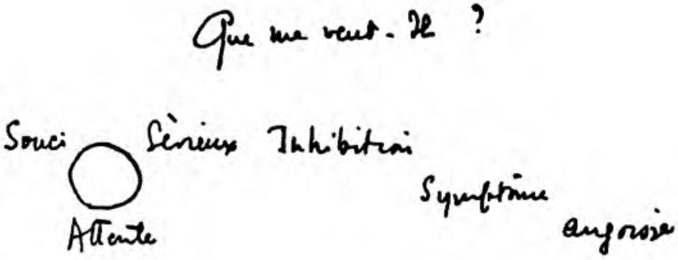
Мне кажется, что удивление моего коллеги несет на себе след так и не утраченной наивности, по которой многие до сих пор думают, будто я каждый год выбираю тему лишь потому, что мне интересно развить какую-нибудь очередную идейку. Вовсе нет. Тревога – это как раз тот пункт, где все магистральные темы предыдущих лет Семинара сходятся воедино. Вы сами убедитесь, как плотно окажутся сопряжены друг с другом понятия, связь которых оставалась для вас до сих пор сомнительной. Вы увидите, я надеюсь, насколько уяснится то место, которое каждое из них занимает, когда тревога свяжет их в один тугой узел.

Я уверен в этом, поскольку мне показалось, что, судя по результатам так называемого «провинциального» собрания нашего общества, в отношении такой важнейшей структуры, какой является для нас фантазм, в вашем сознании что-то, наконец, сдвинулось. А структура тревоги, как вы увидите, мало от нее отличается – она, строго говоря, та же самая.

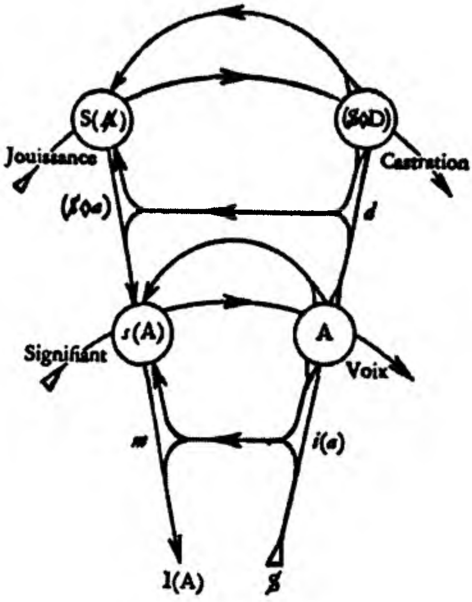
1

Я написал на доске, для наглядности, несколько означающих. Доска маленькая и все, что я хотел бы записать, на ней не поместится, но злоупотреблять схемами тоже нам ни к чему.

Они образуют две группы. Слева вот эта – я ее в дальнейшем дополню.



Справа – граф, который, наверное, вам порядком уже надоел, но без которого нам не обойтись: вы сами убедитесь, что в качестве ориентира он окажется все больше незаменим.



Вам раньше и не мерещилось, наверное, что по форме своей он напоминает известное средневековое орудие пытки в форме металлической груши. Сегодня у нас хороший повод об этом задуматься.

С другой стороны, если топологическая поверхность, которой я посвятил в прошлом году немало времени, так

называемая *бутылка Кляйна*, напомнила некоторым из вас определенные формы складок в тканях эмбриона, а именно в слоях коры головного мозга, то никому не пришло в голову, что граф со связывающей его боковые стороны сетью векторов очень похож на солнечное сплетение. Я не собираюсь, конечно, выдавать вам все его многочисленные секреты – замечу лишь, что сходство не является, как может показаться, таким уж внешним и заслуживает того, чтобы теперь, говоря о тревоге, его отметить.

Как подтверждает до известной степени то сомнение одного из коллег, о котором я в начале занятия упомянул, тревога не относится к тем явлениям, которые нас, психоаналитиков, особенно мучают. По сути, однако, дело должно было бы, мягко говоря, обстоять иначе. В ваших отношениях с пациентом тревога должна быть, по идее, в порядке вещей. В качестве аналитика вы каждый момент должны отдавать себе отчет в той границе, за которой тревога может оказаться для пациента невыносима. Приходится предположить поэтому, что, по меньшей мере для тех, кто обучен технике, это вошло в привычку и делается незаметно, само собой. Но у начинающих аналитиков случается – и слава Богу – что стоит им выказать определенную предрасположенность к этой профессии, как в первых же контактах с лежащим на кушетке больным они ощущают прилив тревоги.

В связи с этим неплохо затронуть и вопрос о том, как тревога передается. Та тревога, которую вы так неплохо научились в себе, казалось бы, регулировать и заглушать, что можете даже ей руководствоваться – та ли это самая тревога, которую ощущает ваш пациент? А почему бы и нет? Я оставляю покуда вопрос открытым – может быть, ненадолго. Но задать его стоит с самого начала, хотя ответить на него лучше, наверное, опираясь на важнейшие формулировки, которые нам еще предстоит выработать – так что придется подождать, пока ход моей мысли придет к этому своим чередом.

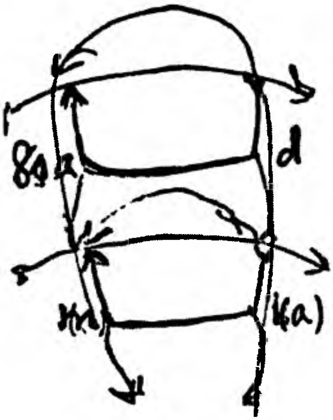
Для моих постоянных слушателей совершенной неожиданностью они, по всей видимости, не станут. Однажды, если помните, после очередной нашей «провинциальной» встречи, результаты которой меня не слишком порадовали,

я счел нужным, в качестве отступления от темы прошлогоднего семинара, предложить формулу, указывающую на принципиальную связь тревоги с желанием Другого.

Для тех, кто не присутствовал на упомянутой встрече, я напомню ту притчу, ту занимательную форму, в которую я облек тогда свою мысль. Представьте себе, что одев маску животного, которую носит колдунья так называемого грота Трех Братьев, я оказался лицом к лицу с другим животным – скажем, с богомолом громадных размеров. Поскольку сам я не знал, какая маска на мне надета, у меня были, как сами понимаете, причины поволноваться по поводу того, не введет ли эта маска чудовище в заблуждение относительно того, кто я на самом деле такой. Дело, как я подчеркнул, осложнялось тем, что в таинственном зеркале глазного яблока насекомого я своего облика разглядеть не мог.

Метафора эта сохраняет свое значение и сейчас. Она объясняет, почему центральное место среди записанных на доске означающих занимает вопрос, который соединяет, подобно шарниру, оба этажа графа, в которых отражена связь между субъектом и означающим – вопрос, который уже давно представляется мне главным ключом к учению Фрейда о субъективности: *Che vuoi?*, *Чего ты хочешь?* Повернем ключ еще на один оборот, и мы получим вопрос, который звучит по-французски как *Que me veut-Il?* Вопрос двусмысленный, ибо французское *me* может быть дополнением как прямым, так и косвенным. Так что он не означает лишь *Чего он мне* или *от меня хочет?*, а оборачивается неразрешенным недоумением, непосредственно затрагивающим *мое Я*: дело не в том, *как Он меня хочет?*, а в том, *чего нужно Ему в отношении самого места, которое мое Я занимает?*

Вопрос зависает между двумя этажами графа – точнее, между двумя возвратными траекториями, характеризующими то, что на каждом из них происходит. В силу дистанции между ними, которую так необходимо создать и которая лежит в основе всех наших последующих построений, наша связь с желанием, с одной стороны, и нарциссическая идентификация, с другой, оказываются подобны и в то же время строго отличны.



В тесных диалектических отношениях между этими двумя этапами и заявляет о себе, как мы в дальнейшем увидим, функция тревоги. Она не является той пружиной, которая эти отношения запускает, но именно ее появление позволяет нам в них ориентироваться. Так что поставленный мной было вопрос о том, в какого рода отношения вы, аналитики, с тревогой вступаете, влечет за собой еще один – а кем, собственно, вы занимаетесь? Другим, конечно, но и собой тоже. Но занимаясь одновременно тем и другим, нельзя допускать между ними путаницы. Это, кстати говоря, одна из задач, на которые я хотел бы вас к концу этого года занятий нацелить.

Ну, а пока я довольствуюсь тем, что дам несколько методических указаний относительно того, какой урок из нашего исследования тревоги мы можем извлечь. Обнаружив преимущественные места ее появления, мы сможем смоделировать настоящую орографию тревоги, а это позволит нам, в свою очередь, выпукло обрисовать отношения между понятиями, лежащими в основе структурного построения, которое я счел нужным сжато представить вам в форме графа – того самого, которым мы в своих рассуждениях руководствуемся.

Итак, если вы умеете с тревогой справляться, попробуем понять, как у вас это получается – это уже будет, как-никак, шаг вперед. Я и сам не смог бы ее вызвать, так или иначе с ней не справившись. Не исключено, однако, что здесь пе-

ред нами своего рода подводный камень. Слишком быстро справляться с ней, пожалуй, не стоит. Это не значит, однако, что я нарочно хочу, разыграв некое подобие психодрамы, «забросить» (jeter) вас в тревогу – обратите внимание на *Je* (Я), которое кроется во французском глаголе *jeter*.

Хорошо известно, что спроецировать *я* в процесс рождения тревоги давно стремится так называемая философия экзистенциализма от Кьеркегора до Габриэля Марселя, Шестова, Бердяева и других – за примерами тут далеко ходить не приходится. Не все они, разумеется, равнозначны и далеко не все могут нам пригодиться. Но я с порога нашего разговора хотел бы заметить, что после родоначальника своего, названного мною первым, философия эта в лице позднейших своих представителей заметно деградировала – она опрометчиво теряет из виду тот самый ориентир, которому современное ей мышление привыкло доверяться – ориентир истории. Именно там, на обочине истории, рождается рефлексия экзистенциалистов и именно сюда она неизбежно скатывается.

Лошадь мышления – скажем мы, заимствуя у маленького Ганса предмет его фобии – вообразившая было, будто она впряжена в экипаж истории, вдруг закусывает ни с того ни с сего удила, встает на дыбы, вырывается из упряжки и устраивает грандиозный *Krawallmachen*, одно из воплощений столь милого Гансу страха. Именно это и называю я поспешностью – в дурном смысле слова, в смысле опрометчивости. Вот почему в философском направлении, которое мы, как это повсюду и принято, обозначили сейчас термином экзистенциализм, сторона эта интересует нас меньше всего.

Не лишне отметить также, что последний по времени, но, возможно, не по значимости в этом ряду, Жан-Поль Сартр, явно пытается не только поставить эту лошадь на ноги, но и вновь запрячь ее в оглобли истории. Именно в связи с этим и занимала его так сильно функция серьезности.

Есть еще один мыслитель, которого я в этот ряд не поставил. Поскольку, набрасывая свою картину, мне важно с самого начала обозначить фон, сразу скажу, что именно его будут иметь в виду те философы, которые, наблюдая за тем, что мы сейчас делаем, смогут спросить себя – а окажутся ли

они, эти аналитики, на высоте того, что сумели с понятием тревоги сделать мы сами? Есть, одним словом, Хайдеггер. Именно его изначальную «заброшенность» имел я в виду, обыгрывая только что французское слово *jeter*.

Пресловутое бытие-к-смерти, тот путь, которым Хайдеггер искусными рассуждениями подводит нас к своему загадочному вопрошанию о бытии сущего, через тревогу на самом деле не пролегает. Она остается, однако, тем переживанием, к которому отсылает нас хайдеггеровский вопрос, философ дал ей имя, она фундаментальна, она является общим уделом, уделом *on*, она без остатка проникает в человеческую повседневность, выступая в ней как *забота*. И в этом смысле она, как и сама забота, не может не занимать и нас.

Уже приведя здесь имена двух свидетелей, не премину назвать и третьего, вполне достойного, по-моему, представлять тех, кто собрался здесь, чтобы его выслушать – я имею в виду самого себя.

Право на это дают мне ожидания, которые, судя по признаниям, сделанным мне за последние несколько часов, на меня возлагаются. Я говорю, в данном случае, не только о ваших собственных. Вчера вечером мне прислали работу, о которой сказал в свое время одному из вас, что ожидаю ее прежде начала своего курса. Я попросил у него этот текст, чтобы составить мнение по вопросу, который он же мне и поставил. И хотя ознакомиться с этим текстом я еще не успел, сам факт, что мне доставили его вовремя, отвечал моему ожиданию, как отвечаю вашему, собственно, и я, когда являюсь сюда. Способно ли это, по природе своей, вызвать тревогу? Не думаю, хотя человека, о котором идет речь, я об этом не спрашивал. Что касается меня самого, то честно скажу вам, что ожидания ваши, которые могли бы, по идее, лежать на мне тяжким грузом, не являются – как я на собственном опыте, мне кажется, могу засвидетельствовать – чем-то таким, что само по себе порождало бы у меня тревогу. Скорее, наоборот.

Этот последний пример, такой близкий, что может вам показаться спорным, я нарочно привел его, чтобы дать вам понять, какой позиции вам следует придерживаться по воп-

росу, который я с самого начала поставил, вопросу о том, какую дистанцию по отношению к тревоге надо занять, чтобы говорить о ней, не запирая ее тут же под замок, но и не оставляя ее в то же время в размытом, неоформленном состоянии. Так вот, дистанцию надо держать правильную, то есть позволяющую не сближаться с человеком чересчур тесно – ту самую знакомую вам дистанцию, которую имел я в виду, говоря только что о человеке, принесшем мне *in extremis* свою работу, и о себе самом, рискнувшем прочесть вам курс о тревоге.

Попробуем же взять ее, эту тревогу, под руку. Никакой излишней фамильярности тут, право же, нет. Напротив, это создаст между нами, поверьте, ту самую неопределенную дистанцию, что отделяет нас от самых близких для нас людей.

Вы подумали, наверное, что где-то здесь, в треугольнике между заботой, серьезностью и ожиданием, подыскиваю я место тревоге. Ничего подобного. В середине между ними вы ее не найдете. Если я и нарисовал между этими позициями маленький кружок с направленными в разные стороны стрелками, то лишь для того, чтобы показать, где ищете ее вы, – вы быстро убедитесь, что птичка, так или иначе, уже улетела.

2

Торможение, симптом, тревога – вот заголовок, формула, в которой запечатлелось в памяти аналитика последнее слово Фрейда на предмет тревоги.

Я не буду сейчас разбирать этот текст, так как решил сегодня, как вы с самого начала уже убедились, не подстраховывать себя в работе лишними ссылками, тем более что мы имеем дело с предметом, где страховочная сетка фрейдова дискурса более чем где-либо способна нас подвести. Когда мы позднее этим текстом займемся, вы сами поймете то, что, когда речь идет о тревоге, очень важно понять – на сетку положиться нельзя. Каждая, так сказать, ячейка такой сетки словно специально рассчитана, чтобы пропускать пустоту – а в пустототе-то как раз тревога и кроется.

В работе *Торможение, симптом, тревога* речь идет о чем

угодно – только, слава Богу, не о тревоге. Значит ли это, что о ней вообще нельзя говорить? Канатоходцам приходится обходиться без сетки. Мне остается держаться лишь самого заглавия – *Торможение, симптом, тревога.* Бросается, можно сказать, в глаза, что эти три термина принадлежат разным уровням. Они разнородны – поэтому и записал я их на доске ступенькой, в три строчки. Чтобы схема работала, чтобы их действительно можно было рассматривать как образующие единый ряд, их как раз и надо расположить по диагонали – тогда сразу обнаруживаются в нашей таблице нуждающиеся в заполнении пустые места.

Я не стану задерживать ваше внимание на том, что бросается в глаза – на разницу в структуре этих трех терминов, каждый из которых при попытке найти ему место, предстанет в абсолютно ином по сравнению с двумя другими терминологическом контексте и окружении.

Так, торможение нужно рассматривать в контексте движения, в самом широком смысле этого слова. Я не стану углубляться в текст Фрейда, но вы сами помните его достаточно хорошо и знаете, что, говоря о торможении, он поневоле говорит исключительно в двигательных терминах. Движение налицо, по меньшей мере метафорически, во всех функциях, в том числе и вовсе не двигательных.

Торможение предполагает в движении остановку. Значит ли это, что, говоря о торможении, мы всегда подразумеваем исключительно остановку? Речь, скажете вы, может идти просто о сдерживании. Почему бы и нет? С этим я, пожалуй, готов согласиться.

Допустим, таким образом, что нам предстоит составить матрицу, которая позволила бы разглядеть в столь знакомом для нас понятии несколько измерений. Почему бы, к примеру, не сделать горизонтальную ось осью трудности, а другую, вертикальную – осью движения? Это сразу прояснит дело, позволив встать ногами на твердую почву, не погружаясь в трясину ученых слов, вроде *понятие*, или, тем паче, *концепт*, с которыми потом не оберешься хлопот.

Почему бы не воспользоваться простым словом *мешать*? Как раз об этом ведь и идет речь. Когда субъект в анализе рассказывает о своем торможении, он, может быть, и

вправду заторможен, как бываем заторможены и мы сами, рассуждая о торможении на научном конгрессе, но в обыденной, повседневной жизни нам просто-напросто что-то *мешает*. Испытывать такие помехи – это и есть симптом. А торможение – это симптом в музейной витрине.

Не грех будет и прибегнуть к этимологии – я всегда пользуюсь ей, когда она идет мне на пользу. Латинское *impedicare* означает *попасться в ловушку* – выражение, как видите, по смыслу вполне конкретное. Оно предполагает, на самом деле, что в область наших интересов вторгается нечто такое, что становится помехой не функции – понятие, к которому обычно нас отсылают – и не движению, которое действительно бывает затруднено, а субъекту как таковому. Здесь-то как раз и приближаемся мы к тому, что ищем – к тому, что мы именуем тревогой. Вот почему я записываю слово *помеха* в ту же колонку, где стоит у меня слово *симптом*.

Говорю сразу, что ловушка, о которой здесь идет речь – это нарциссический плен. Мы поговорим о нем впоследствии гораздо подробнее, но вы и сейчас не являетесь в этом предмете неискушенными новичками. Вспомните, что я сформулировал в конечном счете, говоря о точной границе, которую полагает нарциссический плен тому, чем, в условиях, когда фаллос остается нагружен аутоэротически, может быть нагружен объект. Возникающая в результате в зеркальном образе трещина как раз и становится опорой и материалом той означающей артикуляции, которая в другом, символическом, плане предстает как кастрация. Проявляющаяся таким образом помеха становится частью того порочного круга, в котором субъект оказывается, когда, стремясь к наслаждению, то есть к тому, что наиболее удалено от него, сталкивается, попавшись на удочку своего собственного зеркального образа, с этой интимно ему близкой трещиной. В этом как раз ловушка и состоит.

Мы остаемся пока на уровне симптома. Попробуем сделать еще один шаг и присмотримся повнимательнее к тому, что слово *торможение* значит. Какой термин запишем мы в третьей колонке? Держась, как всегда, повседневного опыта, сама приземленность которого делает его столь для нас

серьезным и важным, я предлагаю вам, наряду с торможением и помехой, еще одни термин – *замешательство*, *embarrass*.

Термин этот тем более для нас бесценен, что этимология, которая сегодня мне явно благоприятствует, приходит нам на помощь и здесь. Ведь латинское *imbaricare* непосредственно происходит от слова *bara*, означающее черту, ту самую, которой субъект, *S*, оказывается у нас загражден: *$\$$*. Но ведь это и есть наглядный образ того, что мы переживаем, испытывая замешательство. Когда вы растеряны, когда вы не знаете, куда себя девать – что вы делаете? Вы немедленно ищете, за чем бы укрыться, вы нуждаетесь в ограждении. Насколько я знаю, эта идея, идея ограждения, принимает в разных говорах неожиданные порой формы. Но зачем далеко ходить? Есть среди вас испанцы? Нет? Жаль, потому что мне говорили, что по-испански слово *embarazada*, буквально: *находящаяся в затруднении*, означает женщину в *затруднительном положении*. Ограда, *bara*, *барьер*, как видите, и здесь, в этом показательном примере, налицо.

Итак, с терминами, расположенными по оси *трудности* мы покончили. В первой горизонтальной строке за торможением в первом столбце следует затруднение во втором и замешательство, эта легкая форма тревоги, в третьем.

Посмотрим теперь, какие термины расположатся под торможением по вертикальной оси наших координат, по оси *движения*.

В первую очередь это *эмоция*.

Здесь я вновь, с вашего позволения, доверюсь этимологии, которая до сих пор мне так удачно подыгрывала. Слово *эмоция* тоже ведь этимологически отсылает к движению. Нам остается лишь позволить себе небольшую вольность, истолковав приставку в гольдштейновском смысле как *экс* – слово это означает тогда выход, выбрасывание с траектории. Перед нами, иными словами, движение в процессе собственного распада, так называемая катастрофическая реакция. Вам небесполезно знать, куда эмоцию следует поместить, так как до сих пор не нашлось никого, кто сказал бы нам без обиняков, что тревога – это реакция, по сути, катастрофическая. Связь, как видите, налицо, но, с другой

стороны, с чем тревога только не связана! Нам же важно понять, когда мы имеем дело именно с тревогой. Сам факт, что термин *катастрофическая реакция* использовали, ничтоже сумняшеся, говоря, скажем, об истерическом кризисе или, в других случаях, о приступе гнева, свидетельствует достаточно ясно о том, что для характеристики тревоги, для уяснения ее места, термина этого недостаточно.

Пойдем дальше. Мы все еще держимся от тревоги на почтительном расстоянии – на расстоянии двух клеточек в нашей таблице. Найдется ли по оси движения что-то такое, что лежало бы на том же горизонтальном уровне, что и тревога? На этот счет у меня давно приготовлено для вас про запас лакомое словечко – может, намеками оно у меня иногда и проскальзывало, но уловили его разве лишь самые внимательные мои слушатели. Я имею в виду *emoi*, *смятение*.

С этимологией мне и здесь сказочно повезло. Она попрежнему играет мне на руку. Так что я снова позволю себе ей злоупотребить и сразу же поделюсь с вами всем, что мне удалось выяснить. Очень советую самим посмотреть в этимологическом словаре Блоха и Вартбурга соответствующую статью, хотя это и продублирует лишний раз то, что я сейчас расскажу, тем более что я его буду буквально цитировать. Я пользуюсь тем, что оказывается под рукой, так что не обессудьте.

Итак, вышеупомянутые господа сообщили мне, что «чувство языка», как они выражаются, связывает это слово с глаголом *emouvoir*, *волновать*. На самом деле, оказывается, ничего подобного. Этимологически, как, впрочем, и для любого, кто умеет пользоваться словами, *emoi* с эмоцией не имеет ничего общего. Знайте, так или иначе, что термин *esmayer* засвидетельствован уже в тринадцатом веке – формы *esmais* и даже *esmoi-esmais* восторжествовали, если хотите знать, как утверждают авторы словаря, лишь позже, в шестнадцатом – и означал он *тревожить*, *пугать*, *тревожиться*. Используемый и доныне в некоторых говорах, глагол этот происходит от простонародного латинского *exmagare*, означавшего утрату силы и могущества и восходящего, в свою очередь, к западно-германскому корню, реконстру-

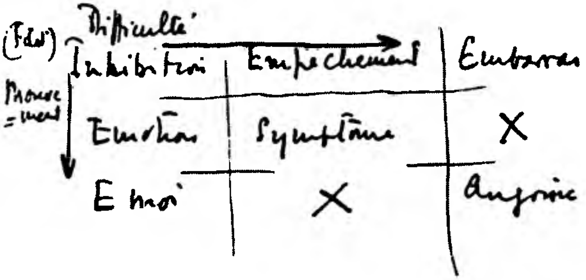
ируемому как *magan*. Реконструировать его, впрочем, особенной нужды нет, так как именно в этой форме существует он в готском и верхне-немецком. Кто хоть немного немецкий знает, легко свяжет его с современным немецким *moegen*. В английском ему же соответствует *may*. Интересно, форма *smagere* существует на итальянском?

Все, однако же, не так просто. Слово это, согласно Блоху и Вартбургу, означало *отчаяться*, *упасть духом*. Остается, таким образом, некоторое сомнение. Поскольку португальского здесь никто не знает, я не встречу с вашей стороны возражений, если скажу – от имени Блоха и Вартбурга, разумеется – что от того же корня происходит португальское *esmagar*, означающее *раздавить*. Это, кстати, в дальнейшем окажется для нас интересно. О провансальском я здесь умалчиваю.

Как бы то ни было, ясно становится, что переводить немецкое *Triebregung* выражением *emoi pulsionnel* совершенно неправильно, так как смятение не имеет с эмоцией ничего общего. Смятение предполагает нарушение, ослабление, тогда как *Regung* подразумевает, напротив, возмущение, призыв к беспорядку – если хотите, к бунту, *emeute*. Ссылаясь все на тот же источник, замечу, кстати, что как раз в эпоху, когда восторжествовала, согласно Блоху и Вартбургу, форма *emoi*, слово *emeute* означало именно эмоцию, и лишь в семнадцатом веке приобрело нынешнее свое значение народного волнения, бунта.

Вы сами чувствуете, одним словом, как все эти лингвистические нюансы и варианты ведут нас к тому, чтобы третью от торможения позицию по оси движения определить как *смятение*, точно так же как аналогичную позицию по оси трудности заняло у нас *смущение*. Смятение – это нарушение, беспокойство как таковое, самое глубокое беспокойство, какое по оси движения может быть. Смущение, соответственно, является максимальной степенью трудности.

Значит ли это, что мы приблизились к тревоге вплотную? Судя по клеткам в нашей табличке, претендовать на это нам еще рано.



[1]

Мы заполнили терминами *эмоция* и *смятение* две клетки по вертикали и терминами *помеха* и *смущение* две клетки по горизонтали. Но еще две позиции остаются пустыми.

Чем их заполнить? Вопрос для нас интересный, если мы хотим в тревоге действительно разобраться.

А пока оставлю вас разгадывать эту загадку самим.

3

Теперь, после этого посвященного фрейдовой триаде торможения-симптома-тревоги предварительного разговора, у нас расчищена почва для теоретического ее обсуждения.

Составив себе представление о тревоге на уровне опыта, попробуем теперь осмыслить ее на концептуальном уровне.

Что это такое – тревога? Что это не эмоция, нам уже ясно. Для начала скажу просто, что тревога – это аффект.

Те, кто следит за симпатиями и антипатиями, которые в моем курсе так или иначе дают себя знать, думают, наверное, доверившись поверхностному впечатлению, будто аффекты меня интересуют меньше всего. Это нелепо. Я попытался сказать при случае, чем аффект не является. Он не является ни бытием, данным в своей непосредственности, ни субъектом в сыром виде. Он ни в коем случае не является чем-то протопатическим. К этому, собственно, и сводится все, что мне довелось про аффекты сказать. Но именно поэтому он находится в тесных структурных взаимоотношениях с тем,

[1] *[Расшифровка надписей (*прим. пер.*)]*

	Трудность→		
Движение	*Торможение*	*Помеха*	*Смущение*
↓	*Эмоция*	*Симптом*	*X*
	Смятение	*X*	*Тревога*

что, даже с традиционной точки зрения, представляет собой субъект. В следующий раз я надеюсь сформулировать это в форме, которая запечатлится у вас в памяти.

Зато я ясно сказал в свое время, что аффект не вытеснен. То же самое говорил и Фрейд. Аффект всегда смещен, всегда неустойчив. Но в какой бы смещенной, обращенной, безумной, метаболизированной форме он ни предстал, вытеснен он не будет. Вытеснен не аффект, а означающие, на которых он крепится.

Чтобы в отношениях аффекта и означающего как следует разобраться, потребовалось бы теории аффектов посвятить целый год. Однажды я уже дал вам понять, как я эти отношения себе представляю. Я говорил об этом в связи с гневом.

Гнев, говорил я тогда – это то, что происходит с субъектом, когда штифты не попадают в пазы. Что это значит? Это значит, что гнев имеет место тогда, когда на уровне Другого, означающего ведется – а это в той или иной степени бывает всегда – нечестная игра. Это как раз и вызывает гнев.

В качестве пищи для размышления скажу вам на прощание одну очень простую вещь. Где Аристотель рассуждает о страстях лучше всего? Это уж, думаю, некоторые из вас наверняка знают. Конечно, во второй книге *Риторики*.

Лучшее, иными словами, что им о страстях было сказано, вплетено в сеть, в структуру риторики. Вы думаете, это случайно? Вот она, эта сеть, перед вами – означающие на нашей таблице. Именно поэтому сегодня, давая вам первые лингвистические ориентиры, я с самого начала заговорил о сети.

Я не подошел к делу догматически и не начал свой курс о тревоге с общей теории аффектов. Почему, спросите вы? Да потому что мы с вами психоаналитики, а не психологи.

То, что вы от меня здесь слышите, это не *психо-логия*, речь о ирреальной реальности, которая зовется душой, *псюхэ*, это речь о практике, которой пристало иное имя – имя *эротология*. Речь идет о желании. И аффект, настоятельно требующий выявить все те последствия, не просто общего, а универсального характера, которые эта речь для теории аффектов в себе несет, и есть тревога.

Именно в разрезе тревоги придется нам в дальнейшем смотреть на вещи, так что в этом направлении мы с вами в следующий раз и двинемся.

14 ноября 1962 года.

II
ТРЕВОГА, ПРИЗНАК ЖЕЛАНИЯ

Идеал простоты
Гегель и Лакан
Пять формул желания Другого
Деление и его остаток
Я желаю тебя, даже если сам этого не знаю

Теперь, собираясь пойти в своих рассуждениях о тревоге несколько дальше, я вправе спросить вас – а что такое, по-вашему, обучение?

Поскольку большинство из присутствующих являются аналитиками и, обращаясь к этой аудитории, именно аналитический опыт я, как предполагается, преимущественно имею в виду, на представлении, которое у нас складывается об обучении, не может не сказаться тот факт, что аналитик всегда остается – не надо забывать об этом – интерпретатором, толкователем.

Аналитическая игра построена, по сути дела, на имперфекте, времени, значение которого я, применяя его к подлежащим в разном лице – *он не знал, я не знал* – многократно подчеркивал. Мы не станем поэтому сейчас подлежащее определять, воспользовавшись обобщенной формой *никто не знал*, или *было неизвестно*.

Предполагается, что в отношении этого *никто не знал* аналитик как раз кое-что знает. С этим, пожалуй, можно и согласиться – почему бы и нет? Но может ли он это знание преподать? Это не тот вопрос, что я имею в виду – по меньшей мере, это вопрос преждевременный. Само существование такого места, как это, и та роль, которую я на протяжении нескольких лет здесь играю, в какой-то степени на этот вопрос отвечает – хорошо-ли, худо-ли, но отвечает.

Нет, настоящий вопрос состоит вот в чем – что вообще означает для аналитика «преподать» свое знание?

1

Что значит «преподать», если то, что следует преподать, предстоит преподать не просто кому-то, кто этого не знает, а тому, кто этого в принципе знать *не может*. Все мы, надо

признать, находимся тут в положении незавидном.

Что-ж, попробуем посмотреть, не обернется ли этот тупик, наоборот, путем.

Когда бы не этот тупик, обучение аналитиков, да и сам этот Семинар, можно было бы рассматривать как продолжение того, что имеет место, к примеру, в ходе аналитического контроля, когда вы приносите с собой то, что уже знаете, а мое вмешательство сводится к своего рода интерпретации – я добавляю к вашему знанию, иными словами, нечто такое, благодаря чему то, что вы, по вашему мнению, уже знали, получает смысл, и является, словно в свете молнии, то, что можно разглядеть уже за пределами знания.

Однако лишь по мере того, как среди тех, кто имеет соответствующий опыт, среди аналитиков, складывается постепенно, в ходе кропотливой, не столько коллективной, сколько общинной, можно сказать, работы, некое знание, возможной становится и деятельность собирания, оправдывающая то место, которое может занять преподавание в той форме, в которой я им здесь занимаюсь. Если хотите, то именно в силу того, что аналитический опыт выделяет из себя целую литературу, именуемую аналитической теорией, и вынужден я бываю, порой скрепя сердце, уделять ей немало внимания, чтобы затем, выходя за рамки пресловутого собирания, которое аналитическая теория осуществляет, двигаться к истокам этой теории, лежащим в опыте.

Здесь перед нами снова возникает двусмысленность, и связана она не только с тем, что в этой аудитории есть и слушатели, которые аналитиками не являются. Никаких неудобств это не причиняет, так как и сами аналитики приносят сюда ожидания, позиции, взгляды, которые не обязательно являются аналитическими. Это обусловлено хотя бы тем, что в теорию анализа неизбежно проникают, причем в большем количестве, чем может показаться на первый взгляд, представления, анализу чуждые и заимствуемые, к примеру, из психологии.

Сам факт, что я именно с таким материалом, с такой аудиторией, имею дело, понуждает меня обращаться к некоему общему опыту, благодаря которому и устанавливается общение, которое имеет место при обучении. Это значит,

что я не могу занимать чисто интерпретирующую, *толковательную* позицию, о которой только что говорил, а должен расширить поле общения и вступить на почву *втолкования* (faire-comprendre), то есть апеллировать к опыту, далеко выходящему за рамки опыта собственно аналитического.

Об этом важно напомнить, так как пресловутое втолкование до сих пор является в психологии, в самом широком смысле этого слова, камнем преткновения. И дело не только в теме, которая недавно получила в работе Блонделя о болезненном сознании столь оригинальное освещение – в осознании того, что пониманию есть пределы, что совершенно беспочвенно представление, будто реальное, аутентичное переживание больного для нас доступно. Вопрос о границах понимания для нас сейчас не так актуален. Теперь, говоря о тревоге, этот вопрос можно отложить в сторону.

Вопрос для нас, на самом деле, заключается в том, чтобы объяснить, как можно говорить о тревоге, подводя под эту категорию столько самых различных переживаний. Здесь и тревога, в которую мы погружаемся, следуя за Кьеркегором в его размышлениях; и тревога паранормальная, даже откровенно патологическая, которая охватывает нас порою, когда мы сами, оказывается, испытываем переживания более или менее психопатологического характера; и тревога, с которой мы сталкиваемся, имея дело с обычным нашим материалом, невротическими больными; и, наконец, тревога, которую мы можем выделить и описать исходя из более периферийного для нас опыта работы с пациентами, страдающими перверсией или психозом.

Вполне оправданная родством их структуры, однородность этих переживаний далеко не очевидна для непосредственного понимания. Ведь понимание приходит со временем, но это как раз и опасно, поскольку позволяет забыть, что предметом его является не само переживание, а его внутренние пружины и вообразить, будто мы можем усвоить себе переживание, которое таким образом понимаем – переживание, скажем, перверта или психотика.

В связи с этим лучше всего заранее предупреждать – тому, что мы можем понять, слишком доверяться не стоит.

Вот почему так важны означающие элементы, кото-

рые я ввожу здесь для записи структурных зависимостей. Лишенные всякого содержания, которое можно было бы «понимать», они являются средством поддержания уровня, необходимого для того, чтобы понимание не становилось обманчивым, предоставляя нам в то же время целый ряд значимых терминов, с чьей помощью мы можем двигаться дальше. Это надо особо подчеркнуть теперь, когда речь идет об аффекте, поскольку от этого элемента классификации я отказываться не собираюсь. Тревога – это аффект.

С точки зрения преподавателя, к теме этой можно подойти различными путями, в которых, обобщая, можно выделить три разновидности.

Во-первых, можно пойти путем каталогизации. В применении к аффекту он будет состоять в том, чтобы исчерпывающим образом каталогизировать не только все, что аффект означает, но и все, что подразумевали под ним те, кто эту категорию в свое время ввел. Этот путь дает возможность преподнести предмет наиболее широко и позволяет увязать то, чему обучают внутри анализа, с тем, что было в этот последний принесено извне. Почему бы и нет? Мы очень многим обязаны другим дисциплинам и я не отказываюсь, повторяю, от мысли о том, чтобы внести тревогу в перечень аффектов и рассматривать ее в контексте посвященных аффектам теорий.

Чтобы сразу ухватить суть проблемы, напомню вам, что еще у Святого Фомы Аквинского можно найти интереснейшие мысли относительно разделения аффектов, не им впервые предложенного, на две категории – гнева и вожделения. Его длинные, проводимые в соответствии со схоластической формулой *положение-возражение-ответ* рассуждения, призванные установить, которая из этих двух категорий по отношению к другой первична; равно как и аргументы, которыми он доказывает, что, несмотря на некоторые соображения, свидетельствующие, на первый взгляд, об обратном, гнев всегда вожделение каким-то образом подразумевает и потому является относительно него вторичным, – все это может оказаться небесполезным и было бы, по сути дела, вполне приемлемо, не будь эта теория основана на предположении о существовании Верховного

Блага, в отношении которого у нас имеется, как вы знаете, много серьезнейших возражений. Мы посмотрим еще, что нам можно будет из этой теории сохранить, на что она позволит пролить некоторый свет. Я попрошу вас самих обратиться к ней – необходимые ссылки вы можете у меня получить. Она даст нашим размышлениям немало пищи – гораздо больше, как ни странно, нежели последние, современные, а на самом деле еще к девятнадцатому веку относящиеся разработки той психологии, что именует себя, не вполне, надо сказать, по праву, экспериментальной.

У пути этого, однако, есть недостаток – дело в том, что, вступив на него, мы волей-неволей начинаем аффекты классифицировать. Опыт же наш говорит о том, что зайдя в этом направлении слишком далеко мы, даже делая акцент на той части нашего опыта, которую я только что назвал теоретической, окажемся в очевидном тупике. Об этом отлично свидетельствует статья Давида Рапапорта, которую вы найдете в тридцать четвертом томе *Международного Журнала*, третьего выпуска за 1953 год. Этот текст, где сделана попытка выстроить психоаналитическую теорию аффекта, очень показателен, так как автор его приходит к поразительным результатам, которые, вдобавок, ничуть не старается закамуфлировать. От статьи, заявляющей такую тему, невольно ожидаешь нового, свежего взгляда на теорию аффектов с точки зрения аналитика. Автор, однако, ограничивается тем, что составляет перечень способов, которыми это слово в различных психоаналитических теориях понимается, и приходит к выводу, что понимания эти, в конечном счете, несводимы друг к другу.

Для одних, аффект – это форма, которую принимает разрядка влечения. Другие, претендуя на развитие мыслей Фрейда, считают аффект тем, что сопровождает напряжение в его различных, преимущественно конфликтных, фазах, – тем, одним словом, что сопровождает вариации напряжения. Третьи, исходя преимущественно из фрейдовой топики, определяют аффект как сигнал, на уровне Я, о приходящей извне опасности. Рапапорт констатирует – и это нам важно – что у авторов, вступивших в аналитическую дискуссию сравнительно недавно, сохраняются ост-

рые разногласия относительно того, какой из этих смыслов первичен, так что вопрос так и остается нерешенным. Сам факт, что автор работы к этому от себя ничего не может прибавить, говорит о том, что пресловутый каталогизаторский метод так или иначе приходит к неразрешимой апории, к тупику, и потому плодотворность его сомнительна.

Существует другой метод. Я извиняюсь, что задерживаюсь сегодня так долго на проблемах чисто методических, но они очень интересны в связи с уместностью того, чем мы с вами здесь занимаемся, и я не случайно, как вы увидели, заговорил о них именно теперь, когда речь идет о тревоге. Этот второй метод я назову, по созвучию с предыдущим, методом аналогии.

Следуя ему, нам приходится рассматривать каждое понятие на нескольких уровнях. Так, существует подобного рода работа, называть которую я сегодня не стану, где тревога рассматривается в отдельных главах в биологическом аспекте, затем в социологическом и, наконец, в культурологическом (*culturally*) – последнее не случайно, поскольку работа написана в Англии. Можно подумать, будто достаточно выделить на различных, якобы независимых, уровнях аналогичные позиции, чтобы выйти за пределы не классификации даже, а своего рода типологии.

К чему такой метод ведет, известно. Ведет он к тому, что называют антропологией. Из всех путей, которыми мы можем пойти, антропологический опирается на наиболее опасные предпосылки. Метод этот, сколь бы эклектичным он ни был, всегда неизбежно тяготеет к центральному своему ядру – к юнгизму, или, во всяком случае, к тому, что мы привыкли в своей среде так называть, не имея обязательно в виду почтенного ученого, давшего этому направлению свое имя. В отношении тревоги тематика эта оказывается от того, с чем мы встречаемся в опыте, очень далекой.

Опыт же наставляет нас, скорее, на третий путь, который я связал бы, пожалуй, с функцией ключа. Ключ – это то, что отпирает. Он, иными словами, функционирует. Ключ – это форма, в которой работает, или, соответственно, не работает, означающая функция как таковая.

Указывать на этот путь и уверять в его правильности с

моей стороны совсем не самонадеянно.

Основание, на котором я это делаю и которое покажется, я надеюсь, в особенности для тех из вас, кто является профессиональными преподавателями, достаточно убедительным, состоит в том, что функция ключа всегда сродни преподавательской, будь то в анализе или нет.

Я сказал бы, на самом деле – это касается, как ни странно это иным покажется, и того, что преподаю я сам – что любое преподавание всегда ориентируется на, скажем так, идеал простоты.

2

Мы уже убедились только что, что из посвященных аффектам текстов сам черт не разберет, что мы, аналитики, об аффектах думаем.

Такое положение дел никого удовлетворить не может и создает серьезную трудность. О каком бы понятии ни шла речь, желательно, чтобы оно, в идеале, сводилось к чему-то простому.

В чем же здесь дело? Почему с тех пор, как люди занимаются наукой – ведь мы говорим здесь не об анализе только, а об области несравненно более широкой – всегда возникает у них это требование максимально возможной простоты? Откуда они взяли, что Реальное должно быть простым? Что позволяет нам хоть на мгновение это предположить?

Да, собственно, ничего – ничего, кроме того субъективного *initium*, которому я посвятил всю первую часть своего прошлогоднего курса – ничего, одним словом, кроме того факта, что возникновение субъекта немыслимо без появления первого, простейшего, означающего, названного мною единичной чертой.

Единичная черта субъекту предшествует. *В начале было слово* означает не что иное, как *в начале была единичная черта*. Все, что может быть преподано, должно нести на себе стигмат этого простейшего *initium*. Это и есть то единственное, что оправдывает в наших глазах идеал простоты.

Simplex, единичность черты – вот что мы вводим в Реальное, хочет оно того, или нет. Ясно лишь, что она в Реальное уже включена и что произошло это раньше, чем

мы явились на свет. Вот почему всем субъектам, которые веками ведут между собой нескончаемый диалог, приходится мириться так или иначе с тем фактом, что между Реальным и ними находится область означающего – ведь лишь благодаря механизму единичной черты могли они в качестве субъектов сформироваться. И что удивительного, если мы, чьим предметом субъект как раз и является, обнаружим в своей области ее, этой черты, след?

В анализе заявляет о себе порой нечто более раннее, чем все, что мы способны понять и выработать. Я назову это нечто присутствием Другого, большого *А*. Никакого само-анализа нет, даже если кто-то и питает иллюзии на этот счет. От Другого никуда не уйдешь. Именно на этом пути, в этой перспективе понятны становятся указания, которые я уже дал вам в отношении чего-то такого, что идет еще много дальше, в отношении тревоги.

Я дал было уже вам понять, что существует некая связь, которую я и сам до сих пор иначе, как в образной форме, не умею выразить. В прошлый раз я напомнил вам об этом образе, предложив представить свою скромную и непритязательную особу в присутствии гигантского богомола. Сцену эту я тогда уже подробно прокомментировал, уточнив, что имеет отношение к желанию Другого.

Еще не зная ничего о том, как я в состоянии тревоги с желанием Другого связан, я записываю его здесь, на доске, большой буквой А. Чтобы приблизиться к его желанию, я воспользуюсь теми путями, которые ранее проложил.

Как я уже говорил, желание человека – это желание Другого.

Я извиняюсь, что не могу вернуться здесь к тому, что уже высказал на последних наших так называемых Днях в провинции – вот почему мне так важно, чтобы текст этого выступления дошел до меня в полном виде и можно было бы его между вами распространить. Речь в этом тексте идет о грамматическом анализе того, что выражение *желание Другого* значит, и об объективном значении этого родительного падежа. Те, кто посещал мой Семинар раньше, имеют, впрочем, в своем распоряжении материал, который поможет им понять, что я имею в виду.

В прошлый раз, в самом начале занятия, я сослался на небольшую работу, которую получил тем же утром. Речь в этой статье шла о том, что на структуралистском уровне мысли Леви-Стросса действие диалектического разума, так сказать, приостанавливается. Чтобы распутать клубок этого трудного вопроса и разобрать его в тонкостях с аналитической точки зрения, автор обращается, естественно, к представлению о фантазме как опоре желания. Однако при этом он, на мой взгляд, не обращает достаточного внимания на то, что я имею в виду, когда говорю, что желание человека – это желание Другого. Иначе он не ограничился бы напоминанием о том, что здесь перед нами гегелевская формула.

Кто, как не я, воздал должное урокам *Феноменологии духа*! Если существует, однако, пункт, в котором был нами достигнут по отношению к Гегелю какой-то, скажем, прогресс, хотя слово *скачок* кажется мне более подходящим, то это, конечно же, понимание функции желания.

Учитывая путь, который нам в этом году предстоит пройти, я не смогу проследить сейчас мысль Гегеля шаг за шагом, как делает это автор упомянутой статьи, которая, надеюсь, увидит свет, так как демонстрирует отчетливое понимание того, о чем у Гегеля идет речь. Я не стану даже цитировать то важнейшее место у Гегеля, на которое автор статьи очень уместно ссылается. Рассчитывая на то, что большая часть моей аудитории с Гегелем уже знакома, я скажу лишь, для пущей ясности, что когда мы читаем у Гегеля о зависимости моего желания от желающего, которого представляет собой Другой, у нас не возникает повода для сомнений, что речь, черным по белому, всегда идет о Другом как сознании. Другой – это тот, кто меня видит.

Как это затрагивает мое желание, вы уже догадываетесь, и я к этому сейчас вернусь. Но для начала, я сразу обозначу, в чем мы с Гегелем принципиально расходимся.

Для Гегеля Другой – это тот, кто меня видит. Этого вполне достаточно, чтобы втянуть нас в борьбу, которая разворачивается, как вытекает из построений *Феноменологии духа*, в плане того, что Гегель именует *престижем* – именно в этом плане мое желание и оказывается задействовано. Для

Лакана же, который является психоаналитиком, Другой налицо как бессознательное, конституированное как таковое. Другой затрагивает мое желание постольку, поскольку ему не хватает чего-то, о чем он не знает. Как раз на этом уровне, на уровне того, чего ему не хватает и о чем он не знает, я и оказываюсь в роковой зависимости от него, поскольку другого пути обнаружить то, чего не хватает в качестве предмета желания мне самому, у меня в распоряжении нет. В результате мне не просто заказан доступ к собственному желанию – я вообще оказываюсь не способен поддерживать желание, связанное с каким-бы то ни было объектом, не состыкуя, не связывая его с тем, что я обозначаю как $\$$, имея тем самым в виду принципиальную зависимость субъекта от Другого как такового.

За годы наших занятий я уже научил вас, надеюсь, отличать каждый раз этого Другого от другого с маленькой буквы, своего ближнего и себе подобного. Другой с большой буквы – это место означающих. Он тоже один из многих подобных мне, но подобен он мне лишь тем, что это еще и место, где вступает в права Другой как таковой, Другой, несущий в себе то своеобразное отличие, о котором с самого начала сказал.

Не пора ли мне пояснить теперь формулы, которые я написал на доске? Я не претендую на то, вовсе нет, что бы сразу выдать вам все их секреты. Я только прошу, как и на прошлом занятии – перепишите их. Я для этого специально и пишу их в этом году на доске. Вы сами в дальнейшем увидите, как они работают. Итак:

Формула № 1

$$d(a):d(\mathrm{A}) < a$$

У Гегеля, желание желания – это желание, чтобы ответом на призыв субъекта стало желание. Иными словами, это желание желающего. Почему же субъект в этом желающем, который и есть Другой, имеет нужду? Субъект нуждается, недвусмысленно отвечает Гегель, чтобы Другой признал его, ему требуется от Другого признание. Что это означает? Это означает, что Другому предстоит сформировать нечто

такое, что я обозначаю как *а*, и на уровне того, что Другой желает, об этом *а* и будет всегда идти речь. Но в этом как раз загвоздка и возникает. Требуя для себя признания, я его получаю, но в качестве объекта. Я получаю желание, я представляю собой объект, но я не могу себя в качестве объекта сохранять и поддерживать, поскольку по сути своей объект, которым я являюсь, представляет собой сознание, *Selbst-bewusstsein*. В той единственной форме, в которой я могу признание получить, я не могу, следовательно, это признание вынести. Необходимо, следовательно, между нашими сознаниями сделать выбор. А сделать его можно лишь посредством насилия. Такова судьба желания в философии Гегеля.

Формула №2

$$d(a)<i(a):d(\not{A})$$

В лакановском, то есть аналитическом, смысле, желание желания является желанием Другого в смысле гораздо более принципиально открытом для опосредования. По-меньшей мере, так по началу кажется.

Вторая формула, как сами видите, во многих отношениях не соответствует тому, чего вы могли, казалось бы, ожидать. Она характеризует связь желания Другого, $d(\not{A})$, с поддерживающим это желание образом, который я нарочно обозначил $i(a)$, чтобы подчеркнуть его неоднозначное соотношение с $i(m)$, то есть, в моей записи, с образом зеркальным.

Мы не знаем еще, когда, как и почему может это $i(a)$ оказаться зеркальным образом, но это, безусловно, образ. Не будучи зеркальным образом, это, тем не менее, что-то такое, что относится к разряду образов – в данном случае, это фантазм. В ряде случаев я действительно беру на себя смелость записывать его как зеркальный образ. Итак, желание это является таковым постольку, поскольку образ, его поддерживающий, эквивалентен желанию Другого. Вот почему двоеточие перенесено здесь из левой сторон формулы в правую. Другой выступает здесь перечеркнутым, поскольку это Другой, который характеризуется в данном случае как нехватка.

Есть еще и две другие формулы. На самом деле их только две, потому что две последние, связанные у меня фигурной скобкой, представляют собой лишь два способа записи – одна является палиндромом другой. Я не знаю, хватит ли у меня времени их сегодня расшифровать.

Формула №3

$$d(x):d(\mathrm{A})<x$$

Формула №4

$$d(0)<0:d(\not{\mathrm{A}})$$
$$d(a):0>d(0)$$

Первая из них, сразу скажу, призвана показать, что именно тревога обнаруживает заключенную в гегелевской формуле истину. Сама по себе эта формула неполна, ложна и способна сбить с толку. Я уже несколько раз указывал вам к каким извращенным выводам приходим мы везде, вплоть до политики, когда, исходя из *Феноменологии духа*, понимаем ее преимущественно в регистре Воображаемого. Звучит хорошо, конечно, когда мы говорим, что состояние рабства чревато всей полнотою будущего, вплоть до абсолютного знания, но в применении к политике это значит лишь, что раб так всегда рабом и останется. Полезно иногда, рассуждая, спускаться с неба на землю.

Истину гегелевской формулы мы находим, на самом деле, у Кьеркегора. В следующий раз я для вас третью формулу, пожалуй, прокомментирую.

Что касается четвертой формулы – имейте в виду, кстати, что в ней стоит нуль, а не буква *о*, – то в ней нашла выражение уже не истина Гегеля, а истина тревоги, постичь которую можно лишь исходя из формулы (2) – формулы, где желание предстает с психоаналитической точки зрения.

3

Прежде, чем с вами расстаться, мне хочется сделать еще несколько замечаний.

Есть нечто такое, что в гегелевской формуле и в моей вам может показаться схожим. Как это ни парадоксально, но на

первом месте в обеих из них стоит объект *а*. Именно объект *а* и желает.

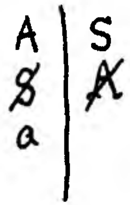
Если между гегелевским представлением о желании и тем, что предлагаю вам я, и есть что-то общее, то его следует искать здесь. В определенный момент, в немыслимый для процесса *Selbst-bewusstsein*, как его понимает Гегель, момент столкновения, субъект, будучи этим объектом, получает неизгладимую печать конечности. Этот отмеченный желанием объект, на который я вам настойчиво указываю, действительно имеет с гегелевской теорией нечто общее – с той разницей, однако, что наш, аналитический, уровень, не требует от *Selbst-bewusstsein* прозрачности. Это создает, конечно, определенные трудности, но они не заставят нас повернуть назад, а тем более вступить с Другим в битву не на жизнь, а на смерть.

В силу существования бессознательного мы можем быть этим отмеченным печатью объектом сами. Больше того, именно постольку, поскольку мы отмечены этой конечностью, и может наша нехватка, та нехватка, которую мы, как субъекты бессознательного, испытываем, обернуться желанием, и притом желанием конечным. На первый взгляд оно, разумеется, кажется неопределенным, потому что нехватке всегда присуща некоторая пустота, которую можно заполнить по-разному. На самом деле, однако, мы, будучи аналитиками, хорошо знаем, что способов ее заполнить не так уж много. Какие это способы и почему это так, мы в дальнейшем увидим.

В этой перспективе от классического, не столько теологического даже, сколько моралистического представления о бесконечности желания приходится отказаться. Псевдобесконечность его имеет в основе своей лишь одно, о чем определенный раздел теории означающих позволяет нам, к счастью, составить себе представление – это не что иное, как бесконечность целого числа. Эта ложная бесконечность связана со своего рода метонимией, именуемой, когда речь идет об определении целого числа, рекуррентностью. Я имею в виду закон, которому уделили мы столь серьезное внимание в прошлом году, говоря о повторяющейся Единице. Однако, как показывает наш опыт и как я вам на

примере различных его областей – невроза, перверсии, и даже психоза – продемонстрирую, Единицей этой, к которой сводится, в конечном счете, последовательность различимых означающих элементов, функция Другого отнюдь не исчерпывается.

Именно это и представлено у меня здесь в форме двух колонок. Речь идет, как и говорит подпись под рисунком, об операции деления. В первой, исходной, строке вы видите *A*, первоначального Другого как место означающих, и *S*, не существующий покуда субъект, которому предстоит найти свое место в качестве субъекта, получившего определенность от означающих.



Первая схема деления

По отношению к Другому субъект, который от этого Другого зависит, записывается как частное от деления. Он находится теперь в поле Другого и несет на себе печать единичной черты означающего. Это не означает, что он, так сказать, нарезает Другого, как колбасу. От деления всегда остается остаток. Этот остаток, этот окончательный, иррациональный Другой, это доказательство и, в конечном счете, единственная гарантия его, этого Другого, инаковости, и есть *a*.

Вот почему термины *$* и *a*, субъект, отмеченный чертой означающего, и объект маленькое *a*, то, что после доводки Другого, так сказать, до ума, остается, расположены с одной, объективной, стороны от черты. Оба расположены на стороне Другого, так как фантазм, опора моего желания, целиком располагается на этой же стороне. С моей стороны остается то, что формирует меня в качестве бессознательного, то есть *Ⱥ*, Другой, поскольку он остается мне недоступен.

Двинемся дальше? Нет, на это у меня не хватает времени. Я не хочу, однако, оставить вас здесь, в пункте, где диалек-

тика, которая может быть отсюда развернута, еще не просматривается.

Каким станет наш очередной шаг? Я сейчас объясню вам, что я к анализу того, что нас сейчас занимает, то есть устойчивости фантазма, собираюсь привлечь. То, о чем у меня пойдет речь, я намечу сейчас, напомнив вам о вещах, которые окажутся небесполезны для вас, имея прямое отношение к тому, что занимает вас – Бог свидетель, это не я говорю, это говорит Фрейд – больше всего остального, к любовному опыту.

Развивая теорию, связывающую желание с желанием Другого, мы уже получили ключ к объяснению того, почему, вопреки надежде, которую гегелевская перспектива способна, казалось бы, дать, другого нельзя завоевать с позиции, которую один из партнеров, увы, часто склонен занять – *Я люблю тебя, хочешь ты этого, или нет.*

Вы думаете, Гегель не подозревал, что его учение может получить подобное применение? Ничего подобного. Есть у него одно бесценное примечание, где он дает понять, что всю его диалектику можно было бы изложить именно на таком материале. И еще он говорит, что не пошел этим путем, потому что это показалось ему несерьезным. И он был прав! Попробуйте-ка испытать эту формулу в жизни – и мы посмотрим, что получится!

Есть, однако, и другая формула. На практике она не намного лучше первой, но лишь потому, что ее нельзя высказать вслух. Что не помешает нам ее сформулировать. Вот она – *Я желаю тебя, даже если сам об этом не знаю.* Действует она, уверяю вас, безошибочно – важно лишь ухитриться, не говоря прямо, дать это, так или иначе, понять.

Почему, спросите вы? Я не стану томить вас с ответом.

Предположим, что это все-таки можно высказать вслух. Что, будучи высказано, это будет значить? Этобудет значить, что я, желающий, сам о том, разумеется, не подозревая, принимаю тебя за неизвестный мне объект моего желания. Другими словами, исходя из нашего представления о желании, получается, что я, обращаясь к тебе, идентифицирую тебя с объектом, которого не хватает тебе самому. Воспользовавшись единственным обходным путем, на ко-

тором я могу объект своего желания обрести, я как раз даю другому то самое, что он ищет. И если я, умышленно или неумышленно, этим путем пойду, другой как таковой, выступающий здесь в роли объекта – обратите внимания – моей любви, попадется обязательно в мои сети.

Итак, вот вам мой любовный рецепт. На этом я заканчиваю занятие и с вами прощаюсь.

21 ноября 1962 года

III
ОТ КОСМОСА К *UNHEIMLICHKEIT*

Зеркальный образ и означающее
От мира к миру как сцене
Гамлет и сцена на сцене
Безмятежность Леви-Стросса
Неважно что в пробеле фаллоса

Вы заметили, наверное, что я всегда рад бываю коснуться в нашем разговоре чего-нибудь актуального.

В конечном счете, ничего, кроме актуального, и нет. Вот почему жить в мире, скажем так, мысли, столь трудно. Дело в том, что в нем, по правде говоря, ничего особенного не происходит.

Порой мне становится не по себе и я начинаю, как сегодня, смотреть по сторонам, не появится ли где хоть маленький знак вопроса. Увы, чаще всего, напрасно. Вот почему когда мне задают вопросы, и к тому же серьезные, не обессудьте, если я стану, на пользу дела, их обсуждать.

1

Я продолжаю разговор с человеком, о котором на предыдущих занятиях уже два раза упоминал.

Меня настойчиво просят разъяснить сказанное мной в прошлый раз о принципиальном различии между артикуляцей желания у меня и у Гегеля.

Не менее настойчиво просят меня сказать более подробно о том, что мое собственное учение призвано – я буквально цитирую – преодолеть. От меня хотят также, чтобы я точнее сформулировал, как стадия зеркала – то, что фигурирует у меня в римской речи в качестве зеркального образа – связана с означающим. Здесь остается, судя по всему, какой-то пробел, хотя мой собеседник отдает-таки себе отчет в том, что само использование в данном случае таких слов, как пробел, купюра, зияние, дает, возможно, ответ на поставленный им вопрос.

Впрочем, в этой форме ответ может показаться увиливанием от ответа, элизией. Поэтому я попробую сегодня ответить иначе.

Я сделаю это тем более охотно, что от главной темы этого года мы при этом нисколько не отклоняемся. Именно тревога позволит нам еще раз вернуться к артикуляции Я – тому самому, что нам для ответа потребуется. Я не случайно говорю *вернуться*, так как те, кто посещал мой семинар эти последние годы и те, кто, пусть и не слишком вдумчиво, читал мои публикации, имеют в своем распоряжении достаточно материала, чтобы заполнить этот пробел и пустить эту купюру в действие. Вы поймете, что я имею в виду, когда я вам вкратце сейчас это напомню.

Существует мнение, что в моей преподавательской деятельности было два этапа – поначалу моя мысль вращалась вокруг стадии зеркала и Воображаемого, а затем, в момент, ознаменованный римской речью, я неожиданно открыл для себя означающее. Лично я так не думаю. Тех, кого интересует этот вопрос, могут обратиться к тексту, найти который сейчас нелегко, хотя в хороших книжных собраниях, посвященных психиатрии, он должен быть. Текст этот, опубликованный в сборнике *Психиатрическая эволюция* под заглавием *Заметки о психической причинности*, восходит к докладу, сделанному, если не ошибаюсь, в 1946 году, сразу после войны. Они найдут там подтверждение тому, что о тесном переплетении между собой обоих регистров я заговорил отнюдь не сегодня.

За текстом этим последовало с моей стороны долгое молчание, но ничего удивительного в этом нет. Чтобы мысль, в нем высказанная, была услышана, понадобилось проделать значительный путь. Не думайте, что когда я этот доклад читал, имеющих уши слышать было так много. Сделан он был в Бонвале, как раз там, где недавно состоялась еще одна встреча, наглядно показавшая, насколько большой путь был с тех пор пройден – реакция на то, первое мое выступление, была, в какой то степени, поразительной.

Лучше всего было бы осторожно назвать ее, воспользовавшись принятым в психоаналитической среде словом, неоднозначной, но это значило бы сказать слишком мало. Когда меня расспрашивают об этих событиях и о времени, о котором те из вас, кто были тогда достаточно взрослыми, хорошо помнят, о первых послевоенных годах, когда все

с воодушевлением ожидали чего-то нового, мне невольно приходят на память те, кто, держась крайне левых, как говорят политики, убеждений, то есть будучи коммунистами, а значит людьми, заведомо новых идей не чуждыми, отреагировали на мое выступление в духе, который по справедливости приходится охарактеризовать принятым в таких случаях и получившим едва ли не бранное значение словом – словом, употреблять которое, впрочем, следует с осторожностью, ибо те, к кому оно относилось первоначально, такого осуждения не заслужили и в моих устах оно звучит здесь вполне учтиво – словом *фарисейство*.

В данном случае, в том маленьком мирке, который представляет собой наше психоаналитическое сообщество, коммунистическое фарисейство в полной мере послужило той роли, которую оно, по крайней мере в нашем поколении, в современной французской действительности, на наших глазах выполняет, обеспечивая сохранение тех привычек, будь то хороших или дурных, на которых современный порядок вещей благополучно и прочно держится.

Я не могу не засвидетельствовать, одним словом, что именно сдержанная реакция коммунистов помогла мне тогда понять, что услышано сказанное мною будет не скоро. Это и объясняет мое молчание и мои старания, направленные на то, чтобы мысль эта смогла укорениться в кругу аналитиков, то есть людей, чей опыт располагает лучше всего к ее пониманию. Как события развивались впоследствии, вы все знаете.

Перечитав по моему совету *Заметки о психической причинности*, вы сами увидите, особенно выслушав меня сегодня, что матрица, в которую вписываются обе вполне резонно упомянутых моим собеседником перспективы, налицо у меня с самого начала. Перспективы эти обозначены у меня на доске двумя цветными линиями – голубой вертикальной, помеченной буквой *I*, знаком Воображаемого, и красной горизонтальной, помеченной *S*, знаком Символического.

Связь субъекта с маленьким другим неотделима от связи его с большим Другим. Об этом можно было бы напомнить по-разному – я воспользуюсь для этого несколькими мо-

ментами, на важность которых уже обращал в ходе предыдущих семинаров ваше внимание.

Схема, которую вы видите сейчас на доске и куда нам интересующие нас элементы предстоит вписать – это та самая схема, что была опубликована мной в статье *Замечания по поводу доклада Даниэля Лагаша.* Этот рисунок наглядно демонстрирует связь между терминами, которые самым тесным образом связаны с нашей темой – с функцией независимости. Термины эти я заимствую здесь как из текста *Заметок*, так и из лекций, более ранних, второго года моего семинара, посвященных тому, что я назвал, соответственно, идеальным Я и идеалом Я.

Сейчас я напомню вкратце о том, как возникает зеркальная связь и почему для возникновения ее необходимо, чтобы субъект сложился в месте Другого, чтобы печать, которую он несет, была связана в своем возникновении с означающим.

Возьмем хотя бы ту наглядную сценку, которой я впервые воспользоваться, чтобы стадию зеркала продемонстрировать, тот момент ликования, когда младенец, только что узнавший себя в зеркальном изображении, впервые постигает себя в собственном зеркальном образе как функциональное целое – разве не обращал я внимание, говоря о ней, на то движение, которое ребенок делает? Движение это имеет место так часто, можно сказать, постоянно, что каждому из вас оно наверняка приходит на память. Он всегда оборачивается к тому, кто его держит и находится позади от него. Попытавшись представить себе, что испытывает ребенок и реконструировать смысл этого движения, можно сказать, что оборачиваясь к взрослому, словно за подтверждением увиденного, а затем снова обращаясь к своему изображению в зеркале, ребенок требует от того, кто держит его на руках и выступает здесь в качестве большого Другого, чтобы тот засвидетельствовал ценность этого увиденного им образа.

Это, конечно, всего-навсего показательная иллюстрация, поскольку возникновение функции зеркального образа, обозначенного мною *i(a)*, с самого начала обусловлена его связью с большим Другим.

Но позволительно ли нам довольствоваться этим выводом?

Если я попросил своего собеседника проделать определенную работу, то именно в связи с сомнениями его по поводу положений, высказанных Леви-Стросом в его злободневной книге *Первобытное мышление* – положений, которые, как увидите, тесно связаны с тем, чем нам в этом году предстоит заниматься.

Мы специально обращаемся здесь к этой книге, чтобы отметить успех, которого применение психоаналитического разума достигает, заполняя тот озадачивший многих из вас пробел, на который Леви-Стросс указывает на протяжении всей работы, противопоставляя то, что он называет аналитическим разумом, разуму диалектическому.

В связи с этим противопоставлением я и хочу сделать одно замечание, которое послужит введением к нашей сегодняшней теме.

Вспомните, какой урок извлек я из основополагающей для Фрейда работы *Толкование сновидений*, обратив внимание на то, что автор определяет в ней бессознательное как место, которое он называет *eine andere Schauplatz*, другая сцена. С самого начала, как видите, с момента, когда бессознательное впервые в сновидении себя обнаруживает, термин этот оказывается на первом плане. Мне представляется, на самом деле, что перед нами здесь способ образования того, что называем мы нашим разумом.

В его, этого разума, структуре и пытаемся мы сейчас разобраться. Первое, что можно сказать, это – есть мир. Я ничего к этому не прибавляю, чтобы вы расслышали, что я хочу сказать, но нам придется к этой формулировке вернуться, так как непонятно пока, что она значит.

Этот мир как он есть – вот что интересует аналитический разум, тот, которому Леви-Стросс склоняется в своих рассуждениях приписать первенство. Наряду с этим первенством, он оказывается наделен исключительной однородностью, которая наиболее проницательных из вас смущает и приводит в недоумение, так как они не могут разглядеть, насколько это чревато опасностью возвращения к, скажем так, первоначальному материализму. Дело в

том, что если логике этих рассуждений следовать до конца, структурная игра комбинаций, которую убедительно прослеживает Леви-Стросс, совпадет со структурой мозга – больше того, со структурой материи – оказываясь даже не подкладкой ее, как это произошло в материализме восемнадцатого века, а просто-напросто дубликатом. Я понимаю, конечно, что это предельный случай, но его полезно представить себе, так как перспектива эта у Леви-Стросса недвусмысленно артикулирована.

Так вот, представление о сцене, противопоставляемой месту – будь то в мире, или вне мира, в космосе, или вне космоса – где находится зритель, приходит на помощь тогда, когда необходимо становится наглядно продемонстрировать коренное различие между миром, с одной стороны, и тем местом, где вещи, в том числе вещи этого мира, высказываются, с другой. Все наличные в мире вещи выходят на сцену высказывания согласно законам означающего – законам, которые мы ни в коем случае не вправе рассматривать как законам мира заведомо однородные.

Более чем очевидно, что дискурс, в который мы, в качестве субъектов, включены, возник гораздо раньше науки. Сколь бы ни были поучительны усилия Леви-Стросса доказать однородность дискурса, который он называет магическим, дискурсу науки, у нас ни минуты не возникает иллюзии, будто ни малейшего разрыва или различия между ними нет. Чуть позже я выскажу вам свои мысли на этот счет. Так или иначе, усилия, о которых идет речь, замечательны уже своей обреченностью.

Итак, есть мир – это раз. И есть сцена, на которую мы этот мир выводим – это два. Сцена – это новое измерение, измерение истории.

История всегда носила постановочный характер. В главе, представляющей собой ответ Жан-Поль Сартру, Клод Леви-Стросс прекрасно это показывает, критикуя предпринятые этим последним попытки запрячь, что называется, историю в свои оглобли. Леви-Стросс напоминает о том, что исторические представления преходящи, что время истории не совпадает с космическим и что сами даты – зовись они 2 декабря или 18 брюмера – обретают в историческом измере-

нии иное значение. Ибо речь идет не о том календаре, листки которого вы каждый день отрываете. Доказательством этому служит хотя бы то, что даты эти имеют для вас другой смысл. Они могут напомнить о себе в любой другой календарый день, накладывая на него свою характерную печать, сообщая ему свои стилистические особенности и ритм, с которым они повторяются.

Стоит сцене взять верх, как мир выходит на нее целиком и мы становимся вправе сказать вместе с Декартом: *На сцену мира я выхожу*, как он то и делал, *larvatus*, *под маской.*

Но тогда возникает вопрос – а чем мир, то есть то, что мы в простоте душевной так с самого начала назвали, обязан, в свою очередь, нисходящему на него обратно с этих подмостков? Все, что мы в ходе истории называли миром, оставляет после себя остатки, которые, независимо от их совместимости, продолжают откладываться слой за слоем. То, что культура являет нам в качестве мира, представляет собой нагромождение обломков многих последовательно сменявших друг друга миров, которые, будучи несовместимыми, прекрасно между тем в каждом из нас уживаются.

Особенности психоаналитического опыта позволяют по достоинству оценить справедливость нарисованной мною картины. Особенно хорошо просматривается она у больных неврозом навязчивости – еще Фрейд обратил внимание на то, что совершенно противоречивые на первый взгляд представления о вселенной благополучно сосуществуют у них в сознании, не вызывая при этом ни малейших вопросов. Как только, одним словом, мы заговорили о сцене, законно встает вопрос – а что представляет собой мир космизма в Реальном? Не является ли то, что мы наивно принимали за мир, лишь скоплением остатков того, что сходило со сцены, когда труппа удалялась, так сказать, на гастроли?

Это соображение выводит нас на третий виток, о котором я когда-то вам уже говорил, хотя времени заострить на этом ваше внимание у меня не было.

2

Говоря о сцене мы помним, конечно, какую роль сыграл

театр в функционировании мифов, которые дали нам, аналитикам, пищу для размышлений.

Я перейду с вами теперь к *Гамлету*, к решающему вопросу, над которым столько авторов уже билось. Превосходную статью о Гамлете написал, в частности, Отто Ранк. Статья эта замечательна не только тем, насколько рано она появилась, но и особым вниманием, которое уделяет автор функции сцены на сцене.

Что Гамлет, сценический персонаж, выводит в *Гамлете* с помощью труппы комедиантов на сцену? Конечно, *mouse-trap*, мышеловку, в которую рассчитывает он, по его словам, уловить совесть короля Клавдия. Но происходят на деле вещи самые удивительные и, в частности, кое-что, о чем, разбирая в свое время *Гамлета* подробно я вам не сказал, так как это обратило бы вас к литературе не столько психоаналитической, сколько, так сказать, гамлетической, которой, вы сами знаете, существует целое море.

Так вот, пока сцена исполняется без слов, в виде пролога, пока актеры не начинают произносить текст, король на происходящее не реагирует, хотя предполагаемые жесты его преступления перед ним мимически воспроизводятся. Зато происходит нечто действительно странное – это необычайное волнение, прилив чувств, испытываемый самим Гамлетом в решающий момент его пьесы, когда персонаж по имени Лукиан или Лучано появляется на сцене, чтобы совершить двойное преступление: в отношении короля – короля комедийного, хотя и наделенного в тексте чертами незаурядными – и в отношении персонажа, фигурирующего как его супруга.

Все авторы, которые останавливались на этой сцене, отмечали, что наряжен этот Лучиано не как король, которому расставлена мышеловка, а в точности как сам Гамлет. К тому же персонаж этот вовсе не приходится в пьесе королю братом. Его отношения со своей жертвой не повторяют, следовательно, отношения узурпатора, который, совершив убийство, женится на королеве Гертруде, с отцом Гамлета. Лучиано является в сцене племянником короля, то есть находится в положении Гамлета по отношению к узурпатору.

Таким образом, в сцене этой преступление, в конечном

счете, совершает сам Гамлет. Принц Датский, чье желание, по причинам, которые я ранее вам уже изложил, бессильно исполнить волю тени, *ghost*, его отца, пытается воплотить в этой сцене нечто такое, что напоминало бы его собственный зеркальный образ, причем образ этот ставится им в ситуацию, где он не мстит за преступление, а усваивает для начала преступление, за которое предстоит отомстить, себе.

В итоге, однако, этого оказывается недостаточно. Увидев, словно в волшебном фонаре, эту сцену, Гамлет действительно испытывает, судя по его речи и поведению, как обычно представляют их здесь актеры, настоящий приступ маниакального возбуждения – но что в этом толку, если минутой позже, когда ему предоставляется возможность с врагом расправиться, он находит предлог, чтобы уклониться от действия – предлог, который для любого зрителя выглядит смехотворным. Застав короля за молитвой, он говорит себе, что не хочет, нанеся удар в столь благочестивый момент, отправить его душу прямо на небо.

Я не стану разъяснять вам эту сцену в подробностях, так как нам предстоит идти дальше. Это всего лишь отголосок идентификации совершенно иной природы, о важности которой мне приходилось говорить вам раньше – идентификации Гамлета с Офелией. Позже, на следующем витке, он словно одержим становится яростью, в которой мы без труда узнаем чувства той, чье самоубийство явно было самозакланием, жертвой манам отца, чья смерть как раз и стала для Офелии роковой.

Люди с незапамятных времен верили, что когда погребальные церемонии не совершены до конца, это имеет дурные последствия. Месть, к которой взывает Офелия в момент, когда она неожиданно понимает, кем отец, этот ненужный, незнакомый предмет, на самом деле для нее был, – месть эта остается неутоленной. Здесь налицо то, в чем Фрейд видит главный источник функции скорби – идентификация с объектом. Именно таково беспощадное определение скорби, к которому сумел прийти Фрейд – она выступает у него как своего рода обратная сторона посвященных умершему слез, фон упреков, наличие которого предполагает тот факт, что каким бы покойный ни был в действи-

тельности, вспоминать хотят лишь о том хорошем, что он после себя оставил.

Сколь поразительное, казалось бы, бессердечие – но именно оно объясняет наличие у первобытных народов погребальных обычаев и церемоний, многие из которых живы и в современном обществе. В самом деле, разве это не повод для радости, что покойный существовал? Когда крестьяне напиваются на поминках, мы видим в этом лишь предосудительное бессердечие, тогда как на самом деле перед нами нечто совсем другое – они празднуют восхождение покойного в славу, заслуженную им уже тем, что он был среди нас живым. Фрейд описал идентификацию с объектом скорби в негативных чертах, но не будем забывать, что есть у нее и другая, позитивная фаза.

Именно одержимость Гамлета тем, что назвал я только что яростью женской души, дает ему силу превратиться в того лунатика, который готов на все – даже на то, чтобы, как я уже отмечал, выступить в поединке на стороне своего врага, короля, против Лаэрта, собственного зеркального образа. После этого все устраивается само собой – чтобы выполнить, наконец, свой долг, Гамлету остается делать лишь то, что ему по логике делать как раз не следует. Так, прежде чем убить короля, он получает смертельную рану сам.

Это позволяет нам оценить разницу между двумя разновидностями воображаемой идентификации. Первая из них – это идентификация с *i(a)*, воображаемым образом, с которым встречаемся мы в сцене на сцене. Но есть и другая, более таинственная, загадка которой начинает перед нами здесь открываться – это идентификация с объектом желания, *a*, как таковым. Построение шекспировской пьесы откровенно на него указывает, ибо именно в качестве объекта желания пребывает Гамлет до определенного момента в пренебрежении и именно в качестве этого объекта воссоздает себя на сцене путем идентификации заново.

По мере того, как в качестве объекта Гамлет исчезает, уже нельзя оказывается обойтись без того ретроактивного измерения, которое так хорошо передается двусмысленностью французского имперфекта, означающего, в примере, который я неоднократно вам приводил (*Il ne savait pas*), од-

новременно *Он так до конца и не знал* и *Еще немного, и ему предстояло узнать*. Не случайно французское слово *desir*, *желание*, происходит от латинского *desiderium*. Перед нами не что иное, как ретроактивное, задним числом, узнавание объекта желания, который *был*, в имперфекте, налицо. Именно этим путем происходит возвращение Гамлета к его роли, к свершению предназначенного ему судьбой дела.

И в этом отношении то, что я назвал le troisieme temps, а именно сценой на сцене, как раз и показывает, в чем заключается для нас главный вопрос.

Этот главный вопрос – вам он знаком давно, так как я снова и снова с разных точек зрения к нему возвращаюсь – касается статуса объекта в качестве объекта желания. Все, что говорит Леви-Стросс о функции магии и функции мифа справедиво, если иметь в виду, что речь идет об отношениях именно с этим объектом – с объектом, имеющим статус объекта желания. Статус этот, надо признать, не выяснен окончательно. Это и предстоит нам сделать в текущем году, воспользовавшись тревогой как путеводной нитью.

Так или иначе, объект желания ни в коем случае нельзя путать с объектом в эпистемологическом смысле. Появление на нашем горизонте объекта науки связано с открытием действенности означающих операций как таковых. А это значит, что современная наука, наука, которая существует уже более двухсот лет, принципиально оставляет открытым вопрос о том, что я только что назвал космизмом объекта. Само существование космоса оказывается под вопросом, ибо успех нашей науки как раз и обусловлен отказом ее от любых с ним так или иначе связаных предпосылок.

Видение реальности как космоса остается для нас, тем не менее, настолько существенным, что когда Леви-Стросс в *Первобытном мышлении* восстанавливает, в современной форме объект как постоянную, непрерывную, вечную – космическую, одним словом – реальность, приходится лишь удивляться тому, что безмятежность, спокойствие и эпикурейскую умиротворенность, которые должны, казалось бы, отсюда последовать, испытывают далеко не все. Но кто они, эти недовольные? Идет ли речь о психоаналитиках, или о людях вообще? Так вот, я предполагаю, хотя доказать

этого еще не могу, что речь идет о людях вообще. Сейчас попробую объяснить, почему.

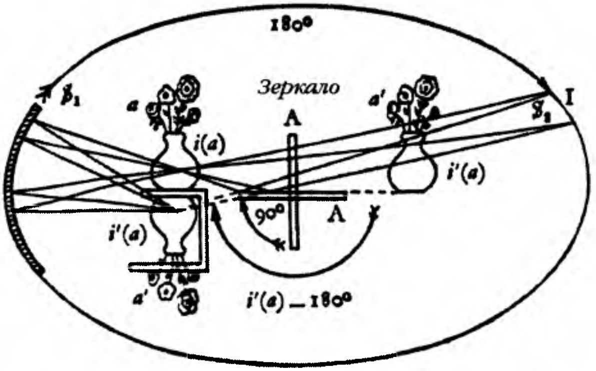
Почему мы так недовольны тем, что тотемизм лишается наших глазах своей страстной эмоциональной наполненности? Почему люди уже с неолитической, по крайней мере, эпохи, недовольны бывают, когда мир представляется настолько упорядоченным, что любые возмущения оказываются лишь рябью на его поверхности. Почему, иными словами, так настойчиво стремимся мы сохранить в жизни измерение тревоги? На это должны быть веские причины.

Между возвратом к безмятежному космизму, с одной стороны, и пребыванием внутри исполненной страстей истории – что тоже не сладко, хотя где-то и неплохо – с другой, должен быть еще один, окольный, путь. Изучая функцию тревоги, мы и попробуем с вами как раз этот путь проложить.

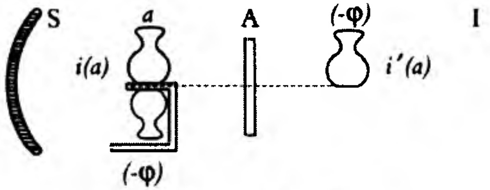
3

В связи с этим не худо будет напомнить вам, что отношения с зеркальным образом и отношения с большим Другим находятся друг с другом в определенной связи.

Оптическая схема, предложенная мною в статье, к которой я вас отсылаю, так как воспроизвести ее целиком здесь не в силах, призвана напомнить о том, о чем я так настойчиво говорил в конце своего посвященного желанию семинара – о том, что функция нагрузки зеркального образа включена в описанную Фрейдом диалектику нарциссизма.



Полная схема.



Упрощенная схема

Нагрузка зеркального образа является основополагающим моментом нарциссических отношений. Важна она тем, что имеет предел. Не вся либидинальная нагрузка проходит через зеркальный образ. Возникает, таким образом, некий остаток. Мне удалось, я надеюсь, объяснить вам, почему именно он, остаток этот, и является стержнем всей нарциссической диалектики. В следующий раз, вернувшись к этому, я подробнее покажу, почему функция, о которой мы говорим, выступает на первый план в облике фаллоса.

Во всем, что наше воображение предлагает нам в качестве ориентира, фаллос присутствует лишь в форме нехватки. По мере того, как здесь, в *i(a)*, возникает так мною называемый *реальный образ*, то есть образ тела, функционирущий в инвентаре субъекта как образ воображаемый, или, иными словами, либидизированный, – фаллос обнаруживает себя как пробел, отсутствие, как то, что находится, как говорят, в минусе. Оставаясь, разумеется, в оперативном резерве, он на уровне Воображаемого не представлен – мало того, он изъят из зеркального образа, как если бы был обведен по контуру и затем вырезан.

В прошлом году, желая сделать в этой диалектике еще один ход, я попытался выстроить ее вокруг фигуры, заимствованной из очень двусмысленной области – области топологии. Преимущество топологии состоит в том, что она сводит к минимуму картины, которые рисует воображение, и имеет дело со своего рода транс-пространством, представляющим собой, судя по всему, чисто означающую конструкцию, но оставляющим при этом в нашем распоряжении небольшой набор элементов, воспринимаемых наглядно, интуитивно. Именно из таких элементов строится, например, исключительно выразительное двурогое изоб-

ражение так называемого *cross-cap*, бутылки Клейна.

Я целый месяц занимался с вами этой поверхностью, чтобы вы поняли, каким образом можно разрезать ее таким образом, что она распадается на две разных фигуры, одна из которых может отобразиться в зеркале, а другая зеркального образа не имеет. Речь шла о том, как связан *минус*-фи с образованием маленького *а*. С одной стороны, остается недоступный воображению заповедный элемент, связанный, однако, к счастью, со вполне осязаемым органом, который для удовлетворения желания приходится время от времени пускать в ход, с фаллосом. С другой – *а*, остаток, вычет, объект, чей статус исключает его из ряда объектов, производных от зеркального образа и подчиняющихся, следовательно, законам трансцендентальной эстетики. Артикулировать этот статус настолько трудно, что это приводит в аналитической теории к большой путанице.

Именно об объекте *а*, чьи конститутивные характеристики мы только наметили и который стоит у нас на повестке дня, и идет у Фрейда речь каждый раз, когда он упоминает об объекте в связи с тревогой. Двусмысленность связана с тем, что мы поневоле воображаем его себе в зеркальном регистре. Нам предстоит поэтому научиться пользоваться воображением по-иному – так, чтобы оно способно было этот объект себе наглядно представить.

Вернемся к статье, о которой я говорю. Что служит в ней для развития мысли отправным пунктом? *S*, субъект как возможность, субъект, не говорить о котором, пользуясь речью, нельзя. Моделью его нам служит классическое понятие о субъекте, с той оговоркой, что для нас он вне речи не существует. Как только он начинает говорить, вступает в силу принцип единичной черты. Фактическая способность сказать 1, и 1, и еще и еще раз 1 дает начало первичной идентификации. Начинать всегда приходится с единицы, 1. Как видно из приведенной в статье схемы, именно этим обусловлена возможность узнавания элемента, обозначенного нами *i(a)*. Данное в зеркале, это *i(a)* должно, однако, быть удостоверено Другим. Не повторяя в деталях тот опыт занимательной физики, который помог мне дать своей мысли наглядность, скажу вам, что на уровне *i'(a)*, пред-

ставляющего собой виртуальный образ образа реального, не появляется ничего. У меня стоит наверху значок (-ϕ), потому что эта запись нам в следующий раз понадобится. Это *минус*-фи невидимо, неосязаемо, и поддается представлению так же мало, как и со стороны *i(a)*, так как в регистр Воображаемого оно не вошло.

Судьба желания и время появления его на свет, о которых пойдет у нас речь в следующий раз, предопределены отношениями, выраженными у меня формулой ($\$\lozenge a$) – формулой фантазма. Читать эту формулу следует так – перечеркнутое *S*, пунсон – знак, который мы вскоре научимся читать по-новому, – маленькое *a*.

Будь субъект способен оказаться на месте, помеченном буквой *I*, реально, а не посредством Другого, он вступил бы в отношения с тем, что мы пытаемся в горлышко первоначального образа, *i(a)*, вставить, то есть с объектом своего желания, *a*. На этих двух столпах, *a* и *i(a)*, функция желания как раз и держится. Желание существует и позволяет человеку сохранять человеческий способ существования лишь постольку, поскольку отношения, характеризуемые формулой ($\$\lozenge a$) остаются для него, каким-то косвенным путем, возможны, то есть поскольку к воображаемым отношениям, которые фантазм выстраивает, он ухитряется найти доступ. Но сделать это сколь-нибудь эффективно на самом деле не удается. Человека вечно встречает всего лишь виртуальный образ, *i'(a)*, того, что представлено в моей схеме как образ реальный, *i(a)*. Иллюзия, возникающая благодаря вогнутому зеркалу слева, в форме реального образа, доступна его взору лишь в форме образа виртуального, справа, где в горлышке вазы ничего нет. В образе желания, который у человека складывается, *a*, то, что служит желанию в фантазме опорой, остается невидимо.

По эту сторону, слева, *a* присутствует – слишком близко к нему расположенное, чтобы быть видимым, именно оно является, однако, началом желания, его *initium*. Именно от него заимствует образ *i'(a)* свою значимость. Но чем больше человек к образу своего желания приближается, чем любовнее и трепетнее лелеет его, тем вернее теряет к нему дорогу. Все, что он делает для сближения с ним, лишь вли-

вает жизнь в то, что предстает в объекте его желания как зеркальный образ. Чем дальше, тем больше стремится он этот сосуд первоначального зеркального образа оградить, защитить, сохранить невредимым. И чем упорнее устремляется он к тому, что несправедливо именуют, говоря об объектных отношениях, совершенством, тем глубже становится его заблуждение.

Теперь мы в состоянии ответить на поставленный нами ранее вопрос – когда же возникает у человека тревога? Возникает она тогда, когда под действием определенного механизма на месте, которое я назову, чтобы было понятнее, естественным, то есть на том месте ($-\phi$), что соответствует справа месту, которое занимает слева объект желания, *a*, что-то появляется. Я говорю *что-то* – понимайте это как *неважно, что*.

Я прошу вас теперь дать себе труд прочитать к следующей лекции статью Фрейда об *Unheimlichkeit*, держа в уме то, что я вам о ней сейчас скажу. Это статья, комментировать которую я никогда не собирался, – никто и не подозревает, похоже, что ключ к проблеме тревоги нужно искать именно в ней. И как для разговора о бессознательном отправной точной для меня послужил *Witz*, так теперь я попробую подойти к тревоге со стороны *Unheimlichkeit*.

То, что появляется на месте, где должно, по идее, быть *минус*-фи, и есть *unheimlich*. Все начинается с воображаемой кастрации, потому что образа нехватки нет, да и быть не может. И если что-то на этом месте все-таки появляется, значит нехватки-то, если можно так выразиться, и не хватает.

Многие, зная за мной склонность к гонгоризмам, подумают, пожалуй, что это всего лишь *concetto*, стилистическая завитушка. Что они подумают, мне наплевать. С нами происходят порою вещи самые ненормальные, но это, обратите внимание, у нас никакой тревоги не вызывает. И лишь когда исчезает всякая норма, т.е. то, что творит аномалию, как творящую нехватку, когда обнаруживается вдруг, что этой нехватки нет – вот тогда-то, в этот момент, тревога и возникает. Попробуйте сами это на разных вещах проверить.

Теперь я предлагаю вам вновь вернуться к тому, что говорит о тревоге в статье *Торможение, симптом, тревога* сам Фрейд. Ключ, который я сегодня вам дал, откроет вам истинный смысл того, что называет он в этой работе утратой объекта.

С этого и начну я следующее занятие, на котором надеюсь открыть вам истинный смысл занимающей нас в этом году темы.

28 ноября 1962 года.

IV
ПО ТУ СТОРОНУ ТРЕВОГИ, ВНУШАЕМОЙ КАСТРАЦИЕЙ

Разрозненный объект
Гофмановский объект
Подставной объект
Объект-требование
Объект, нехватки в котором нет

Я рисую вам на доске схему, которая помогла нам в прошлый раз четко сформулировать стоящую перед нами задачу.

Изучая явление тревоги и то место, которое она, как я в дальнейшем вам покажу, занимает, нам предстоит углубить наше представление о роли объекта в аналитическом опыте.

Хочу объявить вам, что скоро появится на свет работа, представляющая собой отредактированный текст моего выступления на посвященной Гегелю конференции в Руаомоне 21 сентября 1960 года, то есть более двух лет назад. О теме выступления говорит его заголовок: *Ниспровержение субъекта и диалектика желания во фрейдовском бессознательном*. Это особенно интересно тем, кто с моим учением хорошо знаком, так как они найдут в этой статье все нужные им разъяснения относительно этапов построения и функционирования того, что мы вместе назвали графом. Текст этот станет частью сборника, куда будут включены и другие мои выступления, в том числе и не специально психоаналитические. Сборник будет опубликован Центром на бульваре Сен-Жермен, 173, который взялся выпустить в свет все материалы конференции в Руаомоне.

Объявление это тем более здесь уместно, что ниспровержение субъекта и диалектика желания смежны той теме функции объекта, в которой нам предстоит глубоко разобраться.

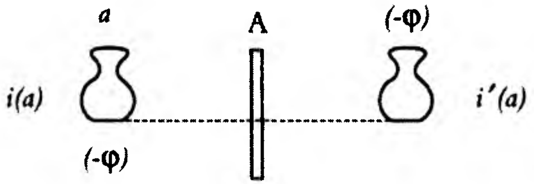
Что касается присутствующих здесь новичков, то я не думаю, что этот доклад, который и призван был как раз серьезно поставить функцию объекта, то есть объекта жела-

ния, под вопрос, встретит с их стороны ту неприязненную, прямо скажу, реакцию, которая ждала его два года назад в Руаомоне, да еще, к моему удивлению, со стороны философов – людей, которым все необычное, казалось бы, не в диковину. Он произвел на них впечатление, говоря их же словами, чего-то кошмарного, какой-то дьявольской казуистики. Что ж, весь наш жизненный опыт подсказывает, что в наше время, которое я не первый назвал эрой техники, в предметном восприятии произошли столь глубокие изменения, что любые рассуждения об объекте тут же включаются в сложнейший контекст, где их неминуемо встречают в штыки.

Возьмем, к примеру, разновидность объекта, которую называют разрозненным предметом и которая для нашего жизненного опыта – внешнего, не только психоаналитического – столь характерна. Разве нет в нем чего-то, что заслуживает внимания, чего-то такого, что сообщает новое измерение любому ноэтическому вопрошанию относительно наших отношений с объектом? Что представляет собой разрозненная вещь? В каком виде существует она вне своего употребления в рамках определенной модели? Сейчас эта модель работает, но уже завтра, может быть, устареет и будет упразднена – и что тогда с разрозненной вещью станет? В чем окажется тогда ее смысл?

Набросав ситуацию, когда отношения с объектом оказываются загадочными, вернемся от нее к занимавшей нас вчера схеме:

1



Упрощенная схема

Не думайте, что я все нарочито усложняю. Схема эта не должна вас ни удивлять, ни отпугивать.

На этом вот месте в Другом, внутри Другого, на месте *i'(a)*, вырисовывается всего лишь отраженный образ нас самих. Удостоверенный Другим, образ этот с самого начала является, тем не менее, проблематичным, и даже лживым.

Характерной чертой его является нехватка – то, что призван он отразить, не может в нем появиться. Он ориентирует желание, поляризует его. Роль его заключается в том, чтобы желание пленить, уловить. Желание в нем не просто завуалировано – оно принципиально связано в нем с отсутствием.

Отсутствие это знаменует одновременно возможность появления, но диктуется это появление присутствием, искать которое следует в другом месте. Присутствие это диктует свою волю необычайно жестко, но делает это оттуда, где оно остается для субъекта неуловимым. Речь идет, как я уже говорил, о присутствии *a*, объекта в той роли, в которой он выступает в фантазме.

На месте нехватки, где явление это может произойти, я поставил в прошлый раз, в скобках, знак (-ϕ). Он говорит о том, что здесь налицо связь с либидинальным запасом, то есть с чем-то таким, что не проецирует себя в зеркальный образ, не нагружает его, не сводимо к нему, целиком оставаясь на уровне собственного тела субъекта, первичного нарциссизма, того, что называют аутоэротизмом, – на уровне аутистичного наслаждения. Это, в конечном счете, всего лишь питательная среда, предназначенная впоследствии одушевлять то, что послужит орудием в отношениях с другим – другим, сформированным по образу мне подобного; другим, чья форма и чьи нормы, чей образ тела как инструмента соблазна, примут для нас облик сексуального партнера.

То, что, как я вам в последний раз уже говорил, может заявить о себе на месте, обозначенном мною как (-ϕ), и есть тревога – тревога, внушаемая кастрацией и связанная с Другим. Это проблемой мы сегодня как раз и займемся. Я сразу, как видите, беру быка за рога.

Все то новое и оригинальное, что мы, аналитики, о структуре субъекта и диалектике желания можем сказать – как мы до этого додумались? Изучая опыт невротика. А что нам

по этому поводу говорит Фрейд? Что последнее, на что он, изучая этот опыт, наткнулся, его граница, его крайний предел – это тревога, внушаемая кастрацией.

Что это означает? Действительно ли нельзя за этот предел выйти? Что означает эта остановка аналитической диалектики перед внушаемой кастрацией тревогой? Разве в самом том, как использую я предложенные мною схемы, не вырисовывается путь, которым я собираюсь вас повести? И первым шагом на этом пути станет новая артикуляция того на опыте полученного психоанализом факта, который описан Фрейдом как остановка невротика перед тревогой, внушаемой ему кастрацией. Новый взгляд, который я предлагаю, диалектика, которую я выстраиваю, приводят нас к выводу, что последним тупиком для невротика является отнюдь не внушаемая кастрацией тревога как таковая.

На самом деле, форма кастрации, то есть воображаемая структура ее, налицо уже здесь, в (-ϕ), на уровне трещины, возникающей при сближении с либидинальным образом ближнего в определенной фазе воображаемых драматических отношений. Вот почему такую важную роль играет здесь *сцена*, не случайно названная *травматической*. Воображаемая трещина принимает всевозможные, в том числе и аномальные, формы. Одно это уже говорит о том, что все они служат материалом для другой функции, которая, как раз, и дает термину кастрация его настоящий смысл.

Останавливается невротик вовсе не перед кастрацией, а перед перспективой сделать свою кастрацию тем, чего не хватает Другому. Иными словами, сделать кастрацию чем-то позитивным, гарантией функционирования Другого – Другого, чей след в лабиринте означающих субъектом утерян и где он больше не видит себя иначе, нежели под знаком судьбы, но судьбы, которая не имеет конца, судьбы, которая тонет в океане историй. А что такое эти истории, как не одна бесконечная выдумка? Что поручится за связь субъекта с этой вселенной значений? Что, как не тот факт, что где-то в этой вселенной кроется наслаждение? Но стать ручательством этому может лишь означающее, а его, этого означающего, как назло, нет на месте. И вот на месте, где

его не хватает, и призван субъект, уже от себя, подать знак – знак, которым служит его собственная кастрация.

Поручиться собственной кастрацией за Другого – вот перед чем останавливается невротик. Останавливается по причине, которая, в каком-то смысле, действует лишь внутри анализа, так как именно анализ приводит невротика на это свидание. Кастрация – это, в конечном счете, не что иное, как момент истолкования кастрации.

Сегодня утром я, кажется, продвигаюсь вперед поспешнее, чем мне хотелось бы. Существует, пожалуй, как вы теперь сами видите, возможность предел перейти, но чтобы эту возможность изучить, нам придется вернуться немного назад, к тому месту, где воображаемая кастрация работает на создание полноценного, в полном смысле слова, комплекса кастрации.

Именно здесь, на уровне, где комплекс кастрации ставится под вопрос, наше конкретное исследование тревоги позволит нам изучить возможность переступить порог – возможность тем более реальную, что порог этот уже многократно переступали. Обратившись к феноменологии тревоги, попробуем сказать, почему и как это происходило.

2

Возьмем сначала тревогу в ее определении *a minima*, рассмотрим ее как сигнал. Определение это, данное Фрейдом на закате его научного творчества, означает вовсе не то, что обычно думают.

Оно не знаменует собой отказ от его ранней позиции, когда тревога представлялась ему плодом энергетического метаболизма. Не является оно и новым завоеванием его мысли, так как уже раньше, рассматривая тревогу как трансформацию либидо, указывал он, что она может функционировать как сигнал. Мне было бы нетрудно показать вам это по его текстам, но в этом году нам предстоит проделать так много, что застревать на уровне объяснения текста мне не хотелось бы.

Тревога связана, как я уже говорил, с появлением чего-то – это может быть что угодно – на уровне $(-\phi)$. Убеждает нас в этом явление, которому до сих пор слишком много

внимания не уделялось, почему, кстати говоря, единого удовлетворительного определения всех функций тревоги в сфере аналитического опыта так и не удалось выработать. Явление это носит имя *Unheimlichkeit.*

Я просил вас в прошлый раз обратиться к тексту Фрейда самим, так времени разбирать эту работу в аудитории у нас нет. Многие из вас, насколько я знаю, выполнили мою просьбу, за что я им благодарен. Первое, что бросается в глаза даже при поверхностном чтении, это важность, которую придает Фрейд лингвистическому анализу. Это сказывается у него везде, но одного этого текста было бы за глаза достаточно, чтобы оправдать то преимущественное внимание, которое уделяю я, коментируя Фрейда, функции означающего.

Второе, что бросится вам в глаза, когда вы прочтете открывающий работу Фрейда экскурс в словарные данные, это то, что по определению своему *unheimlich* есть не что иное, как *heimlich.* То, что находится в месте, именуемом *Heim* – оно-то как раз *Unheim* и есть.

Фрейд не собирается нам объяснять, почему этот так. Это так – и все. Поскольку чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в словарь, он на этом не задерживается, а поступает, как поступаю сегодня я – главное, это идти вперед. Так что я, держась уже принятого и чтобы в дальнейшем вопросов в отношении словоупотребления не возникало, назову место, обозначенное мною недавно как *минус*-фи, его настоящим именем – именем *Heim.*

В повседневной человеческой жизни слово это означает жилище, дом. Любые дополнительные значения, даже астрологические, играют нам только на руку. Человек находит свой дом в месте, расположенном в Другом – по ту сторону смоделировавшего нас образа.

Место это являет собой отсутствие, в котором мы пребываем. Предположим – это порою случается – что оно обнаруживает себя как оно есть, то есть что присутствие, которое делает это место местом отсутствия, там, по ту его сторону, себя обнаруживает. Тогда, оказавшись хозяином положения, оно овладевает зеркальным образом – своим носителем – и тот становится в результате образом двойника со

всем тем радикально чуждым, что этот образ в себе несет. Воспользовавшись для возражения Гегелю его терминами, можно сказать, что образ этот, обнаруживая не-автономность субъекта, тем самым являет нас в обличье объекта.

Тексты Гофмана, судя по примерам, которые Фрейд из них приводит, вводят нас в самую сердцевину этого опыта.

В кошмарной истории *Песочного человека* перед лицом того, что приняло форму образа – образа, в котором материализуется моя до крайности упрощенная схема, – субъект попадается на наших глазах в целую череду ловушек. Кукла, которую герой, подглядывая в окно, видит в комнате совершающего над ней неведомые магические операции колдуна, и есть как раз этот образ, *i'(a)*, в момент его завершения – в момент, когда получает он то, что в самой форме повести занимает совершенно особой место: глаз. Глаз, о котором идет речь, должен, как выясняется, быть глазом самого героя – стремление похитить у него этот глаз и является скрытой пружиной сюжета повести.

Беспорядочность, с которой ссылается Фрейд на Гофмана, красноречиво говорит об испытываемых им затруднениях, связанных, вероятно, с тем, что подобный подход открывал перед ним совершенно новый пласт субъективной структуры. Советуя где-то читать *Эликсир дьявола*, он не может сказать, по собственному признанию, когда наступает в этом романе развязка, когда все возможные формы сюжетного механизма оказываются исчерпаны, когда все события, вызывающие у читателя ощущение *unheimlich*, наконец, объясняются. Пораженный богатством и изобилием переплетенных в этом небольшом романе мотивов, он явно не хочет в него углубляться.

Рздобыть эту книжку не так то легко, но один из присутствующих достал для меня экземпляр, за что я приношу ему благодарность. Было бы хорошо, если бы их в нашем распоряжении было несколько.

В месте, названном нами *Heim*, становится явным не только то, что вы и так знали с самого начала, то есть что желание обнаруживает себя как желание Другого, или, в данном случае, как желание *в* Другом, но также и то, что желание мое вселяется в от века предназначенное ему селение в

форме объекта – объекта, в который я обратился, поскольку оно, желание, изгнало меня из моей субъективности, разрешив узы тех означающих, с которыми она была связана.

Это не происходит, разумеется, каждый день – может статься, такое вообще только в сказках Гофмана и бывает. Но в *Эликсире дьявола* это, так или иначе, налицо. На каждом вираже этого извилистого и трудного пути к истине мы все лучше понимаем Фрейда, когда он признается нам, что потерял в этом лабиринте нить. Собственно говоря, лабиринт и создан, отчасти, чтобы в нем потеряться – через это, так или иначе, предстоит пройти. Но ясно одно – на каждом из поворотов сюжета субъект получает доступ к своему желанию лишь постольку, поскольку подменяет собой одного из собственных двойников.

Фрейд не случайно настаивает на том особенном измерении, которое сообщает переживанию *unheimlich* художественный вымысел. В реальной жизни оно слишком мимолетно. Вымысел позволяет разглядеть его тщательнее, так как способен воспроизвести его в лучше артикулированной и потому более стабильной форме. Это, конечно, лишь идеал, но для нас этот идеал особенно ценен, так как в нем видимо выступает функция фантазма.

Переживание *Unheimlichkeit*, необычайно сгущенное в таких произведениях, как *Эликсир дьявола*, но дающее о себе знать и во многих других, ограничено в повседневном существовании формой фантазма. Что такое, в сущности, фантазм, как не то, в чем мы испытываем некоторое сомнение, *ein Wunsch*, пожелание, причем, как все пожелания, довольно наивное. Несколько в шутку можно сказать, что формула фантазма, $\$$ желание *a*, выглядит в этой перспективе как желание, чтобы Другой исчез, замер перед объектом, который я собой представляю – за вычетом, разве, того, что себя все-таки вижу.

Чтобы выложить карты на стол и сформулировать свою точку зрения, я, предваряя все объяснения, сразу скажу, что две фазы отношений между $\$$ и *a*, в которых, как вы видите на доске, *a* располагается по отношению к *A*, функционирующему в качестве зеркала, по разные стороны, – точно соответствуют распределению терминов фантазма у пер-

версивного субъекта и у невротика.

$$\frac{A}{a \mid \$} \qquad\qquad \frac{A}{S \mid a\$}$$

Фантазм у перверсивного субъекта *Фантазм у невротика*

У перверта все находится, так сказать, на своем месте. Маленькое *а* располагается там, где субъект его видеть не может, *перечеркнутое S* занимает его место. Вот почему можно сказать, что перверсивный субъект, не сознавая, каким образом схема функционирует, готов преданно служить наслаждению большого Другого.

Но мы так ничего об этом и не узнали бы, если бы не невротики, у которых фантазм играет совершенно иную роль. Невротик использует свой фантазм для того, чтобы вас – как и всех окружающих – одурачить, но зато структура фантазма становится при этом ясна.

На самом деле, невротик, как я вам сейчас объясню, пользуется своим фантазмом для достижения совершенно особых целей. То, что принимали, как я в свое время вам говорил, у невротиков за перверсию, на самом деле объясняется, как видите, совсем иначе – фантазм невротика целиком находится в поле Другого. То, что при встрече с невротиком воспринимается как перверсия, имеет место тогда, когда невротик ищет в этом фантазме себе опору.

Фантазмы невротиков действительно перверсивны, и аналитики давно ломают себе головы над этим явлением, пытаясь разгадать его смысл. Ясно, как-никак, что это ни в коем случае не перверсия, что функционирует это совсем по-другому. В результате происходит путаница и возникает множество вопросов – а является ли, например, перверсия, действительно перверсией? Но вопрос это, в сущности, лишь дублирует первый – какую службу оказывает невротику перверсивный фантазм?

Исходя из схемы функционирования фантазма, которую я только что нарисовал, можно для начала сказать, что над образом *i' (a)*, то есть на месте *Heim*, месте, где возникает тревога, действительно появляется нечто вроде *а*. Как ни поразительно, но именно этот фантазм, который невротик умеет в нужный момент организовать и использовать,

лучше всего помогает ему оградить себя от тревоги, от нее заслониться.

Представить это себе можно лишь исходя из тех предпосылок, которые я здесь в крайней форме уже сформулировал. О теории этой, как и о всякой новой теории, нужно судить по моменту, когда она формируется, оценивая ее по тому, насколько хорошо описывает она данные опыта. С этим вы, полагаю, спорить не станете.

Объект *a*, который невротик вызывает к жизни в своем фантазме, идет ему, на самом деле, как корове седло. Да ему от него немного и надо. В лучшем случае это накладное, так сказать, *a* защищает его от тревоги – роль, которую я проиллюстрировал в свое время сновидением прекрасной супруги мясника.

Супруга мясника любит, конечно, икру, но не хочет ее, так как это слишком жирно станет для ее толстокожего мужа, который не заметит, как ее слопает. Ей важно не накормить мужа икрой – потому что поесть он горазд, и обедом его потом все равно придется кормить. Ей важно одно – чтобы мужу до смерти хотелось какого-то пустяка, который она держит для него про запас.

Эта формула, в отношении истериков не вызывающая сомнений, применима, поверьте мне, к любому невротику. Функционирующий у них в фантазме объект *a* служит им не только для защиты против тревоги, но и, вопреки очевидности, как приманка, с чьей помощью они удерживают Другого. И слава богу, так как именно этому обстоятельству мы рождением психоанализа и обязаны.

Известная вам Анна О. знала в истерической игре толк. Когда она поведала свою маленькую историю и свои фантазии г. Брейеру и Фрейду, те жадно набросились на них, резвясь в материале, словно рыбки в пруду. На 271-й странице *Исследований истерии* Фрейд удивляется, правда, тому, что всякая защита с ее стороны отсутствовала. Пациентка рассказывала все не таясь. Признаний не приходилось добиваться в поте лица. Истерия, с которой в данном случае имел дело Фрейд, функционировала необычайно щедро. Брейер, как вы знаете, почувствовал это на своей шкуре – срыгнуть проглоченный было кусочек приманки ему уда-

лось не сразу. В дальнейшем он в этот случай предпочел не вмешиваться.

К счастью, Фрейд, будучи невротиком, и к тому же человеком умным и мужественным, сумел воспользоваться тревогой, которую испытывал перед лицом желания он сам – тревогой, лежавшей в основе нелепой привязанности его к немыслимо доброй женщине, которая, кстати сказать, и похоронила его и которую мы знаем как госпожу Фрейд. Спроецировав случай Анны О. на радиографический экран своей верности этому фантазматическому объкту, Фрейд в мгновение ока понял, зачем пацентке такое поведение было нужно, признав, что именно на него, Фрейда, оно и было нацелено. Он, однако, в отличие от Брейера, не попался на эту удочку. Благодаря этому фантазм стал для нас ключом к пониманию механизма анализа и рациональному использованию переноса.

Сказанное позволит нам сделать еще один шаг и найти то, что отличает невротика от всех прочих.

3

Итак, я перескакиваю к новому своему положению – не забудьте, что нам предстоит его в дальнейшем обосновать.

Что функционирует у невротика на самом деле на смещенном, в его случае, уровне объекта *а*? Что в действительности скрывается за фальшивым объектом, который он в своем фантазме использует? Сам факт, что он сумел перенести функцию *а* в Другого, подсказывает ответ. Реальность, которая скрывается за фальшивым объектом, имеет имя – это требование.

Настоящий объект, который нужен невротику – это требование. Он хочет, чтобы у него потребовали его требование. Он хочет, чтобы его умоляли. Чего он не хочет, так это расплачиваться.

Из этого очень общего наблюдения многие психоаналитики, усвоившие объяснения Фрейда недостаточно хорошо, чтобы не счесть необходимым вернуться на проторенную дорожку нравоучительства, вывели фантазм, который в морально-религиозной проповеди влачит существование испокон века – фантазм жертвенности. Если невротик не

хочет ничего давать, это должно быть связано, рассуждают они, с тем фактом, что для него составляет проблему что-либо брать. Пожелай он, иными словами, что-нибудь дать, и все бы у него пошло как по маслу.

Однако краснобаи, уверяющие нас, что половая зрелость – это способность дара, не замечают одного важного обстоятельства: невротика надо не просто научить давать, его надо научить давать то, что ничего его воображению не говорит, сущее ничто – собственную тревогу.

И это возвращает нас к заявленной нами сегодня теме – к тревоге, которую внушает кастрация.

Невротик своей тревоги никогда не даст. И понятно, как вы в дальнейшем увидите, почему. Справедливость этого очевидна, все дело именно в этом – не случайно весь ход анализа направлен на то, чтобы он выдал, по меньшей мере, нечто тревоге эквивалентное, чтобы он начал постепенно делиться своим симптомом. Вот почему анализ, как говорил Фрейд, начинается с формирования симптомов. Невротика стараются поймать в его собственную ловушку. По-другому ни с кем, собственно, не бывает. Он делает вам предложение – лживое, в конечном счете – и вы его принимаете. Тем самым вы вступаете в его игру – игру, где он надеется залучить ваше требование. Он хочет, чтобы вы чего-нибудь у него потребовали. Поскольку вы ничего у него не требуете, он начинает, исходя из тех требований, что находит на месте *Heim*, модулировать свои собственные. Именно так и вступает он впервые в анализ.

Я не понимаю, честно говоря, на чем, кроме сомнительных интуитивных соображений, держалось представление о диалектической связи между обманутыми ожиданиями (фрустрацией), агрессией и регрессией до появления моей схемы – схемы, из которой связь эта следует сама собой. И в самом деле – что возникает по мере того, как вы оставляете требование без ответа? Агрессия, о которой вам твердят, возникает вне рамок анализа – в практике групповой психотерапии, о которой все мы с вами наслышаны. А здесь никакой агрессии не возникает. Измерение агрессии возникает, напротив, чтобы актуализировать то, на что агрессия по природе свое направлена – отношения с зеркальным

образом. Лишь по мере того, как субъект изливает на этот образ всю свою ярость, и возникает у него ряд требований, восходящий от позднейших, исторически, к более ранним, – модулируется, иными словами, регрессия как таковая.

Мы приходим, таким образом, к факту, который до сих пор должного объяснения так и не получил. Почему именно путем регрессии достигает субъект той фазы, которую мы вынуждены охарактеризовать как исторически прогрессивную?

Находились аналитики, которые, пытаясь объяснить тот парадоксальный факт, что разблокировать фаллические отношения удается лишь путем восхождения к оральной фазе, внушали нам, что после регрессии необходимо проделать восходящий, обратный путь. Опыт решительно это опровергает. Не было еще случая, чтобы анализ, удачно прошедший регрессию, вернулся к пройденным этапам вновь, без чего нельзя было бы обойтись, если бы речь шла о генетической реконструкции. Напротив, лишь по мере того, как все формы требования, вплоть до последней, нулевой, оказываются до дна, до конца исчерпаны, обнаруживаются в глубине отношения субъекта с кастрацией.

Кастрация вписана в субъективность как отношение субъекта к пределу регрессивного цикла требований. Она дает о себе знать там, где (и по мере того, как) регистр требований оказывается исчерпан.

Это предстоит осмыслить топологически. Но, не имея сегодня времени, чтобы заходить слишком далеко, я ограничусь лишь замечанием, близость которого выводам, сделанным мной на прошлом занятии, укажет вашей мысли верное направление и поможет сделать следующий предлагаемый мною шаг. Вокруг да около я ходить не собираюсь и сразу, как и в прошлый раз, возьму быка за рога.

В работе *Торможение, симптом, тревога* Фрейд утверждает – такое, во всяком случае, создается впечатление – что тревога представляет собой сигнальную реакцию на утрату объекта. Перечень утрат следует: всецелая утрата утробной среды в момент рождения – постепенная утрата матери как объекта – утрата пениса – утрата любви объекта – утрата любви сверх-я. Вспомните-ка теперь, что я вам говорил,

пытаясь дать вашей мысли верное направление. Что тревога сигнализирует не об утрате, а о чем-то таком, что уровень утраты удваивает – об отсутствии той опоры, которую дает утрата. Взгляните теперь новыми глазами на перечень Фрейда, который я вам с ходу привел.

Разве не знаем мы все, что не ностальгия по материнской груди порождает тревогу, а ее неминуемость? Тревогу вызывает все, что провозвещает, хотя бы косвенно, неизбежность возвращения в лоно. Не ритм, как часто думают, не чередование присутствия матери и ее отсутствия. Не случайно ребенку эта игра в отсутствие и присутствие так нравится, что он возобновляет ее снова и снова. Возможность отсутствия и позволяет как раз на присутствие положиться. Наиболее сильную тревогу ребенок испытывает тогда, когда отношения, на которых выстроено его бытие – нехватка, делающая его воплощенным желанием – нарушаются. А нарушаются они прежде всего тогда, когда возможность для нехватки отсутствует, когда мать от него не отходит и подтирает ему попу – модель требования, требования, которому не суждено смолкнуть.

Посмотрим теперь, что происходит на более высоком уровне, в следующей фазе, в фазе пресловутой утраты пениса. С чего начинается фобия маленького Ганса? Неоправданное значение придают, как правило, тому факту, что тревога связана, якобы, с запретом матери на мастурбацию – запретом, который переживается ребенком, как вторжение матери в его мир. Но что говорит нам о тревоге в связи с объектом желания наш собственный опыт? Разве не свидетельствует он, что запрет – это искушение? Речь идет не об утрате объекта – налицо, наоборот, ситуация, когда *нехватки в объектах нет.*

Переходим к следующему этапу – любви сверх-я и всеми сопровождающими ее неудачами. Не получается ли и здесь, что как раз успеха-то субъект и боится? Пресловутое *нехватки в этом нет* опять налицо.

На этом я сегодня остановлюсь, в надежде, что мне удалось рассеять недоумения, связанные с тем, насколько трудно бывает объект желания идентифицировать. Но то, что

идентифицировать его трудно, не значит еще, что его нет. Он, наоборот, налицо, и главная роль принадлежит ему.

Что касается тревоги, то все, что я вам сегодня о ней сказал, носит, считайте, характер лишь предварительный. В следующий раз нам предстоит точнее определить ее место по отношению к трем темам, которые на сегодняшнем занятии обозначились.

Первая из них – это наслаждение Другого. Вторая – требование Другого. Третья, которую лишь самый тонкий слух способен был уловить – это особого рода желание, которое обнаруживается в аналитической интерпретации, – желание, чьей наиболее показательной и наиболее загадочной формой являются последствия для хода анализа удачного вмешательства аналитика.

Именно эта, последняя тема уже давно заставляет меня на занятиях задаваться вопросом – чему отвечает в общей икономии желания тот привилегированный род его, который зову я желанием аналитика?

5 декабря 1962 года

V
ТО, ЧТО ОБМАНЫВАЕТ

Павлов, Гольдштейн и требование Другого
Джонс и наслаждение Другого
Следы субъекта
Купюры влечения
Паскаль и переживание пустоты

Мы сами видели, читали, и нам предстоит читать и убеждаться в дальнейшем, что направление психоанализа, которое мы развиваем носит характер более философский, нежели все прочие, стремящиеся подходить к опыту с позиции более конкретной, научной, экспериментальной, если хотите.

Что бы не говорили на этот счет, но не моя вина в том, что психоанализ ставит в теоретическом плане желание знать под вопрос и потому в своем способе рассуждать непроизвольно оказывается в пространстве посюстороннем, предшествующем моменту познания. Одно это оправдывает поднимаемые нами вопросы и придает нашему способу рассуждения несколько философский оттенок.

Нашим предшественником является здесь, кстати сказать, создатель психоанализа. Ведь исходил он, как известно, из непосредственного опыта работы с психическими больными, и, в первую очередь, с теми из них, которых именовали – и, после него, уже с полным на то основанием – невротиками.

На эпистемологической стороне вопроса не стоило бы, возможно, слишком задерживаться, если бы место желания и способ, которым оно формируется, не оборачивались каждый раз, когда нам предстоит занять в лечении ту или иную позицию, вполне конкретной проблемой. Проблема эта состоит в том, чтобы не сбиться на ложный путь, не дать неверного или уклончивого ответа, не отвечающего преследуемой нами цели – цели, которая нам самим не так уж ясна.

Я вспоминаю, какое негодование со стороны собратьев, умеющих при случае, чтобы кому-то было спокойнее, скрыться под личиной наигранной благожелательности,

вызвал я однажды, сказав, что исцеление является в анализе побочным эффектом. Им почудилось в этом презрение по отношению к страдающему человеку, за которого мы ответственны, – я же, на самом деле, рассуждал с точки зрения чисто методологической. Оправдание нашей деятельности и наш долг бесспорно состоят в том, чтобы положение субъекта улучшить. Однако в области, где мы работаем, именно понятие исцеления является, между тем, самым шатким.

Можно ли считать, что анализ, который завершается вступлением пациента или пациентки во внешний круг тех, кто причастен к психоанализу, его своего рода малым постригом, является исцелением, если субъект, чувствуя облегчение в отношении своих симптомов и прочно укрепившись на завоеванных им позициях, высказывает откровенные сомнения относительно тех, по его мнению, извращенных путей, которыми мы его в это царство небесное привели? А ведь такое случается.

Вот почему я не думаю, что отступаю от аналитического опыта хоть на йоту, когда напоминаю вам, что внутри этого последнего могут возникнуть самые разные вопросы и что приходится поэтому держаться определенной нити, которая гарантировала бы, по меньшей мере, что с собственным инструментом – размерностью истины – мы обращаться умеем.

Это вынуждает нас предпринять исследование не просто серьезное, но, в какой то степени, исчерпывающее, даже энциклопедическое. В рамках моих занятий нелегко, разумеется, свести воедино все, что может, в отношении такого предмета, как тревога, оказаться для аналитиков в их работе полезно. Важно все время помнить, что место, которое мы отвели тревоге на моей схеме и которое занимает сейчас ($-\phi$), представляет собою некую пустоту. Все, что может на этом месте явиться, сбивает нас, так сказать, с толку, мешая разглядеть ту структурирующую функцию, которую эта пустота выполняет.

Предложенная мной топология полезна лишь постольку, поскольку вы сумеете подтвердить ее показания путем серьезного изучения феномена тревоги – причем не имеет значения, из каких предпосылок вы при этом станете исхо-

дить. С нашей точки зрения они могут показаться узкими и в рамках нашего опыта нуждаться в переосмыслении, но на определенном уровне нечто важное все равно окажется понято. И если понятие тревоги предстает при этом ограниченным, искаженным и, с точки зрения нашего опыта, недостаточным, следует разобраться в том, почему это так. Потому что так бывает далеко не всегда.

На каком бы уровне связанная с тревогой проблематика ни формулировалась, мы всегда сможем из этого для себя нечто полезное почерпнуть.

Этим и собираюсь я сегодня заняться, так как времени свести воедино все сказанное на этот счет, у меня нет – это заняло бы у меня весь год.

1

Существует подход к проблеме тревоги, который многие – не знаю, оправданно, или нет – зовут объективным или экспериментальным.

Мы обязательно заблудились бы на этом пути, если бы я с самого начала не задал те точки опоры и траектории, которые позволяют нам сосредоточиться на нашем объекте, не теряя его из виду, и обратить внимание на то, чем его существование в корне своем обусловлено. В последний раз мне удалось выделить три ориентира, которые остались покуда только намечены, три точки, в которых измерение Другого остается господствующим.

Это требование Другого, наслаждение Другого и, в несколько иной модальности, представленное покуда вопросительным знаком, желание Другого – ведь именно желание соответствует аналитику как участвующей в анализе особой инстанции.

Мы не станем делать сами то, в чем упрекаем всех прочих – не станем, иными словами, исключать аналитика из текста изучаемого нами опыта. Тревога, формулу которой мы намереваемся вывести – это тревога, которая отвечает нам; тревога, которую провоцируем мы; тревога, которая нами же порой оказывается предопределена.

В измерении Другого мы занимаем свое, определенное место – место, с которого мы можем действовать, если су-

меем оставить измерение Другого нередуцированным. Под каким бы углом зрения ни пытались до сих пор феномен тревоги рассматривать, измерение это обязательно в нем присутствует – это как раз мне и хочется дать вам понять.

После той умственной выучки, которую вы у меня получили, пустыми покажутся вам похвальбы, иллюзорными успехи и мнимым триумф тех, кто, вопреки нашей, аналитической, логике – и, вообще говоря, противореча ей – указывают на тот факт, что невроз, якобы, можно воспроизвести в лабораторных условиях и у животных.

Те неврозы, на которые так любят сослаться при случае Павлов и его последователи – что они, собственно, доказывают? Нам объясняют, чем тот или иной рефлекс у животного обусловлен. С так называемой естественной реакцией связывается по ассоциации стимуляция, возбуждение, являющееся частью регистра, совершенно, как нас уверяют, не связанного с тем, который задействован в самой реакции. Затем эти обусловленные реакции сводят определенным образом вместе, обнаруживая их противоречивость. Обусловленная, вызванная искусственной дрессировкой реакция ставит организм в положение, когда он вынужден ответить на стимуляцию одновременно двумя противоположными способами, порождая тем самым своего органическое замешательство.

Более того, в некоторых случаях возникает при этом, как нам представляется, ситуация, когда возможности ответа исчерпываются и в результате их отклонения возникает беспорядок на более глубоком уровне, затрагивающий все поле вовлеченных в процесс реакций. Это и будет как раз объективным описанием того, о чем в более широкой перспективе можно говорить как о следствии определенного рода реакций, которые именуют инстинктивными. Не так давно была предложена, в другой области культуры, теоретическая модель того, что называют обычно *стрессом*. Согласно этой модели, предъявленное функцией требование приводит к дефициту, который выходит за пределы самой этой функции как таковой и затрагивает весь механизм, модифицируя его на более глубоком уровне, нежели уровень функциональных реакций, что приводит, на фоне

возникновения неразрушимых следов, к дефициту патологического характера.

Для нас важно было бы найти в этой гамме экспериментальных исследований что-то такое, что напоминало бы явления тревоги, встречающиеся порой в невротических реакциях. Но так или иначе, когда вопрос об опыте ставится таким образом, что-то при этом оказывается затушевано. Причем самим экспериментаторам поставить это в вину нельзя, так как умолчание это входит в условие опыта – другое дело, что при сопоставлении этого опыта с нашим, в котором мы имеем дело с говорящим субъектом, оно неизбежно оказывается обнаружено. Речь идет о том, что как бы примитивен организм подопытного животного по сравнению с организмом говорящего существа ни был – а Павлов, ставивший опыты над собаками, имел дело с организмами организованными достаточно высоко – измерение Другого в опыте все равно присутствует.

Я заговорил об этом далеко не вчера. В своем выступлении на одном из наших научных семинаров, посвященном обсуждению доклада, где речь шла о формировании невроза в экспериментальных условиях, я отметил, что в тот или иной момент опыта нельзя не учитывать в нем присутствие его самого – человека, который так или иначе этими собаками манипулирует. Зная, как ведет себя собака по отношению к человеку, который зовется ее хозяином, с одной стороны, и к остальным людям, с другой, мы не можем отрицать, что измерение Другого играет для нее определенную роль. Но даже если это не собака, а, скажем, кузнечик или пиявка, измерение Другого, который механизм опыта создал и привел в действие, все равно налицо.

Вы скажете, что кузнечик или пиявка, пассивная жертва опыта, об измерении Другого и знать не знает. Я совершенно с этим согласен. Поэтому-то как раз и стараюсь я с некоторых пор показать вам, насколько широка эта зона незнания у нас самих, у субъектов. Ведь и у нас, субъектов, как мы себя определяем и позиционируем, имеется зона, где о том, что нас как таковых формирует, нам ровным счетом ничего не известно.

Selbst-bewusstsein, которое я научил вас *называть субъ-*

ектом, предположительно знающим, в действительности таковым не является. *Selbst-bewusstsein* как некое образующее субъект начало является лишь иллюзией, источником заблуждения, так как представление о субъекте, предположительно прозрачном для собственного акта познания, возникает не раньше, чем выходит на сцену тот особый объект, который попытался я очертить, говоря о стадии зеркала – тот образ другого, при виде которого субъект испытывает радостное чувство, обнаруживая перед собою предмет, который делает его самого прозрачным для себя. Распространение этой иллюзии сознания на всякий род познания вообще мотивирован тем, что предмет познания конструируется, моделируется по образцу взаимоотношений субъекта с собственным зеркальным образом. Именно поэтому предмету познания и будет всегда чего-то не хватать.

Мы знали бы об этом и без всякого психоанализа – недаром ведь бывают моменты, когда появление объекта погружает нас словно в некое иное измерение – измерение, которое дано нам в переживании и заслуживает того, чтобы мы обособили его в этом переживании как нечто первичное. Это измерение чуждого.

Его то уж никак нельзя представить себе как зеркало, перед которым субъект представляется себе прозрачным для собственного сознания. Перед лицом этого нового субъект как бы меркнет – само представление, будто любое явление знание связано изначально с субъектом, ставится таким образом под вопрос.

Это возникновение в предметном поле чего-то такого, что переживается как неизвестное и ни к чему иному в строении своем не сводится, известно на опыте каждому и потому не одни аналитики об этом задумываются. Приходится, например, искать объяснение боязни темноты у детей. Мы знаем, однако, что они боятся темноты не всегда. Рассуждая на эту тему, углубляются порой в психологию. Самозваные экспериментаторы выстраивают теории изначальных, унаследованных, первобытных реакций, говорят о мышлении – без этого термина, они, похоже, никак обойтись не могут – которое выстроено иначе, нежели мышление логи-

ческое, рациональное. Придумывая, изобретая, они волей-неволей оказываются на почве философии. Именно здесь и поджидаем мы тех, с кем приходится нам порою поддерживать диалог, ибо это единственная почва, на которой для диалога этого возможна самооценка. Попробуем же дать интересующему нас переживанию более достоверное объяснение.

У меня действительно есть вполне правдоподобный ответ, которым я с вами сейчас поделюсь. Итак, формируется некий объект, соответствующий первому способу подхода к внешнему миру, распознаванию в нем нашей собственной формы. Признание это оказывается ограниченным, поскольку при этом упускается из виду нечто такое, что в наше бытие изначально заложено – тот факт, что мы существуем в качестве тела. Разумно предположить, и нетрудно проверить, что именно этот довесок, этот не ставший достоянием воображения остаток тела, и проявляется, обходными путями, о которых мы скажем в дальнейшем, на месте, предусмотренном для нехватки – проявляется в форме, которая, не имея зеркального отражения, для субъекта неуловима. Неуловимость, отсутствие определенных ориентиров, как раз для измерения тревоги и характерны.

Мы вполне согласны здесь с тем, как подходит к феномену тревоги Курт Гольдштейн. То, что он говорит о тревоге, во многом справедливо. Как артикулируется феноменологическое многообразие патологических явлений, в которой он прослеживает интересующее нас переживание? Гольдштейн с самого начала исходит из того, что во всех происходящих в организме внутренних взаимодействиях он функционирует как единое целое. Когда мы наклоняем голову, нет ни единого мускула, который бы в этом движении не участвовал. Любая наша реакция на возникшую ситуацию требует ответа, в котором задействуется весь организм. Исследуя этот ответ, мы можем разглядеть в нем две стороны – саму катастрофическую реакцию, во-первых, и, внутри связанных с ней феноменов, проявления тревоги как таковой.

Я попрошу вас обратиться к текстам гольдштейновских анализов, переведенным на французский и поэтому легко

доступным. Вы сразу заметите, насколько его разработки близки нашим собственным и насколько они выиграли бы в ясности, если бы автор мог опираться на нами полученные результаты. Проработав текст с ключом, который я в ваше распоряжение предоставил, вы сможете это увидеть.

Возьмем, к примеру, различие тревожной реакции от реакции растерянности.

Растерянностью субъект отвечает на собственную беспомощность в ситуации, с которой он не способен справиться в силу каких-то собственных недостатков. Однако реакция эта имеет порой место и в случаях, когда вины субъекта тут нет, в ситуациях, когда перед лицом опасности он оказывается беспомощен, *bilflos*.

Что касается тревожной реакции, то для ее возникновения нужны два условия – оба они в представленных Гольдштейном конкретных случаях упомянуты. Согласно первому из них, недостающее субъекту должно находиться в достаточно четких границах, чтобы в испытаниях, которым он подвергается, он мог бы дать в том, чего ему не хватает, ясный отчет, то есть, чтобы в объективном поле появилась, таким образом, четко ограниченная лакуна. Это возникновение нехватки в объективной форме и есть источник тревоги. Важно лишь – и это второе условие – помнить, что субъект имеет дело с Гольдштейном, или сотрудником его лаборатории, который тестирует его, подвергая заранее организованному испытанию. Поле нехватки возникает, таким образом, как следствие требования.

Если вы знаете, где и когда эти условия надо искать, то при желании легко убедитесь, что они непременно окажутся соблюдены.

Пересказивая к другим явлениям, напомню вам о сильнейшем переживании, отнюдь не нуждающемся в реконструкции, не принадлежащем темному первобытному прошлому, с которым мы, якобы, успели расстаться, а остающемуся, напротив, звеном, которое нас с этим прошлым связывает – переживании всегда актуальном, но обсуждаемым, как ни странно, все реже – переживании кошмара.

Непонятно, почему с определенных пор аналитики проявляют к нему все меньше интереса. Я заговорил о нем здесь

потому, что так или иначе нам придется на нем в этом году задержаться. Я скажу, почему, и где можно о нем прочесть, так как на эту тему существует большая и интереснейшая литература, с которой не худо будет вам ознакомиться. Я имею в виду, в частности, незаслуженно забытую работу о кошмаре, принадлежащую Джонсу – книгу, несравненную по богатству материала.

Напоминая вам об основах феноменологии этого явления, я не собираюсь скрывать от вас главную его черту – испытываемая в кошмаре тревога возникает у субъекта, собственно говоря, в связи с наслаждением Другого.

Коррелятив кошмара – это инкуб или суккуб, существо, которое ложится вам на грудь всей тяжестью своего чуждого, непроницаемого наслаждения, которое вот-вот готово этим наслаждением вас раздавить. Первое, что в мифе, как и в переживании кошмара, бросается в глаза, это что существо, чье наслаждение душит вас, одновременно задает вам вопросы и, больше того, получает в этих вопросах дополнительное измерение – измерение тайны. Не забывайте, что Сфинкс, чье появление в мифе предшествует разыгравшейся с Эдипом драме, объединяет в себе фигуру кошмара и фигуру вопрошающую.

Его вопрос и является как раз изначальной формой того, что я назвал измерением требования – то, что мы обычно называем требованием, говоря о наших, якобы инстинктивных, нуждах, является лишь вторичной, редуцированной его формой.

Нам остается, таким образом, вновь обратиться к вопросу о том, как соотносится до-субъективное, в ходячем понимании слова *субъект*, переживание с вопросом в наиболее непроницаемой своей форме, в форме означающего, полагающего себя с самого начала как непрозрачное – с вопросом, выступающем как загадка.

Это позволит вам, воспользовавшись мной же предложенными определениями, припереть меня к стенке, заставив, наконец, показать, как ими можно на деле воспользоваться.

2

Означающее, как я на очередном повороте вам сообщил, представляет собою след, но след стертый. Означающее, добавил я на другом повороте, отличается от знака тем, что если знак представляет что-то для кого-то, то означающее представляет субъект для другого означающего.

Попробуем применить это положение к тому, о чем у нас сейчас идет речь.

Речь у нас идет о тревоге по поводу утраченного объекта. Однако утрачен этот объект отнюдь не для всех. Я покажу вам, где его можно найти, так как если вы что-то забыли, это еще не значит, что он прекращает наличествовать – просто он стал для нас неузнаваем. Чтобы его найти, вернемся к затронутой нами теме следа.

Поддерживая в вас интерес к этим поискам, я сразу дам две короткие иллюстрации, обратившись к самому обычному в нашей практике явлению.

Совершенно очевидна связь между тем, о чем я пытаюсь вам рассказать, с одной стороны, и истерическим симптомом, в самом широком смысле, с другой – ведь, не забывайте, что истерии бывают самые разные, большие и маленькие, что заявлять о себе они могут анестезией, параличом, скотомией, сужением визуального поля и так далее. Тревога не заявляет о себе в истерии ровно постольку, поскольку эти проявления нехватки оказываются нераспознаны.

Есть одна вещь, которую часто не замечают и которую вы совершенно не учитываете, хотя именно она объясняет многие особенности поведения больного неврозом навязчивости. В том, как такой невротик обращается с означающим, в старании его скрыть, покрыть глянцем, измельчить, растолочь в порошок, избавиться от него, как леди Макбет пыталась избавиться от заклятого пятна крови, сказывается безнадежное, но вполне прозрачное стремление под означающим обрести знак. *Ungeschehen machen*, сделать так, словно история не была записана. Да, так оно и было, но точно сказать нельзя. Нельзя, потому что это всего-навсего означающее, а значит история всего лишь фокус. Что-ж, у него, невротика, есть своя правда, он кое-что понял, он хо-

чет добраться до самого истока, до предыдущего этапа – до знака.

Я попробую теперь проделать путь в обратном направлении. Не случайно я начал занятие с упоминания о подопытных животных. В конце концов, можно ведь выпустить их из клеток и посмотреть, что со следами станут делать они.

Стирать следы, пользоваться ими для своих целей, присуще не только человеку. Мы знаем, что животные тоже уничтожают следы. Известны нам и более сложные типы поведения – так, кошки могут закапывать свои следы, скрывая их под собственными испражнениями.

Животному свойственно обустраивать область своего проживания, *Umwelt*, помечая ее границы с помощью следов. Это так называемое занятие территории. Гиппопотамы, к примеру, делают это при помощи испражнений, а также выделений определенных желез, расположенных у них, если память не изменяет мне, в районе заднего прохода. Олень трется рогами о кору определенных деревьев, тоже оставляя своего рода следы. Зоология знает удивительное многообразие таких следов, и я не собираюсь вам их здесь перечислять. Но вот по поводу стирания следов мне действительно нужно сказать нечто очень важное.

Животное, как я уже говорил, стирает следы и даже оставляет ложные. Значит ли это, что оно пользуется означающими? Есть вещь, на которую животное не способно – оно не способно выдавать свои следы за ложные, то есть оставлять следы, которые, будучи истинными, выдавались бы им за ложные. Оставлять псевдо-ложные следы – вот характерная черта поведения не то, что человеческого, но, во всяком случае, построенного на функции означающего. Граница пролегает именно здесь. Именно здесь предстает перед нами субъект как таковой. Если существо оставляет след в расчете, что его примут за ложный – будьте уверены, что здесь налицо говорящий субъект, субъект как причина.

Само понятие причины возникает именно здесь. Уже потом мы пытаемся распространить его на всю вселенную, но первоначальная причина – это причина следа, который прикидывается пустым, который выдает себя за след ложный. Что я имею в виду? Я имею в виду, что при рождении

своем субъект неизменно обращается к тому, что я охарактеризовал бы коротко как самую радикальную форму рациональности Другого. Результат может быть лишь один – субъект включается на месте Другого в цепь означающих, и хотя означающие эти не обязательно имеют то же происхождение, но след, ставший означающим, может теперь, так или иначе, отсылать только к ним.

Вы видите теперь, что лежит у истоков возникновения означающего – это стремление, чтобы Другой, Другой реальный, *не знал*. *Он не знал* коренится, таким образом, в *он не должен знать*. Означающее обнаруживает субъект, это правда, но стирая тем самым его след.

a A

$\not{S}$

Схема стертого следа

Имеется, таким образом, *a*, объект охоты, и А, Другой. В промежутке между ними появляется, с рождением означающего, субъект, но субъект похеренный, загражденный, неопознанный. Чтобы в дальнейшем субъект обнаружить, приходится у этого неопознанного его отвоевывать. На схеме наглядно представлена связь, которая для отвоевания этого бытия, бытия субъекта, имеет решающее значение – связь между *a* и первоначальным появлением субъекта в качестве неопознанного, то есть, иначе говоря, бессознательного, *unbewusste*. Употребление этого слова оправдано философской традицией, смешивавшей *bewusst* сознания с абсолютным знанием. Нас оно уже не может устроить, так как для нас знание и сознание не совпадают.

Вопрос о происхождении так называемого поля сознания Фрейд оставляет открытым. Я осмелюсь утверждать, что стадия зеркала, в том виде, в котором я ее описал, указывает на возможное решение, хотя прекрасно отдаю себе отчет в том, насколько мало это решение удовлетворит тех, чье мышление было воспитано в картезианской традиции. Я надеюсь, что мы сумеем сделать в этом году еще один шаг к пониманию того, откуда так называемая система сознания на самом деле ведет начало и каков ее первоначальный

предмет, – ведь мы не сможем расстаться с перспективой сознания окончательно, пока не убедимся в том, что она сама завязана на определенном, имеющем специфическую структуру объекте, который мы в силах обособить и рассмотреть.

Я только что указал вам на место, которое в этой диалектике занимает невротик. Если суть того, что говорилось здесь о появлении означающего, вы уловили правильно, то вам сразу же очевидно станет на какую скользкую дорожку мы, рассуждая о неврозе, вступили. Все ловушки, в которые попадалась до сих пор аналитическая диалектика, связаны с тем, что громадная доля лжи, которая в требовании невротика заключается, оказалась недооценена. Существование тревоги связано с тем, что любое, даже самое архаичное по характеру, требование всегда сбивает нас с толку, не давая разглядеть то, что сохраняет место желание неприкосновенным. Именно этим и объясняется тревога, которая возникает в случаях, когда на это ложное требование дается исчерпывающий ответ.

Я наблюдал недавно нечто подобное, выслушивая пациента, от которого мать до определенного возраста не отходила буквально ни на шаг – казалось бы, чего лучше? Но ее ответы на его требования оказывались фальшивыми, неуместными, так как если требование четко выстроено в означающем материале, понимать его буквально ни в коем случае нельзя. То, чего ребенок у матери требует, призвано выстроить между ними те отношения присутствия-отсутствия, которые мы наблюдаем в игре *Fort-Da*, упражнении, где ребенок получает первый навык господства. Какое-то место обязательно должно оставаться пустым и пустота эта к содержанию требования, будь оно положительным или отрицательным, никакого отношения иметь не должна. Исчерпывающее удовлетворение требования и приводит как раз к нарушениям, в которых заявляет о себе тревога.

Наша алгебра дает здесь нам в распоряжение инструмент, как нельзя более подходящий для изучения вытекающих отсюда последствий. Дело в том, что требование незаметно проделывает недозволенный фокус – оно подменяет собою *a*, объект.

3

Что такое алгебра? Простой набор приемов, позволяющих путем простых, механически совершаемых манипуляций получать, не задумываясь, весьма нетривиальные результаты. В математике, как известно, так и следует поступать. Важно лишь, чтобы сама алгебра была построена правильно.

Я уже научил вас записывать влечение формулой ($\$\lozenge$D), читать которую следует: *перечеркнутое S*, купюра, *заглавное D*, требование. К этой купюре мы еще вернемся – у вас, собственно, начало только что складываться о ней кое-какое представление; купировать, укротить предстоит не что иное, как порыв охотника – но сама форма, в которой я научил вас влечение записывать, объясняет, почему влечения были впервые описаны именно у невротиков. Все дело в том, что фантазм, ($\$\lozenge a$), принимает у невротиков преимущественно форму ($\$\lozenge$D).

Именно обманчивый характер структуры фантазма у невротика навел, таким образом, на след так называемого влечения. Фрейд неизменно и четко именовал это явление *Trieb*. В немецкой философской мысли это слово имеет свою историю, и спутать его со словом *инстинкт* решительно невозможно. Несмотря на это, даже в *Standard Edition* мне попалось недавно, если память не изменяет, в статье *Торможение, симптом, тревога* место, где стоящее в немецком тексте слово *Bedürfnis* передано как *instinctual need*. Замени они просто-напросто *Bedürfnis* на *need*, это прекрасно передало бы по-английски немецкий текст. Зачем было прибавлять это *instinctual*, которого в оригинале нет, и которого довольно оказывается, чтобы исказить смысл до неузнаваемости? Влечение не имеет с инстинктом ничего общего.

Я не возражаю ни против самого термина в принципе, ни против того, как его обычно употребляют, говоря, скажем, о потребности живых существ в пище. Но оральное влечение – это совсем другое дело. Здесь немаловажен эрогенный характер рта, а тут сразу встает другой вопрос – а почему речь идет именно о рте? А не, скажем, вспоминая, если уж на то пошло, собак Павлова, о слюноотделении? А

приглядевшись к этому явлению повнимательнее, можно поинтересоваться заодно, почему до определенного возраста значение имеют лишь губы, и лишь позже, с течением времени, прибавляется к ним и то, что называет Гомер *оградой зубов*.

Дело в том, что уже в первом приближении аналитический подход к инстинкту обнаруживает ту линию разлома, которой в диалектике, вырастающей из отношений с зеркальным другим, принадлежит столь важная роль.

Я где-то выписал для вас, но не могу в своих бумагах сейчас найти и принесу в следующий раз, фразу Гегеля из *Феноменологии духа*, где прямо сказано, что язык – это работа и что именно с его помощью переводит субъект внутреннее во внешнее. Из построения фразы ясно, что речь идет, как говорят англичане, об *inside-out*, о метафоре вывернутой перчатки. И если я присоединил сюда представление о потере, то лишь потому, что вывернуть наизнанку удается не все, что на каждом этапе обнаруживается некий остаток, который не может быть языковой артикуляцией вывернут наизнанку или означен.

Неудивительно, что такого рода объекты предстают нам в форме так называемых *частичных объектов*. Это свойство настолько поразительно, что мы именно от этой, усеченной, формы их название и заимствуем. Так, всякий раз, когда заходит речь об объекте, соответствующем оральному влечению, мы называем его материнским соском. Не следует, однако, упускать из виду его первоначальную феноменологию, так как перед нами не что иное, как *dummy*, то есть нечто искусственное по своей сути. Именно это и позволяет заменить сосок первой попавшейся соской, которая в икономии орального влечения будет функционировать точно так же.

Биологическая составляющая, связанная, в частности, с потребностями, остается, разумеется, очень важна, и отказываться от нее нельзя, но при условии, что малейшее создаваемое разрывами и купюрами структурное дифференцирование немедленно приводит в действие означающую диалектику. Есть ли в этом нечто такое, что было бы несовместимо с так называемым естественным взглядом на вещи?

Измерение означающего – это, если хотите, то измерение, в котором оказывается преследующее свою добычу животное, когда преследование это заставляет его взять след и войти тем самым в новую область, где преследование перестает расцениваться как средство и становится самоцелью. Фантазм, $\$$ в отношении к *а*, как раз и знаменует собой вступление субъекта в это измерение и сведение его к нескончаемой цепи значений – цепи, которая зовется судьбой. От судьбы можно бесконечно увиливать, но весь вопрос в том, как найти начало этой цепи, понять, каким образом субъект в эту историю означающих впутался.

Понятно, что стоит для начала попробовать разглядеть в первых объектах, выделенных анализом, описанную мной структуру влечения. Среди этих объектов и тот, что я только что упомянул – отрезанная грудь. Позже, когда обращенное *к* матери требование обращается в требование *со стороны* матери, возникает объект, именуемый экскрементом. Привилегированное значение этому объекту придает то, что он тоже соотносится с так называемой эрогенной зоной. Обратите внимание, что и эта зона отделена от связанной с ней обширной функциональной системой четкой границей. Почему, в самом деле, преимущество в процессе испражнения получает именно анус? Да потому, что он, будучи связан со сфинктером, объект испражнения отделяет. Именно это отделение и сообщает анальному объекту его значение, позволяя ему играть роль не только, как обычно говорят, дара, но и своего рода удостоверения личности.

Функция, которую аналитическая теория, если не вчерашняя, то, по крайней мере, позавчерашняя, этому объекту, вводя понятие так называемых *объектных отношений*, приписывает, тем самым превосходно подтверждается. Если не сбиться, конечно, на ложный путь, усмотрев в этом модель мира анализируемого субъекта, в котором процесс созревания приводит к постепенному восстановлению пресловутой *целостной* или *аутентичной* реакции. На самом деле речь идет всего-навсего об отходах, указывающих на единственное, что имеет для нас значение – на то место, что занято пустотой.

На месте этом явятся, как я вам впоследствии покажу, и

другие объекты, куда более интересные. Они вам, собственно, уже знакомы, вы просто не знаете пока, какое им предназначить место. На сегодня считайте покуда, что это место за ними зарезервировано.

Поскольку наши построения в чем-то неизбежно перекликаются с экзистенциальной, и даже экзистенциалистской, теорией тревоги, для вас не станет неожиданностью, что тот, кого, по крайней мере в последнее время, рассматривают как одного из отцов экзистенциальной философии, проявлял к пустоте живой интерес.

Я говорю о Паскале, который сумел, не знаю почему, так завладеть нашим воображением, хотя, если верить историкам науки, он так и не довел до конца ни одно из своих начинаний. Теорию исчисления бесконечно малых он, по крайней мере, так и не создал, хотя был от этого открытия в двух шагах. Я объясняю это тем, что ему было на все это наплевать: его интересовало на самом деле совсем другое. Именно поэтому он нас до сих пор и занимает – даже тех из нас, кто нимало в Бога не верит. Будучи правоверным янсенистом, Паскаль серьезно интересовался желанием – именно по этой причине, доложу я вам по секрету, и проводил он в Пюи-де Доме эксперименты над пустотой.

С теоретической точки зрения пустота больше не представляет для нас ни малейшего интереса. Слово это для нас едва ли не вовсе лишено смысла. Мы знаем, что в пустоте, в свою очередь, могут существовать емкости, наполненности, волновые пакеты, и все что хотите. Но для Паскаля знать, страшится природа пустоты, или нет, было чрезвычайно важно – за этим стоял тот страх, который всем ученым того времени внушало желание. До тех пор если не природа, то уж мысль точно, словно огня боялись того, что где-то вдруг обнаружится пустота.

С этим нам как раз и предстоит разобраться. Важно понять, не поддаемся ли время от времени этому страху мы сами.

12 декабря 1962 года

VI
ТО, ЧТО НЕ ОБМАНЫВАЕТ

Бесценное наблюдение Ференци
Тревога заключена в рамки
Тревога не лишена объекта
От тревоги к действию
Требования Бога евреев

То, о чем я сегодня буду вам говорить, к метафизике отношения не имеет. Это, скорее, промывание мозгов.

Последнее выражение я позволил себе употребить несколько лет назад, еще до того, как оно стало притчей во языцех. Я имею в виду просто-напросто метод, позволяющий находить правильное место явлениям, с которыми вы в аналитическом опыте сталкиваетесь. Эффективность этого метода можно, конечно, проверить только на опыте.

Мне не раз ставили в упрек то, что на лекциях у меня присутствуют мои пациенты. Но судить о том, насколько допустимо общаться со мной в двух режимах сразу – в качестве слушающего меня, во-первых, и в качестве позволяющего мне себя выслушать, во-вторых – можно только изнутри. Может ли то, чему я учу вас, действительно облегчить каждому из присутствующих, в том числе и тому, кто проходит со мной анализ, поиск собственного пути? Мы находимся в данном случае на пороге, за которым внешнему контролю доступа нет, но когда я вижу, что те, кто общаются со мной в двух режимах одновременно, учатся, по крайней мере, лучше читать, это само по себе хороший знак.

Итак, промывка мозгов. Показывая вам, что в словах тех, кто находятся у меня в анализе, я умею увидеть то, что в книгах вы не найдете, я и позволяю как раз свою работу проконтролировать. Пациенты же, напротив, должны показать умение разглядеть в книгах то, что в них на самом деле написано.

Вот почему я не могу не приветствовать как благоприятный знак историю, рассказанную мне недавно одним из моих подопечных.

Дело в том, что он обратил внимание на одно наблюдение в вышедшей недавно (с каким опозданием!) во французском переводе книги Ференци.

1

В оригинале книга озаглавлена *Versuch einer Genitaltheorie*, то есть *Исследование*, собственно, *теории генитальности*, а вовсе не *истоков сексуальной жизни*, как до неузнаваемости искажено это выражение в переводе.

В книге этой есть стороны, которые не могут, конечно, не вызвать тревоги. Для тех, кто умеет слышать, я указывал уже на те элементы в ней, что могут носить бредовый характер. При этом, однако, она остается настоящим кладезем аналитического опыта и содержит, даже сбиваясь порою с курса, не одно ценное наблюдение.

Что касается того из них, о котором я говорю, то я не уверен, что сам автор понимает его значение правильно: ведь он надеется, в соответствии с замыслом своего исследования, придти к такому понятию генитальной реализации, которое грешит, на наш взгляд, излишней гармоничностью и единообразием.

Вот выражения, в которые облекает он свою мысль. *Развитие генитальной сексуальности у человека* – речь идет о мужчине – *которое мы в общих чертах здесь обрисовали, оказывается у женщины* – как выражается переводчик – *неожиданным образом прервано*. Перевод этот никуда не годится, так как в немецком тексте речь идет о *ziemlich unvermittelte Unterbrechung*, что означает *прерывание, которое в большинстве случаев почти вовсе не опосредовано*. Это означает, что прерывание это не является частью того, что Ференци именует амфимиксией и что является, в конечном счете, всего лишь одной из натурализованных форм так называемой триады тезис-антитезис-синтез, то есть, если можно так выразиться, диалектического прогресса – понятие, которому сам Ференци значения явно не придавал, но на котором, тем не менее, вся его конструкция держится. *Неопосредованным* прерывание названо здесь потому, что оно является по отношению к этому процессу побочным – не будем забывать, что речь у Ференци идет о поисках синтеза генитальной гармонии. Прерывание это оказывается с этой точки зрения, видимо, тупиком, так как ход опосредования его минует.

Прерывание, говорит Ференци, *характеризуется смещением эрогенности с клитора, этого женского пениса, на вагинальное отверстие.* Говоря это, он всего лишь развивает мысль, высказанную уже Фрейдом. *Аналитический опыт склоняет к предположению, что генитальный характер может получить у женщины не только вагина, но и другие части тела, в особенности сосок и окружающая его область, о чем свидетельствуют, в частности, явления истерии.*

Как вы знаете, в истерии бывают задействованы и многие другие зоны. К тому же и перевод, вялый, чтобы не сказать слюнявый, упускает из виду самое ценное в приведенном автором материале. Там, к примеру, где в переводе *свидетельствуют, в частности*, в немецком оригинале находим просто *nach Art der Hysterie*, то есть *как в истерии.*

Что означает это для тех, кто – неважно, в этой аудитории, или нет – научился слышать? А то, что функция вагины в половых отношениях запускается механизмом, который любому другому истерическому механизму полностью эквивалентен.

Чему тут удивляться? Наша схема, где в функции желания налицо пустота, позволяет, по меньшей мере, указать место тому парадоксу, о котором здесь идет речь: сформулировать его можно следующим образом.

Жилищем наслаждения, местом его обитания является, как правило, что и естественно, орган, в отношении которого как наш собственный опыт, так и анатомо-физиологические исследования, согласно свидетельствуют, что он не просто лишен чувствительности, но и не способен, по причине отсутствия в нем нервных окончаний, ее приобрести. Не секрет, что участок, где генитальное наслаждение возникает, можно сколько угодно, например, обдавать водой, нагретой до температуры, которую никакие другие слизистые оболочки не выдержат, не вызывая при этом никаких непосредственных сенсорных реакций.

Все это важно усвоить себе, прежде чем иметь дело с диахроническим мифом пресловутого созревания, в котором конечный пункт, то есть окончательная реализация половой функции в функции генитальной, предстает местом

схождения и синтеза всех заявлявших о себе до тех пор частичных тенденций. Признание обязательности наличия в функциональном фокусе желания пустого места и констатация того факта, что сама природа, сама физиология не сумела найти для своей реализации более подходящей точки, избавляет нас от необходимости строить вокруг пресловутого вагинального наслаждения воображаемые мифологические конструкции и, снимая остроту парадокса, ставит нас в положение гораздо более ясное – хотя и по ту сторону этой точки кое-что все-таки усмотреть можно.

Те из вас, что присутствовали на нашем посвященном женской сексуальности Амстердамском конгрессе, помнят, наверное, что, несмотря на обилие высказанных на нем интересных вещей, они так в общую картину и не сложились. Все дело в отсутствии структурного регистра – регистра, на который указал я тогда в своем вступительном слове и который я как раз и пытаюсь здесь выстроить. Отдавая себе отчет в парадоксах, возникающих при попытке определить место истерии на так называемой шкале неврозов, нетрудно оценить, насколько ценно для нас написанное здесь на доске.

Ввиду очевидной аналогии с истерическим механизмом, на высший образец которого я вам указал, истерию представляют как наиболее развитый тип невроза, так как именно он стоит ближе всего к генитальной реализации. Нам, в соответствии с этой диахронической концепцией, следует понимать, что истерия, знаменуя конец детского созревания, стоит в то же самое время у его истоков, так как клинический опыт показывает нам, что на шкале неврозов именно она идет первой, в то время как невроз навязчивых состояний выстраивается уже на ее основе. Очевидной, с другой стороны, является и связь истерии с психозом и шизофренией, что в литературе уже неоднократно подчеркивалось.

Единственное, что может избавить нас от необходимости помещать истерию, следуя нуждам того или иного случая, то в начало, то в конец пресловутой эволюционной фазы, это соотнесение ее с определяющим фактором – с той организующей желание синхроничной структурой, где

главная роль принадлежит тому, что я называю пустым местом, пробелом. Тот факт, что функция эта оказывается в завершенной структуре генитальных отношений налицо, не только подтверждает основательность нашего метода, но и позволяет по-новому, непредвзято, взглянуть на весь связанный с этими отношениями круг явлений.

Но что-то мешает нам, очевидно, к ним подойти, так что нам, поневоле, приходится пользоваться кружным путем – путем, проходящим через тревогу. Вот почему мы с вами ею и занимаемся.

2

Сегодня, когда первая фаза моего курса подходит, вместе со старым годом, к концу, настал момент подчеркнуть тот факт, что тревога обладает определенной структурой.

Я охарактеризовал ее с помощью набросанной в общих чертах схемы, которую вы с самого начала занятия видите на доске. Понимать ее следует в соответствии с моими указаниями, на чем я до сих пор недостаточно, наверно, настаивал.

Вертикальная черта на схеме – это зеркало, вид сбоку. Но зеркало не уходит в бесконечность, у него есть границы. Обратившись к статье, из которой заимствована эта схема, вы увидите, что границы эти играют у меня важную роль. Зеркало позволяет субъекту увидеть то, что находится в месте, недоступном для прямого взгляда. Но, несмотря на то, что зеркало позволяет мне разглядеть вещи, которые без него я бы увидеть не смог, самого себя, как и свой глаз, я могу в нем и не увидеть. Я хочу сказать, иными словами, что первейшей характеризующей структуру тревоги чертой – чертой, которая в наблюдениях всегда от вас ускользает, так как вы поглощены отражением в зеркале и на границы внимания не обращаете – является следующее: тревога всегда заключена в рамки.

Те, кто был свидетелем моего выступления на посвященных фантазму Днях в провинции – я уже два месяца и неделю жду, пока мне удосужатся текст этого выступления выслать – помнят, наверное, метафору, которой я там воспользовался: метафорой картины, помещенной в оконный

проем. Затея эта технически абсурдна, если требуется лучше разглядеть, что изображено на картине, но дело вовсе не в этом. Какие бы прелести картина нам ни являла, все дело в том, чтобы не дать зрителю взглянуть в окно.

В сновидениях фантазм порой является нам самым недвусмысленным образом в чистейшей, схематической форме. Именно таково сновидение, о котором читаем мы в случае *человека-с-волками*. Сновидение это важно для Фрейда и занимает в анализе центральное место именно потому, что представляет собой фантазм с обнаженной, явленной напоказ структурой. Наблюдения Фрейда в данном случае были и остаются неисчерпаемы, так как от начала и до конца речь здесь, по сути дела, идет о соотношении Реального и фантазма. Но что же видим мы в этом сновидении? Внезапное зияние – оба слова имеются в тексте – окна. Фантазм возникает по ту сторону стекла и наблюдается через открывающееся окно. Фантазм заключен в рамку.

Структура того, что видно за окном, совпадает с той, что наблюдается в зеркале на моей схеме. Те же две основные черты – более или менее ярко выраженная подставка и то, что эта подставка поддерживает. В сновидении – это ветви дерева и сидящие на них волки. Откройте наугад любой сборник рисунков, сделанных шизофрениками, и там будет таких рисунков полно. На некоторых из них наверняка окажется дерево, на котором что-то сидит.

Я заимствую свой первый пример из доклада Жана Бобона, сделанного на последнем, посвященном явлению экспрессии, Анверском конгрессе.

Посмотрите на этот выполненный шизофреником рисунок. Что вы обнаруживаете на концах веток? Для субъекта, о котором в данном случае идет речь, в роли волков, в отличие от Человека-Волка, оказываются означающие. Вокруг ветвей дерева пациентка написала формулу своего секрета, то, что до тех пор ей высказать не удавалось: *Io sono sempre vista*, *Я всегда на виду.* Надо сказать, что слово *vista* в итальянском, как и соответствующее французское слово, неоднозначно. Это не только страдательное причастие, но и *вид*, то есть не только функция видения, но и вид, как, например, на почтовой открытке.

Сегодня я хочу в первую очередь обратить внимание лишь на тот факт, что ужасное, тревожное, подозрительное – все то, что соответствует у нас худо-бедно магистральному немецкому *unheimlich* – всегда представлено неким подобием окон-отверстий. Поле тревоги всегда предстает заключенным в рамки. Мы вновь возвращаемся тем самым к тому, с чего я свое обсуждение начал – к соотношению сцены и мира.

Неожиданно, вдруг – описание встречи с явлением *unheimlich* никогда без этих слов не обходится. Вы всегда обнаружите представляющую собой самостоятельное измерение сцену, позволяющую явиться тому, что непосредственно в мире сказаться *не может*.

Чего мы ждем в момент открытия занавеса? Именно его, этого краткого мгновенья тревоги. Оно скоропреходяще, но именно благодаря ему, мгновенью, когда звучит последний, третий, звонок и взмывает занавес, поход в театр не сводится для нас к покупке более или менее дорогого билета и просиживанию штанов в кресле. Без этого краткого, предваряющего театральное действо мига тревоги, ни трагическое, ни комическое на сцене не состоится.

Сказаться не сможет – только что произнес я. На разных языках это тоже будет звучать по-разному. Речь идет в данном случае не о *können* – ясно, что высказать, в физическом, можно очень многое – а о *dürfen*, о некоей *власти*, которую понятия *позволено* или *не позволено* передают очень плохо, так как речь идет о чем-то более изначальном, первичном. Более того, только из *man darf nicht*, *нельзя*, и следует *man kann*, *можно*, только благодаря этому говорить о *власти* делать что-то или не делать имеет смысл. В этом и заключаются напряжение и разрядка, находящие свое воплощение в драматическом действии.

В обрамлении тревоги нельзя упустить ни малейших нюансов. Я веду вас, подозреваете вы, к мысли о том, что рамка знаменует собой ожидание, настороженность, состояние тревоги, заведомо защитную реакцию на то, что произойдет? Что ж, я согласен, это действительно *Erwartung*, здесь субъект впервые формирует представление о враждебности как таковой и выходит из состояния чистой беспомощ-

ности, *Hilflosigkeit*. Ожидание действительно может обрамлению тревоги, наряду с другими средствами, послужить, но дело вполне может обойтись без него. Никакой нужды в ожидании нет – обрамление всегда налицо. Тревога, так или иначе – это нечто совсем иное.

Тревога возникает тогда, когда появляется в рамке то, что, будучи изначально налицо, пребывало в непосредственной близости, можно сказать, дома, *Heim*. Это хозяин, скажете вы. И будете, в каком-то смысле, совершенно правы – бесцеремонно возникающая фигура неведомого хозяина действительно тому, с чем вы сталкиваетесь в *unheimlich*, очень близка, но сравнение это все же остается неточным. Как свидетельствует сам французский язык, где *хозяин*, (*hôte*), и *враждебный* (*hostile*) одного корня, фигура хозяина в значительной мере заранее ожиданием подготовлена.

Враждебное, с которого я этот разговор об ожидании начал, заранее накладывает на хозяина свою печать. Теперь это уже не своя, домашняя, *heimlich*, так сказать, фигура, не обитатель дома, а принятый в него враг – враг, которого удалось умиротворить и улестить. Домашнее, *Heim*, причастно тайне, *Geheimnis*. Не пройдя через сети и закоулки признания, оно так и осталось неодомашненным, чуждым, *unheimlich*, не столько «не жилым», сколько «не жильцом», не столько непривычным, сколько необитаемым.

Появление в рамке этого *heimlich* и есть то, что мы называем тревогой – вот почему нельзя говорить, будто объекта у тревоги нет.

Объект тревоги – это не объект, чье восприятие подготовлено и структурировано сеткой разрезов, борозд, единичных черт, чье безапелляционное «это вот что» замыкает уста создаваемого означающими разрыва, превращая эти последние в непроницаемые, отсылаемые в запечатанных конвертах к иным следам буквы.

Означающие превращают мир в сеть следов, в которой возможен становится переход от одного цикла к другому. Это значит, что означающее порождает мир, мир субъекта, способного говорить – мир, чьей главной характеристикой является то, что в нем возможен обман.

Тревога и есть этот разрыв – четкий разрыв, без которого

присутствие означающего, его функционирование, борозда, пролагаемая им в Реальном, просто немыслимы. Разрыв, в зиянии которого становится видно то, суть чего вам станет теперь яснее – то неожиданное, новое, пришлое, что так замечательно передается словом предчувствие. Не предчувствие чего-то конкретного, а именно *пред-чувствие*, то, что рождению чувства предшествует.

От тревоги можно переводить стрелки на любые пути. Суть ее, то, что мы, в конечном счете, от нее ждали, состоит в следующем: она – *то, что не обманывает*, она вне сомнения.

Помните, что внешность обманчива. Клинический опыт и вправду создает порой впечатление, будто между тревогой и сомнением, колебанием, амбивалентным поведением больного неврозом навязчивости существует связь, но это совсем не одно и тоже. Тревога – это не сомнение, тревога – это его причина.

Не в первый и не в последний раз напомню, что если после двух столетий критически-настороженного отношения к ней функция причинности еще сохраняет свои позиции, то лишь потому, что она не там вовсе, откуда ее изгоняют. Смысл этой функции, причины ее весомости и устойчивости нужно искать в совсем ином измерении – в измерении, которое открывает тревога.

Сомнение, со всеми усилиями, которые на него расходуются, служит одной-единственной цели – борьбе с тревогой. И средством в этой борьбе служит обман. Избежать той страшной уверенности, которую тревога в себе несет – вот на что сомнение на самом деле направлено.

3

Я думаю, что вы здесь меня остановите, напомнив, как сам я, в достаточно афористичных выражениях, говорил вам когда-то, что уверенность знаменует расцвет человеческой деятельности, порождается ею, что именно к деятельности уверенность нас отсылает.

Что ж, это действительно так. Более того – это как раз и позволяет мне решиться на утверждение, что именно у тревоги заимствует действие свою уверенность.

Действовать – значит вырвать у тревоги ее уверенность. Действовать – значит осуществить перенос тревоги.

И поскольку триместр подходит к концу, я позволю себе, пусть несколько преждевременно, заполнить до конца, или почти до конца, пробелы, остававшиеся в предложенной мной на первом занятии таблице, где фрейдовские термины торможение, симптом и тревога увязаны с дополняющими их понятиями помехи, смущения, эмоции и смятения. Что же располагается в пустых графах таблицы? Отыгрывание и *acting out.*

Торможение	Помеха	Смущение
Эмоция	**Симптом**	Отыгрывание
Смятение	*Acting out*	**Тревога**

Таблица, иллюстрирующая место тревоги

Я не стану вам сегодня объяснять, почему. Именно поэтому я и сказал как раз, что заполнил таблицу *почти* до конца. Но я дам вам, однако, кое-какую подсказку, обратив внимание, в связи с тем, что я говорил этим утром, на то, что уже вводя на первой лекции эти термины я прямо или косвенно противопоставлял избыточное в смущении тому, чего, напротив, в смятении, этом свидетельстве бессилия, переживании нужды и нехватки, не достает.

Связь этих терминов для нашего предмета принципиальна, ибо выявляет наглядно его двусмысленность. Если то, с чем мы имеем дело, дано в избытке, ни о какой нехватке не может быть речи. Если же его не хватает, то почему должно оно нас смущать?

Будем остерегаться иллюзий, сколь бы заманчивы они ни были.

Теперь, когда мы всерьез занялись тревогой сами, посмотрим, чего же хотят те, кто рассуждал о ней с научной точки зрения. И что же? То самое, что я с самого начала должен был постулировать как необходимое для построения мира, означаемое как возможность обмана, здесь как раз и оказывается на своем месте! Это особенно очевидно, когда речь идет о тревоге. Очевидно что? Да то, что, подходя к ней с научной точки зрения, мы всегда обнаруживаем, что она

представляет собой чудовищное надувательство.

Мы словно не замечаем, что все, на что завоевания нашего способа рассуждать простираются, оборачивается демонстрацией того, что перед нами чудовищное надувательство. Охватить явление мыслью как раз и значит продемонстрировать, каким образом можно сделать это обманчивым образом, это значит быть в состоянии его воспроизвести, то есть сделать из него означающее. Означающее чего? Субъект, воспроизводя его, фальсифицировал бухгалтерскую отчетность. И в этом нет ничего удивительного, если означающее действительно, как мы говорим, представляет собой след, который субъект оставляет в ходе вещей. Но если мы попытаемся сыграть в такую игру с тревогой, у нас точно ничего не получится: тревога обязательно из сетей означающей игры ускользнет.

Так что именно этого следует остерегаться в момент, когда нам предстоит понять, в каком смысле смущение связано с означающим избытка (en-trop), а нехватка с означающим недостатка (en-moins). Я сейчас это проиллюстрирую. Но знайте, что если бы психоанализа не существовало, мне нечего было бы на эту тему сказать. Психоанализ встречается с ними, однако, на каждом шагу. С фаллосом, например.

Маленький Ганс, не уступавший в искусстве логики Аристотелю, делает следующее утверждение – он говорит, что *все одушевленные существа обладают фаллосом*. Я полагаю, что обращаюсь к людям, которые следили за моими комментариями к случаю маленького Ганса и помнят, что говорил я в прошлом году о так называемых всеобщих утвердительных высказываниях. Я говорил, что единственный смысл их состоит в том, что они определяют реальное, отправляясь от невозможного. Невозможно, например, чтобы существо не имело фаллоса. Логика, как видите, оказывается здесь шаткой опорой – реальное обречено то и дело спотыкаться о невозможное. Так, от преткновения к преткновению, мы и знакомимся с ним – другого способа у нас нет.

Вот пример. Есть живые существа – скажем, мама – у которых фаллоса нет. Выходит, и живого существа в данном случае тоже нет. Отсюда тревога.

Приходится делать следующий шаг. Удобнее всего сказать себе, что у тех, у кого его нет, он есть. Именно этого решения мы как правило и придерживаемся. Живые существа, у которых фаллоса нет, его непременно, вопреки всему, должны получить. И лишь постольку, поскольку они этот фаллос – фаллос, который мы другие, психологи, назовем мнимым и который представляет собой просто-напросто означающее – получат, будут они принадлежать к классу живых существ. Вот так, от преткновения к преткновению, возрастаем мы если не в знании, то, во всяком случае, в понимании.

Не могу, кстати сказать, удержаться от удовольствия и не поделиться с вами находкой, открытием, которое я по случаю, счастливому случаю, в котором случайного, как известно, так мало, сделал, не далее, как на прошлых выходных, в словаре слэнга.

Какое чудо, право, этот английский язык – сам бы я до подобной мысли дошел не скоро! Здесь мало кто знает, наверное, что уже в пятнадцатом веке выражение *I understand you perfectly* звучало на слэнге *I understumble you perfectly*. Я специально пишу это на доске, так как на слух вы этот нюанс, возможно, не уловили. Непереводимое на французский язык *understumble* включает в английское *understand*, *понимаю*, слово *stumble*, которое и означает как раз *спотыкаться*. Понимать и значит как раз двигаться с грехом пополам от недоразумения к недоразумению.

Классическая психология учит нас, что опыт наш соткан из реального и ирреального и что к реальному подталкивает людей мука, которую причиняет им ирреальное. Будь это вправду так, надежда избавиться от мучения была бы напрасной – недаром Фрейд пришел к мысли, что тревогу вселяет совсем другое: именно реальное мучит нас в ирреальном.

Озабоченность им, *Sorge*, говорит нам философ Хайдеггер. Конечно, но мы с вами успели сделать еще один шаг вперед. Действительно ли озабоченность является последним словом? Когда мы беремся за дело, начинаем говорить, идем на работу, предполагается, что мы озабочены. Что это означает? Разве не очевидно, что мы заведомо, что бы мы

ни предприняли, находимся на этом уровне, на уровне искусства заботы? Человек явно не что иное, как производитель чего-то такого, что, непосредственно затрагивая его, носит имя заботы. Но я лучше обращусь к Писанию – к той священной, и в то же время профанирующей священное книге, что мы именуем Экклезиастом.

Заглавие это взято из греческого перевода Семидесяти, которые воспользовались им для передачи еврейского *Кохелет*. Это последнее более нигде не встречается и образовано от *Кахал*, *собрание*. *Кохелет* представляет собой абстрактное существительное женского рода со значением *собирать*, *сгонять вместе*. Не столько *Экклезиаст*, одним словом, сколько *Экклезиа*.

Чему учит нас эта священная, и одновременно профанирующая священное, книга? Философ, читая ее, обязательно попадется на удочку и расслышит в ней отголоски эпикурейства. Я в этом убеждался не раз. Это надо же, назвать Экклезиаста эпикурейцем! Я понимаю, что Эпикур давно уже, вопреки своему замыслу, никому бесстрастия не внушает, но если вы думаете, что книга Экклезиаста имеет малейший шанс подействовать на читателя таким образом, значит вы ее просто не открывали.

Господь требует, чтобы я радовался – вот что буквально в ней говорится. Библия – это, как-никак, Слово Божие. Но чье бы это слово ни было, вы отдаете, себе, наверно, отчет в том, насколько еврейский Бог отличается от Бога Платона. Хотя христиане и сочли своим долгом искать у платонова Бога психотического убежища от Бога евреев, самое время вспомнить сейчас о той пропасти, что отделяет Перводвигатель Аристотеля и бредовую по своему характеру конструкцию платонова Верховного Блага от Бога евреев – Бога, с которым ведут беседу, Бога, который от вас чего-то требует и, в довершение всего, велит вам, устами Экклезиаста, *наслаждаться*!

Радоваться приказам – всякий чувствует, что если есть у тревоги какой-то источник, какое-то начало, искать его надо где-то здесь. На заповедь *наслаждайся* (Jouis) можно ответить только одним: *слушаюсь* (J'ouïs) – недаром по-французски оба слова в произношении неразличимы.

Но наслаждение мне дается от этого нисколько не легче. Именно таким предстоит нам Бог говорящий, Бог, открыто сказавший нам, что он есть то, что он есть.

Чтобы, коль мы уже заговорили о Боге, сделать к пониманию того, что Он требует, дальнейший шаг, я напомню, воспользовавшись благоприятным моментом, ввиду близости предмета к нас интересующей теме – хотя, сами понимаете, заговорил об этом впервые я не вчера – что среди требований, которые Господь своему избранному, привилегированному народу предъявляет, имеются такие, которые высказаны очень точно, причем похоже, что для формулировки их знание моих семинаров ему не понадобилось. Я имею, конечно, в виду заповедь обрезания. Мало того, что Он велит нам наслаждаться – он указывает, как именно нам это следует делать. Свое требование Он уточняет – он вычленяет объект.

Вот почему меня, как и вас, не могло не запутать, не сбить с толку то, что обрезание ставится в связь с кастрацией.

Аналогия между ними, конечно, есть, поскольку в обоих случаях оказывается затронут объект тревоги. Но утверждая, будто обрезание служит причиной, фигурой, аналогом того, что мы именуем кастрацией и соответствующим комплексом, мы совершим грубую ошибку – мы не выйдем при этом за пределы симптома, который может возникнуть у обрезанного субъекта, если полученная им метка станет ассоциироваться у него с представлениями, продиктованными ему обусловленным комплексом кастрации неврозом.

На самом деле, обрезание ничего кастрирующего в себе не несет. Если оно выполнено добросовестно, результат, нельзя не признать, выглядит вполне элегантно, особенно по сравнению с древнегреческими мужскими органами, которые торговцы антиквариатом, зная, что я аналитик, привозят ко мне вагон и маленькую тележку. Мой секретарь неизменно возвращает им этот товар и я вижу из окна, как они выходят во двор с грузом членов. Чья крайняя плоть, надо сказать, утрирована до безобразия. С эстетической точки зрения, обрезание, как ни крути, более чем оправдано.

Но даже те, кто так и не выбрался до сих пор из путаницы бытующих в аналитической литературе ошибок, давно

поняли, что обрезание в значительной степени устраняет двусмысленность, связанную с идентификацией пола. *Я и рана, я и нож*, – говорит где-то Бодлер. Что, в самом деле, ненормального в том, чтобы быть одновременно колчаном и стрелой? Ритуальная практика обрезания способствует благотворному в данном случае разделению ролей.

Вы чувствуете, наверное, что эти замечания сделаны не случайно. Обрезание уже не покажется вам ритуальным капризом, поскольку в нем ясно просматриваются те две стороны, которые я только что в требовании выделил: вычленение объекта и функция выреза. То, чего Бог требует в качестве приношения из этой зоны, вычленяет объект, его предварительно очертив. Почему те, кто узнают друг друга по этому традиционному знаку, остаются подвержены тревоге? Вот в чем вопрос.

Один из тех, кого я сегодня упоминал – я не буду ни на кого из моих слушателей конкретно указывать – назвал меня, в частном письме, последним из христианских кабалистов. Можете не волноваться на этот счет. Если мне и случается углубиться в исследования, основанные, так сказать, на счислении означающих, моя гематрия никогда в этих выкладках не затеряется. Я никогда не обманусь, приняв свою коптилку за светоч знания. Другое дело, если светоч этот окажется замутнен – что ж, тогда мне волей-неволей придется положиться и на коптилку.

Следуя по стопам Фрейда, я могу позволить себе спросить его Бога прямо – *Che vuoi?* Иными словами – как соотносятся желание и закон? Вопрос, которого философская традиция избегает, но на который Фрейд дал ответ. Причем вы этим ответом живете, даже если, как и все остальные, сами этого не замечаете. Ответ прост: желание и закон – это одно и то же.

Я непрерывно внушаю вам и веду вас к тому, что там, в тексте Фрейда, под маской эдипова комплекса уже присутствует: то, что на первый взгляд противостоит друг другу, желание и закон, суть одно и то же – препятствие, заграждающее для нас доступ к Вещи. Возжелав, я *volens-nolens* вступаю тем самым на путь закона. Вот почему Фрейд связывает происхождение закона с неисповедимым желанием Отца.

При этом само открытие его, как и весь ход его исследований, не позволяют вам выпустить из виду то истинное, что за этим заблуждением кроется.

Подгоняются мои объекты под какую-то норму, или же нет, о том, что я желаю, я все равно остаюсь в неведении. Просто время от времени обнаруживается среди прочих некий объект, о котором я на деле не знаю, как он тут оказался.

С одной стороны, имеется объект, который маскирует мою тревогу, объект моей фобии, и я не отрицаю, что он нуждается в объяснении, ибо до тех пор я могу только сказать, есть он, или его нет, не зная на самом деле, что происходит у меня в голове. С другой стороны, имеется объект, который я желаю непонятно почему – почему, скажем, я, будучи не прочь насчет девочек, отдаю, однако, предпочтение туфелькам?

С одной стороны, одним словом, волк, с другой – пастушка.

Итак, первая часть моих занятий, посвященных тревоге, подошла к концу.

В связи со вселяющим тревогу божественным повелением не худо вспомнить и об охоте Дианы, которая, как говорил я вам в речи по избранному мною случаю, по случаю столетия Фрейда, и есть Вещь, которую Фрейд искал. Что ж, в следующем триместре всех вновь приглашаю на гон волков.

19 декабря 1962 года.

ПЕРЕСМОТР СТАТУСА ОБЪЕКТА

VII
НЕ БЕЗ НЕГО

Физика
Лингвистика
Социология
Физиология
Топология

В тридцать второй лекции своего введения в психоанализ, входящей в курс, который известен во Франции под заглавием *Новые беседы о психоанализе*, Фрейд уточняет, что то новое, о чем он собирается говорить, не носит чисто спекулятивного характера.

Насколько невразумительно звучит это во французском переводе, судите сами. *Речь не может на самом деле идти только о концепциях.* Точка. *Поистине необходимо найти абстрактные и точные идеи, которые, будучи приложены к сырому материалу наблюдений, привнесли бы в него порядок и ясность.* Такое тонкое дело, как перевод Фрейда, негоже доверять окололитературным дамочкам.

Никакой точки в немецком тексте там, где я на нее указал в переводе, нет. В оригинале фраза ничего загадочного не содержит. *Sondern es handelt sich wirklich um Auffassungen*: речь идет *wirklich – на самом деле, действительно*, а не *поистине* – о концепциях. Другими словами, эти *Vorstellungen*, правильные абстрактные представления – их нужно *einzuführen*, то есть *выявить*, и применить их к *Rohstoff der Beobachtung*, к *сырой материи наблюдений*, что позволит выявить в ней упорядоченность и прозрачность, *Ordnung und Durchsichtigkeit*.

Именно над этой задачей, по этой программе, и работаем мы уже несколько лет.

1

Итак, идя по следу тревоги, мы уточнили статус того, что я самого начала обозначил здесь строчной буковкой *a*.

Вы видите ее на схеме парящей над профилем вазы, символизирующей для нас нарциссическое вместилище либидо. Этому последнему отвечает на схеме образ собственного

тела, *i'(a)*, в зеркале Другого, *A*. То и другое связывает между собою колебательное движение, названное Фрейдом взаимообратимостью объектного либидо и либидо собственного тела. Существует, однако, нечто такое, что в икономии колебаний либидо от *i'(a)* к *i'(a)* не то чтобы не участвует, но особенным образом в него вмешивается. Нарушения, вызванные этим вмешательством, мы в этом году, собственно, и изучаем. Наиболее ярким проявлением этого объекта *a*, сигналом его вмешательства, и служит как раз тревога.

Я не хочу сказать, будто объект этот является всего-навсего ее, тревоги, оборотной стороной, но вмешательство и функционирование его с тревогой так или иначе скоординированы.

Мы знаем от Фрейда, что тревога выполняет по отношению к чему-то функцию сигнала. Сигнал этот, добавляю я, связан с тем, что происходит в отношениях субъекта с объектом *a*, в какой бы форме этот последний ни выступал. Субъект вступает в эти отношения лишь постольку, поскольку оказывается в мерцающем состоянии – именно на это мерцание, затухание, *fading*, и указываю я, перечеркивая на своей схеме большое *S*. Тревога является сигналом того, что отношения эти достигли определенного момента. Сегодня я как раз и попробую поговорить об этом подробнее, уточнив, что именно мы под этим объектом *a* понимаем.

Прежде всего, объект этот мы обозначаем буквой. Это алгебраическое обозначение выполняет у нас определенную функцию. Оно подобно нити, которая позволит нам опознать этот объект в многообразных его обличьях. Поскольку словесное именование всегда, как мы уже отмечали, метафорично, смысл алгебраического обозначения в том и состоит, чтобы указать на чистую идентичность предмета самому себе, освободив функцию означающего от привносимого его употреблением значения. Так, слово *благой*, порождая значение «благо», само по себе отнюдь не благо, так как порождает одновременно с благом и значение «зло».

Даже обозначая маленькое *a* словом *объект*, мы уже пользуемся им метафорически, так как термин этот заимствован из модели отношений, связывающих между собой субъект и объект. Он призван, таким образом, указывать на

объективность как таковую, в то время как то, что мы называем *а*, представляет собой объект, который ни в одно возможное определение объективности не вписывается.

О том, что обходится без объективности, претендуя на то, чтобы именоваться субъективным, я сейчас говорить не стану. Вы сами знаете, что в области науки – я говорю о нашей науке вообще – со времен Канта с объектом начали происходить неприятности, причем связаны все они с преувеличенным значением, которое стали придавать очевидностям, ведущим свое происхождение, в первую очередь, из области трансцендентальной эстетики. Так, рассматривая пространство и время как два, якобы, очевидно независимых измерения, теория объекта науки столкнулась неожиданно с тем, что неудачно прозвали кризисом научного разума. Понадобилось недюжинное усилие, чтобы обнаружить, наконец, что на определенном уровне развития физики временной и пространственный регистры не могут уже рассматриваться как две независимые переменные, и это, как ни странно, показалось многим неразрешимой проблемой. Последняя не стоит, однако, того, чтобы на ней здесь останавливаться, поскольку мы с вами ясно отдаем себе отчет в том, что именно статус объекта позволяет указать символическому то место, которое ему в организации и передаче опыта по праву принадлежит, не прибегая к рискованным экстраполяциям воображаемого в область символического как такового.

На самом деле, время, о котором в данном случае, в четвертом измерении, где оно предстает ирреальной величиной, идет речь, не имеет ничего общего с тем, что мы интуитивно переживаем как некий непреодолимый порог реального. Волноваться по тому поводу, что время в том виде, в котором оно дано всем нам как некая очевидность, не может выступать в символическом регистре в качестве независимой переменной, значит с самого начала впадать в категориальную ошибку. Та же самая трудность возникает, как известно, на определенном уровне физической теории и с понятием тела.

Мы находимся здесь на своей собственной территории. По поводу того, что необходимо сделать, дабы придать опы-

ту соответствующий ему статус, у нас с вами есть, что сказать. На деле, наш опыт свидетельствует о том, что никакая интуиция, никакая, используя термин Фрейда, прозрачность *Durchsichtigkeit*, основанная на интуитивном представлении о сознании, не имеет самостоятельного значения как первоначало и не может, поэтому, лечь в основу какой бы то ни было трансцендентальной эстетики. Не может уже потому, что субъект сознанием не исчерпывается, что первоначально он бессознателен. Почему? Потому что формированию его предшествует вмешательство означающего.

Весь вопрос в том, как означающее вступает в реальное и как возникает в результате субъект. Нужно ли понимать это наподобие своего рода нисхождения духа, явления стаи крылатых означающих, которые сами начинают проделывать в реальном дыры, среди которых и появляется, наконец, дыра, именуемая субъектом? Мне представляется, что когда я ввожу понятие о трех – воображаемом, символическом и реальном – регистрах, подобную мысль приписать мне никак нельзя. Что же, собственно, позволяет означающему воплотиться?

В первую очередь это, конечно, то самое, чем мы с вами, чтобы предстать друг другу, располагаем – это наше тело. Тело это не годится, однако, рассматривать исключительно в категориях трансцендентальной эстетики. В поле протяжения, где ему указывал место Декарт, оно не укладывается. Не дано оно нам как таковое целиком и в зеркальном отражении.

Даже в опыте встречи с зеркалом может наступить момент, когда наш образ в нем неожиданно изменяется. Стоит в зеркальном изображении нашего стана, лица, глаз, появиться измерению собственно нашего взгляда, как значимость образа мгновенно начнет меняться – в особенности, если возникнет момент, когда появившийся в зеркале взгляд не обращен больше на нас самих. Тут-то и занимается в нас, берет начало, *initium*, то ощущение незнакомого, которое и отворяет входы тревоге.

Именно это превращение зеркального образа в ускользающего от меня двойника и является пунктом, где происходит что-то такое, чью общую суть, чье присутствие во всей феноменальной сфере и позволяет как раз выявить

и показать предложенная нами артикуляция функции *а*. Функция эта, впрочем, гораздо шире происходящего в этот странный момент, который я особо выделил здесь лишь постольку, поскольку он, в силу своей интенсивности, бросается в глаза и выступает как изолированный.

Каким же образом происходит это преобразование занимающего четко определенное место и подлежащего обмену объекта в объект частный, интимный, о котором никому другому понятия дать нельзя – тот господствующий над нами объект, что соответствует в нашем фантазме нам самим? Когда именно этот момент движения, преобразования, откровения наступает? Некоторые пути и обходные тропы, которые я успел проложить за предыдущие годы, позволяют обозначить это место и, более того, объяснить, что же на самом деле там происходит. Небольшая схема, которую я нарисовал для вас на доске, дает в ваше распоряжение некоторого рода *richtigen Vorstellungen*, верные представления, которые позволяют придать обращению, всегда более или менее смутному, неясному, к опыту и интуиции определенную прозрачность, *Durchsichtigkeit*, то есть выстроить новую, соответствующую нашему опыту, трансцендентальную эстетику.

Принято считать, что у тревоги объекта нет. Вот это, основанное не на учении Фрейда в целом, а лишь на его фрагменте, мнение, я и стараюсь как раз скорректировать. Так что можете быть уверены, что, как я для вас в качестве памятки – она не хуже других пойдет вам на пользу – на доске написал – *тревога не лишена объекта*.

Именно такова формула, призванная *описывать* отношения тревоги к ее объекту.

Объектом тревоги этот объект, строго говоря, не является. К выражению *не лишен*, или *не без* (*pas sans*) я уже прибегал в свое время в формуле, описывающей отношение субъекта к фаллосу: он *не без* фаллоса.

Выражая связь этой формулой, мы не утверждаем, будто объект, о котором идет речь, нам знаком. Говоря о ком-то *он не лишен средств*, или *он не лишен хитрости*, я, по крайней мере, чаще всего имею в виду, что о средствах его я судить не могу и что хитрость его носит своеобразный характер.

Да и на лингвистическом уровне латинское слово *sine*, *без*, тесно связано с часто примыкающим к нему *baud*. По латыни так и говорят: *non baud sine*, *не без*. Перед нами здесь разновидность условной связи, в которой бытие и обладание чередуются. Он *не существует без...*, но в другом месте, там, где он *существует*, наличие этого не очевидно.

Здесь-то и обнаруживается, пожалуй, социологическая функция фаллоса, взятого, разумеется, на уровне заглавной **Ф**, на уровне, где он воплощает собой функцию, которая в обмене отчуждает субъект наиболее радикальным образом. Субъект мужского пола участвует в социальном обмене в качестве носителя фаллоса. Вот почему в организованном обществе, где, наряду с запретами, важную роль играют, как Леви-Стросс справедливо отметил, и предпочтения, без кастрации обойтись нельзя. Настоящий секрет, истина того, что происходит в описанной Леви-Строссом структуре вокруг обмена женщинами, состоит в том, что за обменом женщинами стоят наполняющие их фаллосы. Все дело, конечно, в фаллосе, но стоит этому обнаружиться, как расплатой немедленно станет тревога.

Есть много путей, на которые с этой развилки можно перевести стрелки. Ясно, к примеру, что, заговорив о фаллосе, мы вплотную подошли к комплексу кастрации. Почему бы нам, в самом деле, не поговорить о нем поподробнее?

2

Как я вам уже многократно напоминал, кастрация, о которой в комплексе кастрации идет речь, кастрацией не является. Все это знают, ни у кого в этом не возникает сомнений, и, что интересно, над этим никто не задумывается. А задуматься тут есть над чем.

Где, в каком пространстве между воображаемым и символическим этот фантазм располагается? И что там, собственно, происходит? Как-никак, это больше похоже на известный в древности жестокий обычай холостить пленных воинов, чем на фабрикацию евнухов. Речь идет, конечно же, о фантазматических угрозах в адрес пениса – угрозах со стороны отца или матери, в зависимости от возраста, к которому регрессирует пациент. *Если ты это сделаешь, его*

тебе отрежут. Этой угрозе придают большое значение – только это и дает основание сближать кастрацию с той практикой обрезания, о которой я в прошлый раз, как вы помните, счел нужным в профилактических, так сказать, целях упомянуть.

Влияние обрезания на психику отрицать нельзя. Я далеко не единственный, кто обратил на это внимание. Одна из последних посвященных данной проблеме работ, статья Нюнберга о связи обрезания с бисексуальностью, очередной раз напоминает нам о том, о чем многие неоднократно говорили и раньше: обрезание совершают не только для того, чтобы усилить, путем его обособления, мужское начало, но и для того, чтобы спровоцировать явления, связанные с комплексом кастрации, и, в первую очередь, те из них, что вызывают к жизни тревогу. Именно разрез и является тем общим знаменателем, что позволяет подвести операцию обрезания, *Beschneidung*, крайней плоти – *арель*, на иврите – под разряд кастрации.

Не позволяет ли это представление об отрезании сделать еще один шаг к пониманию функции, которую тревога по поводу кастрации выполняет? *Я отрежу его тебе*, говорит мать, которую психоаналитики называют кастрирующей. Хорошо, но что с *вивимахером*, как называет его маленький Ганс, потом станет? Предположим, что угроза эта, наличие которой всегда в нашем опыте давало о себе знать, исполнится – тогда предмет этот окажется в поле обычных, подлежащих обмену объектов, в руках отрезавшей его матери. Именно это и придает ситуации определенную странность.

Нашим пациентам нередко случается видеть сны, где они держат пресловутый предмет в руках – то ли он в результате гангрены отвалился сам, то ли труд отрезать его взял на себя в сновидении партнер, то ли произошел иной какой-нибудь несчастный случай. Сновидения эти окрашены в той или иной мере странностью и тревогой и внушают субъекту сильное беспокойство. В наблюдениях над маленьким Гансом этот неожиданный переход от объекта к его, говоря языком Хайдеггера, *Zuhandenheit*, возможность использовать его как обычный предмет в качестве инструмента или орудия, дает о себе знать в сновидении, где мас-

тер-водопроводчик привинчивает и отвинчивает его, переводя тем самым то, что было *eingewürzelt*, укоренено в теле, в категорию заменяемых, съемных частей. Это феноменологическое превращение позволяет выявить то, что противополагает друг другу два типа объектов.

Исследуя фундаментальную роль стадии зеркала в формировании предметной области как таковой, я выявил в этом процессе несколько этапов. На первом из них происходит первичная идентификация с зеркальным образом, изначальная ошибка, в которую впадает субъект относительно того, что он, в целом, собой представляет. На втором возникает своего рода переходность в отношениях субъекта с воображаемым другим, ему подобным. В результате субъекту трудно становится себя идентифицировать, отличить себя от другого. Тогда-то и появляется в качестве посредника между ними общий им обоим объект, предмет соперничества, чей статус связан с понятием принадлежности – он либо мой, либо твой.

В поле принадлежности имеется два рода объектов – одни могут быть общими, другие не могут. Однако и те, что не могут, начинают, как видим, циркулировать в области, где происходит распределение, вместе с другими – теми, чей статус всецело определяется конкуренцией, двусмысленной функцией, предполагающей одновременно согласие и соперничество. Это объекты обмена, объекты рыночной котировки. Но существуют и объекты иного рода.

Наиболее очевидным из этих последних является, благодаря кастрации, фаллос. Но есть у него и эквиваленты. Некоторые из них, будучи его предшественниками, вам знакомы – это экскремент и сосок. Но есть и другие, которые, хотя и отмечены в аналитической литературе, известны вам хуже. На них-то мы и попытаемся здесь обратить внимание. Когда объекты эти беспрепятственно вступают в область, с которой они не имеют ничего общего, в область обмена, когда они появляются в ней и становятся в ней узнаваемы, возникает тревога, сигнализирующая об их необычном статусе. Объекты эти предшествуют формированию мира предметов, подлежащих обмену, обобществляемых. Именно их я имею в виду, говоря об объектах *a*.

Эти объекты мы с вами в дальнейшем поименуем и составим их исчерпывающий, надеюсь, каталог. Три я уже назвал, и двух пока не хватает. Вся совокупность их соответствует пяти формам утраты, *Verlust*, которые предстают у Фрейда в работе *Торможение, симптом, тревога* как преимущественные моменты появления сигнала.

Прежде, чем пойти дальше, я хочу перевести стрелки на другой из двух возможных путей, и сделаю замечание, побочные выводы из которого смогут кое на что пролить свет.

Я уже упоминал о пробеле в аналитических исследованиях, так и не сумевших сказать в вопросе о физиологии женской сексуальности никакого нового слова. То же самое обвинение можем мы предъявить им и в отношении мужского бессилия.

Фазы, которые проходит организм мужчины в процессе совокупления, легко поддаются наблюдению и, говоря о них, нам, в сущности, нечего добавить к букету физиологических данных, касающихся эрекции и, затем, оргазма. Мы довольствуемся, по сути дела, описанием происходящего в терминах цепочки стимул-реакция, уподобляя оргазмическую разрядку двигательной фазе в процессе любого действия, представляющего собой реакцию. Но это, даже у Фрейда, далеко не так. Ведь именно он задался вопросом о том, почему в случае сексуального наслаждения организм не выбирает, как обычно, кратчайший путь к достижению минимального уровня возбуждения, а стремится, напротив, к так называемому предварительному удовольствию, *Vorlust,* нацеленному на то, чтобы этот минимальный уровень как можно больше повысить. И почему в момент – неясно, какой именно – когда повышение уровня, связанное с предварительной любовной игрой, прерывается, возникает оргазм?

Располагаем ли мы схемой, которая позволила бы происходящее описать? Удалось ли нам создать физиологическую картину процесса, выделив, изолировав, обозначив тот нервный механизм – *Abfuhrinnervationen,* сказал бы Фрейд – который, собственно, и подает сигнал к разрядке? Так или иначе, механизм этот явно не совпадает с тем, что действовал до него, так как тот, напротив, стремился разрядку по

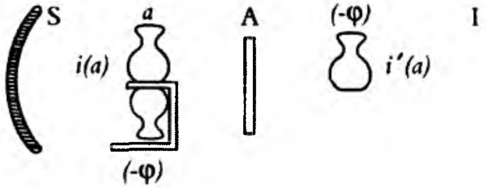
возможности задержать. Принцип удовольствия, руководивший этим последним, стремился приблизиться к положенному ему пределу, то есть к остановке на уровне стимуляции, предшествующем возникновению боли.

Но как он, этот *feed-back*, возникает? Над этим, похоже, никто не задумывается. Но ясно, так или иначе, что без функции Другого дело здесь не обходится.

Услышать это вам, по идее, следовало не от меня, а от тех, кто так или иначе связывает нормальную половую функцию с жертвенностью. Мне всегда хотелось услышать от них, каким образом получается так, что функция дара заявляет о себе *hic et nunc* в момент полового акта.

Вам известно, что значительная часть психоаналитического опыта коренится в нарушениях, связанных с любовной жизнью и что важную часть в наших размышлениях занимает так называемый выбор объекта любви. Считается, что в этой области многое зависит от первичного объекта, матери, чье влияние и оказывается решающим. Именно в этом последнем нужно искать причину того, что одному субъекту для достижения оргазма требуются определенные условия, а другому – особого рода партнеры. Мы знаем, к примеру, что отношения с проституткой напрямую, как показывает анализ, определяются ролью, которую играет для субъекта мать, в то время как в других случаях унижение в области *Liebesleben* связано с выбором объекта, противоположного матери, в котором женщина выступает как носитель, или даже эквивалент, фаллического объекта.

Хорошо, но как же все это происходит? Ответ может подсказать схема, которую мне уже случалось однажды рисовать на доске.



Выбор объекта

Привлекательность, свойственная *гламурному*, представляющему в ореоле желанного блеска или любимого цвета

– именно так обозначают сексуальность китайцы – объекту, позволяет этому объекту стимулировать возбуждение. Располагается этот любимый цвет на стороне *i'(a)*, на уровне того сигнала, который может с тем же успехом оказаться сигналом тревоги. Каким образом? Путем подключения первоначальной эрогенной инвестиции, которая налицо в *a*, оставаясь присутствующей и скрытой одновременно.

С другой стороны, то, что функционирует как элемент , благодаря которому происходит выбор объекта любви, может возникнуть здесь, с другой стороны зеркала, в собственном Я, на уровне того *Einschränkung*, заключения объекта в рамки, которое Фрейд напрямую связывал с действием механизма Я, на уровне ограничения поля либидинального интереса, которое исключает определенный тип объекта именно по признаку его связи с матерью.

Два описанных механизма располагаются на концах той цепочки, что начинается торможением, а оканчивается тревогой, – цепочки, задающей диагональ той таблицы, которую я в начале этого года нарисовал на доске. В торможении и тревоге перед нами налицо два различных механизма – их следует не путать между собою и хорошо представлять себе, каким образом тот и другой могут действовать во всем диапазоне проявлений сексуальности.

Говоря *во всем диапазоне*, я включаю сюда и то, что в нашей практике именуется переносом.

Я слышал недавно мнение, что кто-кто, а члены нашего Общества в переносе кое-что понимают. Надо признаться, впрочем, что, не считая одной работы о переносе, написанной, кстати, еще до основания Общества, я знаю лишь еще одну посвященную ему работу – ту, что пару лет назад написал на эту тему я сам. Я высказал в ней немало соображений, и притом в наиболее подходящей для этого предмета форме – в форме отчасти завуалированной. Первая работа тоже содержала несомненно гениальное противопоставление потребности в повторении, с одной стороны, и повторении потребности, с другой – лучшее свидетельство тому, что использование для разговора о небезынтересных вещах игры слов не является моей привилегией.

Мне представляется, что сводя перенос к явлениям вос-

производства и повторения, мы это явление неправомерно сужаем. Выдвигая исторический элемент, повторение пережитого, на первый план, мы рискуем упустить из виду не менее интересное, синхронное измерение – измерение того, что включено, прикровенным образом, в позицию аналитика и питает собой функцию частичного объекта в той области, где эта последняя задана.

Речь идет о том, что некогда, рассуждая о переносе, я описал, если помните, прибегнув к довольно ясной, по-моему, метафоре – метафоре протянутой к полену руки. Стоит руке дотронуться до полена, как оно вспыхивает и в пламени появляется другая рука – рука, которая тянется навстречу первой. Ту же самую функцию описал я, анализируя платоновский *Пир*, воспользовавшись заимствованным у Алкивиада термином *агалма*. На мой взгляд, недостаточное внимание, уделяемое синхроническому измерению функции частичного объекта в ситуации переноса в анализе, как раз и объясняет пренебрежение к области, которая, что меня нисколько не удивляет, остается совершенно в тени – области пост-аналитических, так сказать, последствий, где упорядоченно фигурирует определенное число нарушений сексуальной функции.

Функция анализа как пространства или поля частичных объектов как раз и является тем, перед лицом чего поставил нас Фрейд в статье об *Анализе завершенном и незавершенном*. Предположив, что предел, который Фрейд в своих наблюдениях не смог перейти, связан с неспособностью его разглядеть в функции частичного объекта то, что внутри синхронических отношений между аналитиком и пациентом должно быть проанализировано, мы убедимся, что это как раз и послужило причиной его неудач как с Дорой, так и с девушкой в случае женской гомосексуальности. Именно поэтому и видит Фрейд в тревоге, связанной с кастрацией, то, что он называет *крайним пределом психоанализа*. Все дело в том, что место частичного объекта так и осталось у его пациентов непроанализированным.

Фрейд уверяет нас, что и мужчину, и женщину анализ оставляет ни с чем – одного в области комплекса кастрации, другую – с ее *Penisneid*. Но это вовсе не абсолютный предел.

Это предел, на котором завершается анализ у Фрейда – завершается, следуя двум асимптотически сближающимся параллельным курсам. Именно поэтому и оказывается анализ у Фрейда не бесконечным (infinie), а *unendliche*, неопределенным (indéfinie), не достигающим своего предела (illimitée). Если и может речь идти о пределе, то лишь постольку, поскольку нечто оказалось в итоге не то чтобы не проанализировано – нет, открыто, но открыто частично, так что позволительно оказывается, по крайней мере, поставить вопрос о том, каким образом поддается данный случай анализу.

Не думайте, будто я говорю здесь о чем-то таком, что лежит целиком за пределами тех границ, с которыми мы с вами в нашем опыте сталкиваемся. Сошлюсь лишь на последние, знакомые вам по отечественной литературе работы – один аналитик в течение многих лет, пока создавалась написанная им книга, пытался выстроить анализ неврозов навязчивых состояний на зависти к пенису. Вспомните, сколько раз комментировал я критически эту работу и доказывал закономерность его неудач с помощью средств, которые были у нас тогда под рукой – теперь я сформулирую эту критику куда более строго.

Вчитываясь в записи его наблюдений, мы обнаруживаем, что вся область, в которой фаллическая функция должна быть, исходя из наших позиций, проинтерпретирована на уровне большого Другого, покрывается у него фантазмом фелляции, где фигурирует пенис самого аналитика. Чего может быть яснее. Проблема была увидена правильно, причем не случайно, и это имеет прямое отношение к тому, о чем мы будем сейчас говорить. Однако со стороны автора это всего лишь уловка, причем уловка, которая ничего не решает. Сфокусировав анализ на этом фантазме, мы проблему далеко не исчерпываем, ибо он совпадает, на самом деле, с симптоматическим фантазмом страдающего неврозом навязчивых состояний.

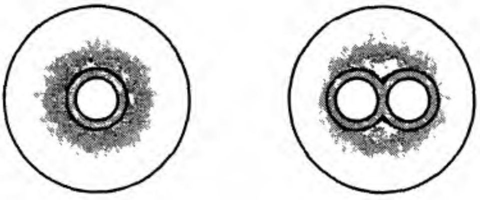
Поясняя о чем идет речь, я обращусь к самому показательному в нашей литературе примеру – к тому эпизоду в случае *человека-крысы*, когда однажды ночью тот, вызвав у себя перед зеркалом эрекцию, открыл входную дверь свое-

го жилища воображаемому призраку умершего отца, чтобы продемонстрировать ему состояние своего члена. Поставив задачу анализировать то, о чем идет речь, на уровне фантазма фелляции аналитика, который наш автор настойчиво связывает с так им называемой *техникой сближения*, где дистанция предстает как основополагающий фактор структуры невроза навязчивости в сопоставлении его с психозом – к чему мы приходим? Я полагаю, что подобный подход лишь подтолкнет субъекта к тому, чтобы занять в этих фантазматических отношениях позицию Другого, способ присутствия которого определяется смертью – Другого, сказал бы я, предвосхищая несколько свои выводы, который в фантазме является ее, этой фелляции, зрителем.

Это последнее замечание я адресую лишь тем, чья практика позволяет оценить его по достоинству.

3

Я закончу эту лекцию пояснением к двум рисункам, которые вы видите на доске.



Удвоение края

На первом изображена ваза с горлышком. Она смотрит на вас отверстием этого горлышка, так как для меня важно показать именно его край. Второй демонстрирует преобразование, которое можно над этим краем проделать.

Вы поймете теперь, почему в прошлом году я с такой настойчивостью занимался топологическими изысканиями, связанными с функцией идентификации на уровне желания, то есть с третьим типом идентификации, выделяемым Фрейдом в посвященной ей статье, – тем, что он рассматривает как типичный для истерии.

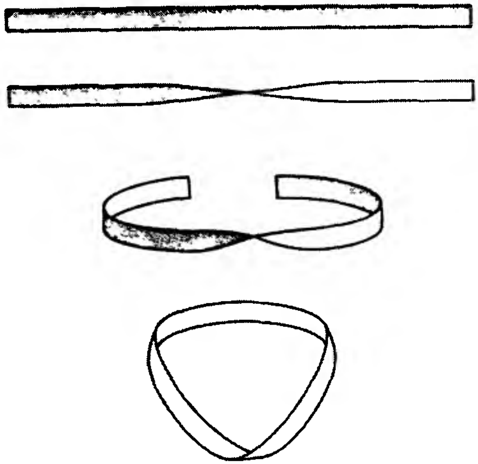
Вот чем обусловлены и на что направлены мои топологические построения.

Обращая ваше внимание на бутылку Кляйна, я делаю это, как уже говорил, лишь затем, чтобы вам интуитивно ясна стала разница между объектом *a*, с одной стороны, и обычным объектом, объектом, построенным на основе зеркального отражения, с другой.

Чем, говоря вкратце, отличается образ в зеркале от изобразившегося в нем предмета? Тем, что левое становится в нем правым, и наоборот. Привыкнем к мысли о том, что мы, как правило, не прогадаем, приняв даже самые афористичные мысли Фрейда всерьез. Собственное Я – это поверхность, даже не просто поверхность, а проекция поверхности. Это значит, что проблема должна ставиться в чисто топологических терминах поверхности как таковой. По отношению к тому, что он дублирует, зеркальный образ есть то же, что правая перчатка по отношению к левой – на поверхности этот результат легко получить, вывернув перчатку наизнанку.

Я далеко не вчера, как вы помните, завел речь о перчатках и шляпках. Именно вокруг этой модели строится сновидение Эллы Шарп, которое я вам некогда комментировал.

Опробуйте ее на том, что я рассказывал в свое время о ленте Мебиуса. Взяв этот пояс, развернув его, частью перекрутив на сто восемьдесят градусов и соединив затем вместе его концы, мы как раз эту ленту Мебиуса и получим.



Пояс / Лента Мебиуса

Ползущий по такой ленте муравей переходит с одной видимой стороны на другую, не пересекая края. Иными словами, лента Мебиуса представляет собой одностороннюю поверхность, а одностороннюю поверхность нельзя вывернуть наизнанку. Если вы вывернете ее, она останется какой была. Это и называется не иметь зеркального образа.

С другой стороны, я уже говорил вам, что отделяя часть бутылки Кляйна сечением, линия которого, пройдя через продырявленную точку поверхности, замыкается, мы тоже получаем не что иное, как ленту Мебиуса.

Бутылка Кляйна и ее преобразования

Рисунок 1

Изображенная здесь самопересекающаяся замкнутая поверхность эквивалентна с топологической точки зрения проекционной поверхности.

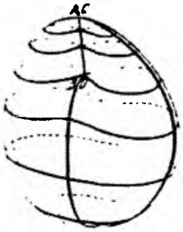


Рисунок 2

Поверхность, полученная путем отделения нижней части показанной выше фигуры, и есть *бутылка Кляйна.*

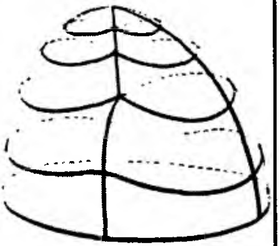


Рисунок 3

Разрезая бутылку Кляйна по линии ее самопересечения, получаем поверхность, которой можно придать форму круглого диска с круглой дырой в центре, чьи диаметрально противоположные точки попарно совмещены.

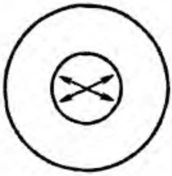
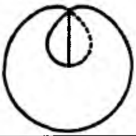


Рисунок 4

Эта остаточная поверхность может быть материализована в форме так называемой внутренней восьмерки.



Эта остаточная часть – вот она, перед вами. Я изготовил ее и пущу ее сейчас по рядам. Интересна она тем, что это, не побоюсь вам сказать, *a* и есть. Рассматривайте ее благоговейно, как облатку – она вам еще понадобится. Объект маленькое *a* именно так и устроен.

Именно так устроен он в ситуациях, когда имеет место разрез – это может быть отрезание пуповины, обрезание, и кое-что еще, о чем мы поговорим позже. Важно, что после того, как разрез сделан, остается нечто сходное с лентой Мебиуса, не имеющей зеркального отражения.

Вернемся теперь к нашей вазе и посмотрим, что у нас получится.

В первой фазе у вазы зеркальный образ имеется – это то идеальное Я, вокруг которого и выстраивается мир обычных, общих для всех объектов.

Прибавьте теперь *a* в форме бутылки Кляйна. Затем отделите от этой бутылки маленький объект *a*, который я только что пустил по рукам. Остается примыкающая к *i(a)* поверхность, которая, подобно ленте Мебиуса, замыкается сама на себя. С этого момента лентой Мебиуса становится вся ваза, поскольку прогуливающийся на ее поверхности муравей может проникнуть внутрь, не пересекая края.

Зеркальное изображение превращается в результате в жуткий и навязчивый образ двойника. Именно это происходило в конце жизни с Мопассаном, когда он переставал видеть себя в зеркале, или когда он обнаруживал в комнате обернувшееся к нему спиной нечто, призрак, в котором он угадывал связь с самим собой и который, обернувшись, действительно оказывался им самим.

Вот что происходит, когда *a* вторгается в мир реального. Впрочем, вторжение это есть не что иное, как возвращение.

Предположение, будто нечто подобное этим топологическим фигурам встречается в действительности, может вам показаться странным. Попробуйте, однако, проделать вот что. Устранитесь из поля зрения, закройте на минуту глаза и следуйте на ощупь вдоль края горлышка этой преобразованной нами вазы. Ваза как ваза, скажете вы, и горлышко в ней только одно, так как только один край. Но откройте

глаза, и вам тут же покажется, что их два, как и показано у меня на рисунке вазы с преобразованной горловиной.

Те из вас, кто поначитаннее, знают, наверное, что подобная путаница между одним и двумя нередко имеет место при появлении в сновидении, и не только в сновидении, полового органа. Там, где реального фаллоса явно налицо нет, он как раз и появляется, как правило, в форме двух фаллосов.

На сегодня довольно.

9 января 1963 года

VIII
ПРИЧИНА ЖЕЛАНИЯ

Объект по ту сторону желания
Садистская идентификация с объектом-фетишем
Мазохистская идентификация с обычным объектом
Реальная любовь, присутствующая в переносе
Падение в случае женской гомосексуальности

Сегодня мне хотелось бы успеть кое-что рассказать вам о том, что мы зовем с вами объектом *a* – том самом, к которому относится сказанное мной давеча о тревоге: она не лишена объекта.

В этом году объект *a* оказался у нас в центре внимания. В тематику семинара, посвященного тревоге, он отлично вписывается, так как только со стороны тревоги и можно к нему подойти – других субъективных проявлений у него нет.

На самом деле, *a*, о котором здесь идет речь, появилось в моих лекциях уже давно. Ведь это оно фигурирует в моей формуле фантазма как опоры желания: ($\$\lozenge a$), $\$$ желание *a*.

1

Начну с уточнения, которое не кажется мне сегодня излишним, хотя постоянные мои слушатели могли бы сделать его и самостоятельно.

Уточнение касается иллюзии, возникающей при том субъективистском взгляде на вещи, который в выстраивании нашего опыта придает структуре субъекта решающее значение.

Точка зрения эта, которая благодаря школе Гуссерля, выделившей интенциональность как особую функцию, получила в современной философии высшую степень развития, вводит нас в заблуждение относительно того, что следует именовать объектом желания. Ведь ее сторонники утверждают, что нет *ноэзы*, нет мысли, которая не была бы направлена на определенный предмет. И это, похоже, единствен-

ный путь, позволяющий идеализму вновь обрести путь к реальному. Но правомерно ли мыслить объект желания таким образом? Так ли в отношении желания обстоит дело?

Обращаясь к уровню понимания, который разделяют все и на котором без интуиции не обойтись, я сразу задам вопрос – а действительно ли объект желания ожидает нас *впереди*? В этом как раз пресловутая иллюзия и состоит. Именно она стерилизовала все попытки анализа приблизиться к пониманию объектного отношения, и я неоднократно делал попытки этот мираж рассеять. Сейчас я вновь, иными средствами, принимаюсь за то же самое.

Я не смогу уделить этой задаче так много внимания, как хотелось бы, надеясь сделать это в работе, с которой вы познакомитесь вне этой аудитории. Для большинства из вас достаточно будет, я полагаю, общих формулировок, которыми и удовольствуюсь я сегодня, обращая ваше внимание на то новое, что в этой лекции только что прозвучало.

Вам прекрасно известно, с каким трудом вырабатывала эпистемология понятие причины. Лишь будучи неоднократно редуцировано и сведено в конце концов к сомнительной и двусмысленной по своему характеру функции, смогло оно найти свое место в развитии современной физики.

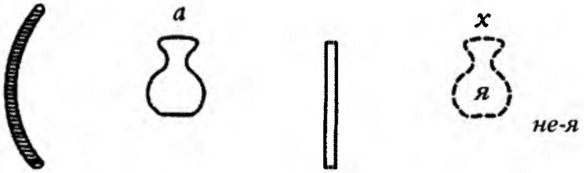
Совершенно ясно, с другой стороны, что как бы ни пытались мы его редуцировать, ментальная, так сказать, его функция не может быть исключена вовсе или сведена к своего рода метафизической тени. В объяснении его мало сослаться на интуицию. И я решительно утверждаю, что лишь рассмотрев его в свете аналитического опыта заново, сможем мы выстроить критику чистого разума, соответствующую сегодняшнему дню нашей науки.

Во избежание дальнейших недоразумений, сразу скажу, что по аналогии с интенциональностью ноэзы объект *а* ни в коем случае себе представлять нельзя. В направленности желания, которую с гуссерлевской интенциональностью путать не следует, объект этот выступает как его, желания, причина. Прибегая к только что мною использованной метафоре, можно сказать, что объект располагается у объекта желания *позади*.

Именно этот объект *а* дает начало измерению, которое в теории субъекта оказалось проигнорировано, чем и объясняется ущербность координации, в центре которой располагается гносеология, теория знания. Функция объекта требует для своего описания новой структурной топологии, которая в формулировках Фрейда, в особенности тех, что касаются влечения, легко прослеживается.

Если вы хотите убедиться в этом на конкретном тексте, обратитесь к тридцать второй лекции *Введения в психоанализ*, которую я в прошлый раз вам цитировал. Проводимое там Фрейдом различие между *Ziel*, целью влечения, с одной стороны, и ее предметом, *Objekt*, с другой, расходится с обыденным представлением, согласно которому цель и объект совпадают. Фрейд использует очень неожиданные термины, и прежде всего *eingeschoben* – объект невидимо проходит, проскальзывает. Глагол этот однокоренной существительному *Verschiebung*, смещение. Объект, подчеркивает тем самым Фрейд, представляет собой нечто такое, что от нашего восприятия укрывается, ускользает.

С другой стороны, на этом уровне налицо у него явное противопоставление двух терминов – *ausseres*, внешнее, и *inneres*, внутреннее. Он уточняет, что хотя объект располагается *ausseres*, вовне, стремление окончательно удовлетворяется лишь постольку, поскольку оно встречает на своем пути что-то такое, что располагается в *inneres*, внутри тела. Именно там получает оно удовлетворение, *Befriedigung*.



я и не-я

Топологическая функция, с которой я вас в прошлый раз познакомил, позволяет ясно сформулировать то, что необходимо для разрешения этой задачи ввести. Ввести нужно понятие внешнего, которое предшествовало бы определенной интериоризации – интериоризации, возникаю-

щей в тот момент, когда субъект, располагающийся в месте Другого, постигает себя в той зеркальной форме, *x*, которая впервые позволяет ему отличить собственное я от не-я. На нашем рисунке это внешнее располагается в *a*.

Этому месту объекта, этой располагающейся по ту сторону всякой интериоризации внешней области, и соответствует понятие причины. Метафизикой я сегодня заниматься не стану и поясню свою мысль на простейшем, доступном для всех примере. В качестве иллюстрации я воспользуюсь фетишем – и не случайно, так как именно в фетише измерение объекта как причины желания раскрывается в полной мере.

Что представляет собой желанное? Ведь фетиш находит воплощение не в туфельке, груди, или в чем-нибудь им подобном. Фетиш причиняет желание. Само желание цепляется за что попало. Туфельку вовсе не обязательно должна была носить ОНА, туфелька эта может просто обнаружиться по соседству. Неважно даже бывает, есть ли у нее грудь: грудь может находиться и в голове. Мы знаем лишь, что для фетишиста наличие фетиша обязательно. Фетиш является условием сохранения его желания.

Укажу мимоходом на термин, который в немецком, насколько мне известно, не очень распространен и который в приблизительных французских переводах пропадает бесследно. Я имею в виду *Libidohaushalt* – слово, которое употребляет Фрейд в связи с тревогой. По значению своему оно занимает место где-то между *Aushaltung*, относящемуся к чему-то такому, что может быть прервано или снято, и *Inhalt*, указывающим на содержимое. Но это, на самом деле, ни то, ни другое. Это поддержание либидо. Иными словами, то отношение с объектом, о котором у меня сейчас идет речь, позволяет осуществить синтез между функцией сигнала, которую выполняет тревога, с одной стороны, и ее причастностью чему-то такому, что можно назвать прерыванием в поддержке либидо, с другой.

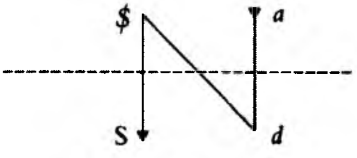
Теперь, когда пример с фетишем помог вам ощутить как огромную дистанцию между двумя перспективами, в которых объект в качестве объекта желания может предстать, так и причины, побудившие меня поместить объект *a* в

предваряющую желание фазу, пришло время дать вам понять, к чему наши исследования нас ведут.

2

Там, где вы субъект по привычке ищете, там, где черты его, стоит Фрейду указать, скажем, на источник стремления, начинают проступать сами, там, откуда вы говорите, ведя речь от первого лица – там, короче, где вы произносите слово *я*, и располагается, собственно говоря, на уровне бессознательного, объект *a*.

На этом уровне вы этот объект *a* и есть – вот что для нас, как вы сами знаете, действительно нестерпимо, причем не только в речи, которая нас в таких случаях выдает. Я сразу проиллюстрирую это замечанием, которое выбьет вас из колеи привычных представлений о садистской и мазохистской функциях как о проявлении имманентной агрессии и ее изнанке. Вникнув в их субъективную структуру, вы сразу обнаружите черты различия, главную из которых я вам сейчас продемонстрирую на доске.



Садистское желание

Вот схема, на которой различия наглядно представлены в виде графа, имеющего всего четыре вершины. Правая сторона отведена Другому, левая – субъекту *S*, субъекту *я*, которое еще не успело сложиться. Это субъект, который нам предстоит в психоаналитическом опыте пересмотреть и который не совпадает, как нам известно, с субъектом, описываемым традиционной формулой, то есть с субъектом, чье содержание исчерпывается отношениями, в которые он вступает с объектами.

Садистское желание, со всей свойственной ему загадочностью, нацелено прежде всего на то, чтобы вызвать у другого расщепление, диссоциацию, навязывая ему, в определенных пределах, то, что тот не в состоянии вынести, то есть

доводя невыносимое ровно до той точки, где возникает разрыв, зияние между его существованием в качестве субъекта, с одной стороны, и тем, что он претерпевает и может вытерпеть, и от чего он, возможно, страдает в теле, с другой.

Садист ищет, как таковой, не столько страдания другого, сколько его тревоги. Это как раз и нашло отражение в моей формуле $\$_0$. в формулах второй лекции этого года, которые я вас учил, помнится, читать правильно, кружок означает не букву *о*, а именно ноль.

Тревога другого, его существование в качестве субъекта перед лицом этой тревоги – вот что дает в садистском желании о себе знать. Именно поэтому и решился я в одном из моих Семинаров продемонстрировать, что по структуре своей оно вполне подобно тому, что выступает у Канта условием применения чистого практического разума, то есть применения той самой нравственной воли, которая выступает у него как единственное, в чем проявляется связь человека с чисто нравственным благом. Я извиняюсь за краткость этого напоминания. Тем, кто присутствовал на том семинаре, это знакомо. Остальные скоро прочтут это изложенным несколько по иному в моем предисловии к *Философии будуара* – тексте, на котором я это уподобление, собственно, и построил.

Новая черта, о которой я хочу вам сказать, характерна именно для желания, которое испытывает садист. Выполняя свой акт, совершая свой ритуал – ибо мы имеем здесь дело с человеческим действием особого рода, которое строится по законам ритуала – субъект, движимый садистским желанием, не знает, чего он ищет. А ищет он возможности явиться – не ясно, кому, так как для него самого откровение это останется, так или иначе, невнятным – в облике чистого объекта, черного фетиша. Именно к этому сводится, в конечном счете, любое проявление садистского желания, когда тот, кто испытывает это желание, делает шаг к его осуществлению.

Вспомните Сада – не случайно то, что осталось от него после осуществленного работой воображения нескольких поколений пресуществления, приняло облик, который придал ему, создавая его воображаемый портрет, Ман Рей:

облик человека, застывшего в камне.

Совершенно иной является позиция мазохиста, который открыто объявляет превращение в объект своей целью – будь то в сидящую под столом собаку, или в товар, который вместе с другими предметами можно продать на рынке. Что он хочет, иными словами, это отождествиться с обычным предметом, предметом обмена. Он не способен увидеть себя тем, кто он есть, тогда как в действительности он, как и все прочие, представляет собою *a*.

Почему он в этом признании, в любом случае невозможном, так заинтересован, его анализ как раз и может нам подсказать. Но мы не сможем понять конкретных условий, в которых его желание складывалось, пока не установим здесь тех структурных совпадений, которые сделали его возможным.

Я не утверждаю, обратите внимание, будто идентификация с объектом мазохисту действительно удается. Как и у садиста, идентификация эта всего лишь разыгрывается на своего рода сцене. Но и на этой сцене садист не видит себя, он видит лишь все остальное. Есть нечто, чего не видит и мазохист, и мы еще с вами об этом в дальнейшем поговорим.

Это позволяет мне предложить несколько формул, первая из которых заключается в том, что признание себя в качестве объекта желания, в том смысле, в котором я его понимаю, всегда является мазохистской чертой.

Достоинство этой формулы в том, что она обнаруживает заключающуюся здесь трудность. Удобно, конечно, воспользоваться своего рода марионеткой и сказать, например, что если налицо мазохизм, значит у субъекта злое сверх-я. Нам хорошо известны, разумеется, все разновидности, которые в мазохизме принято выделять – мазохизм эрогенный, мазохизм женский, мазохизм нравственный. Но сама классификация эта звучит так, как если бы мы сказали – есть вот этот стакан, есть христианская вера, а есть падение акций на Уолл-стрит. Она нам ровным счетом ничего не дает. Чтобы говорить о мазохизме осмысленно, нужно найти для него какую-то более унифицированную формулу. Назвав причиной мазохизма сверх-я, мы не погрешим против этого интуитивного предположения – учитывая, конечно, все то, что мы с вами сегодня относительно причины выясни-

ли. Лучше будет сказать, поэтому, что сверх-я причастно функционированию объекта в качестве причины, если понимать причину так, как предложил ее понимать я. Можно было бы даже ввести сверх-я в ряд тех объектов, о которых нам с вами предстоит говорить.

Их можно перечислить. Но сделай я это с самого начала, вы бы, чего доброго, потеряли голову и вообразили себе, будто ряд этот содержит вещи, с которыми вы давно научились в анализе обращаться. А между тем, это не так. Допустим, вы полагаете, что функции материнской груди или экскремента вам хорошо известны, но относительно фаллоса, согласитесь, у вас никакой ясности нет. А когда речь у меня пойдет о следующем объекте – я назову его, чтобы дать пищу вашему любопытству, сразу: это глаз как таковой – вы и вовсе растеряетесь. Вот почему подходить к этим объектам следует с осторожностью: ведь если без объекта этого не бывает тревоги, значит, он представляет опасность. Будем же осторожны, ибо объекта этого нам не хватает.

В данном случае осторожность эта послужит мне поводом объяснить вам, что я имел в виду, сказав, два занятия назад – один из моих слушателей обратил на это внимание – что желание и закон представляют собою одно и то же.

Желание и закон – это одно и то же в том смысле, что у них общий объект. Недостаточно, поэтому, отделаться утверждением, что соотносятся друг с другом как две стороны одной и той же стены, или как лицо и изнанка. Это значило бы обойти настоящую трудность. Вся ценность мифа, ставшего для анализа отправной точкой, и состоит как раз в том, что он позволяет это почувствовать.

Вся суть эдипова мифа в том, что изначально желание как желание отца и закон представляют собою одно и то же. Связь закона с желанием настолько тесна, что только функция закона дорогу желанию и прокладывает. Желание как желание к матери функции закона вполне идентично. Именно запрещая это желание, закон его как раз и навязывает – ведь сама по себе мать, согласитесь, объект далеко не самый желанный. Если все организуется вокруг желания матери, если в качестве жены сын должен предпочесть ей

другую женщину, не значит ли это, что в саму структуру желания оказывается внедрена заповедь? Иными словами, желаем мы по заповеди, по команде. Смысл эдипова мифа в том, что желание отца и полагает закон.

Какое место в этой перспективе принадлежит мазохизму? Совпадение желание и закона является для мазохиста единственной наградой. Соединяя – на своего рода сцене: об этом обстоятельстве забывать никогда не следует – желание и закон, мазохист демонстрирует, как ему кажется, что закон – это желание Другого.

Одно из последствий этого для нас очевидно. Мазохист оказывается в положении, так сказать, отброса. Это не что иное, как наш объект *а*, предстающий здесь в образе, отброса, хлама, того, чему среди обычных объектов не найти места.

Это лишь один из обликов, в которых может предстать в перверсиях *а*. То, каким находим мы его на уровне мазохизма, функцию *а*, составить понятие о которой можно лишь описав вокруг нее круг, ни в коем случае не исчерпывает.

Главным следствием идентичности желания отца закону является комплекс кастрации. Закон родится из загадочного превращения или мутации желания отца после его убийства, и последствием этого превращения является, как в истории аналитической мысли, так и во всем, что с ней так или иначе наверняка связано, комплекс кастрации. Вот почему там, где не хватает *а*, на схемах моих появляется значок (-ϕ).

Итак, пункт первый: я ввел понятие объекта как причины желания. Пункт второй: я объяснил вам, что признание себя объектом «его» желания является мазохистской чертой; я указал в связи с этим на то, что заявляет о себе при определенном вмешательстве сверх-я; я подчеркнул, наконец, особый характер того, что появляется на месте *а* в форме (-ϕ).

Мы переходим, таким образом, к третьему пункту, где речь пойдет о структурных возможностях проявления объекта *а* как нехватки. Именно для того, чтобы дать вам о них представление, и прибегаю я с некоторых пор к знакомой вам зеркальной схеме.

Что представляет собой объект *а* на уровне того, что су-

ществует в качестве тела, не открывая нам до конца, так сказать, свою волю? Объект *a* и есть в данном случае та каменная стена, о которой говорил Фрейд, тот последний, ни к чему далее не отсылающий резерв либидо, чьи пунктирные контуры с таким волнением обнаруживаем мы в его текстах каждый раз, когда он на них наталкивается. Я не могу завершить сегодняшнюю лекцию, не указав вам то направление, в котором нужно идти, чтобы дать этим догадкам Фрейда новую почву.

Какое место оно, это маленькое *a*, занимает? На каком уровне становится оно, по возможности, узнаваемо? Я вам сказал уже, что признание себя объектом его желания характерно для мазохиста. Но мазохист проделывает это только на сцене, и вы увидите в дальнейшем, что происходит, когда он на сцене этой не может более оставаться. На сцене мы пребываем отнюдь не всегда, хотя пределы ее простираются далеко, захватывая и область наших снов. Когда мы не находимся больше на сцене, когда, оставаясь по эту сторону от нее, мы пытаемся прочесть в Другом, что именно происходит с нами, там, в *x*, мы обнаруживаем лишь нехватку.

Характерной чертой объекта является нехватка его как раз там, в том месте Другого, где субъект складывается, то есть предельно далеко, по ту сторону всего того, что может обнаружиться в процессе возвращения вытесненного. Именно в *Urverdrängung*, в ни к чему далее не сводимом инкогнито – непознаваемым мы не можем его назвать, поскольку как-никак о нем говорим – и выстраивается как раз, и пребывает то самое, что назвал я в своем анализе переноса термином *агалма*.

Лишь тогда, когда внимание наше направлено на это пустое место как таковое, открывается нам измерение, которое в анализе переноса как правило – и не случайно – оказывается незамеченным. Это место, границы которого очерчены чем-то таким, что, материализуясь, предстает как кромка, отверстие, зияние, как возникающий в зеркальном образе и знаменующий собой его границу провал, как раз и представляет собой привилегированное место тревоги.

С этим феноменом кромки вы сталкиваетесь порой, к примеру, оказавшись перед зрелищем открытого окна, об-

рамляющего тот иллюзорный мир признания, который я называю сценой. Эта кромка, рама, зияние, проиллюстрирована в моей схеме по меньшей мере дважды – в кромке зеркала, а также в маленьком значке ◊. Того, что это и есть место тревоги, вы не должны никогда забывать – значок сигнализирует для вас о том, что находится в центре формулы, где он фигурирует.

Текст Фрейда о Доре, к которому я вас попрошу обратиться, читаешь каждый раз с возрастающим изумлением, ибо это текст с двойным дном. Новичкам непременно бросаются в глаза его недочеты и слабости, но глубина, которая за этими камнями преткновения открывается, ясно показывает, что автор кружит вокруг того, что пытаемся очертить мы сами.

Тем, кто прослушал мой семинар о платоновском *Пире*, текст о Доре – с которым вам в любом случае следует прежде всего познакомиться – напоминает об измерении, о котором, говоря о переносе, чаще всего забывают. О том, иными словами, что перенос не сводится к воспроизведению и повторению определенной ситуации, действия, поведения, травматического опыта прошлого. В нем есть и другая координата, которую я, в связи с аналитическим вмешательством Сократа, как раз и подчеркивал – это, в разбираемых мною случаях, не что иное, как любовь, которая налицо в настоящем. Мы ничего не поймем в переносе, пока не усвоим себе, что он является, в частности, следствием этой любви, любви в настоящем, и аналитики должны в ходе анализа об этом помнить. Любовь эта заявляет о себе различными способами, но пусть они вспоминают о ней хотя бы тогда, когда она зримо присутствует. Именно в связи с этой реальной, скажем так, любовью и возникает центральный для переноса вопрос – тот, которым задается субъект относительно *агалмы*, того, чего ему не хватает, ибо именно ей, нехваткой этой, он любит.

Не случайно я давно внушаю вам, что любить – значит дарить то, чего не имеешь. Это и есть краеугольный камень комплекса кастрации. Чтобы иметь фаллос, чтобы быть в состоянии им воспользоваться, важно как раз не быть им.

В условиях, когда обнаруживается, что субъект есть фал-

лос – а субъект не только имеет его, но он и есть: для мужчины это несомненно, да и женщина, при определенном стечении обстоятельств, я позже скажу, каких, вынуждена бывает им быть – опасность налицо.

3

Довольно будет, если я, под занавес моей лекции, попрошу вас внимательно перечитать текст Фрейда, посвященный его отношениям с гомосексуальной пациенткой.

В ходе ее анализа выяснилось, напоминаю вам, что гомосексуальная ориентация девушки обнаружилась в связи с непонятным чувством разочарования, возникшим у нее по поводу рождения в ее семье младшего брата. Ориентация эта заявила о себе в форме демонстративной любви к женщине сомнительной репутации, по отношению к которой пациентка вела себя, утверждает Фрейд, совершенно по-мужски.

Привыкнув рассуждать, ничего толком не зная, мы не замечаем уже, что Фрейд обращает здесь наше внимание на те самые черты, которые я попытался выявить некогда в куртуазной любви. И делает он это штрихами поразительно точными, умело пользуясь существующими здесь аналогиями. Пациентка ведет себя как рыцарь, готовый все вынести ради своей Дамы, довольствуется с ее стороны самыми незначительными, ничтожными милостями и явно предпочитает ими и обходиться. Чем меньше поклонник рассчитывает от объекта любви на то, что можно было бы рассматривать в качестве вознаграждения, тем большее достоинство объект этот в его глазах обретает.

Когда же до него доносятся слухи, что поведение его возлюбленной не слишком-то благовидно, любовная экзальтация только усиливается в нем дополнительным желанием ее спасти. Все это у Фрейда замечательно акцентировано.

Вы помните, конечно, как эта девушка попала к Фрейду на консультацию. Роман этот разыгрывался на виду у всего города, и вызывающее поведение девушки немедленно подсказало Фрейду, что речь идет о провокации, обращенной к одному из членов ее семьи. Очень скоро выяснилось, что это не кто иной, как ее отец. Конец связи положила состоявшаяся между ними встреча. Девушка в сопровождении

своей возлюбленной неожиданно встречает отца, направляющегося на службу. Отец кидает на нее раздраженный взгляд. Дальнейшая сцена разворачивается очень быстро. Возлюбленная девушки, для которой вся эта авантюра является всего-навсего сомнительным и уже приевшимся развлечением, не желает осложнять себе жизнь и заявляет той, что с нее довольно, что на этом их отношения должны закончиться, что та не должна ее вечно преследовать и слать ей ежедневно горы цветов. В ответ девушка немедленно бросается с моста.

В свое время, пытаясь разобраться в случае маленького Ганса, я изучал карты Вены довольно внимательно, но где именно это могло произойти, сказать, тем не менее, не берусь. Речь идет, скорее всего, о месте, похожем на маленький ров возле бульвара Перейре, по дну которого проложены заброшенные ныне трамвайные пути. В таком месте девушка, скорее всего, и падает, *niederkommt*.

Ассоциация с родами смысла этого немецкого слова далеко не исчерпывает. *Niederkommen*, падение, типично для любой ситуации, когда субъект внезапно встречается с тем, что он представляет собой в качестве *а*. Не случайно меланхолики склонны бывают бросаться из окон, причем проделывают это с ошеломляющей быстротой и внезапностью. Само окно, напоминая границу между сценой и миром, подсказывает нам значение такого поступка: субъект как бы возвращается в то состояние, в котором он себя ощущает – состояние принципиальной изъятости своей из мира. Прыжок знаменует собой мгновение, когда в абсолюте, который субъект несет в себе и о котором только мы, аналитики, можем составить себе какое-то представление, совершается, наконец, соединение желания и закона. Именно это и происходит в момент, когда наш лесбийский рыцарь женского пола и его каренинский, если можно так выразиться, объект, сталкиваются с отцом.

Одним раздраженным взглядом отца такого отыгрывания не объяснить. Здесь налицо нечто такое, что затрагивает саму основу их отношений, ее структуру как таковую. О чем идет речь? Я поясню это очень кратко, надеясь, что вы вполне готовы меня понять.

Дочь, чье разочарование в отце в связи с рождением младшего брата стало в жизни поворотным пунктом, постаралась сделать с кастрацией, присущей ей как женщине, то, что делает со своими мужскими прерогативами рыцарь, принося их в жертву обожаемой Даме. Жертва эта делает ее, задним числом, носителем того, чего в поле Другого не достает: именно она теперь верховный гарант того, что закон действительно желание отца и есть, что отец – и это выше всяких сомнений – пребывает в ореоле славы абсолютного фаллоса, Ф.

Отношение дочери к отцу обусловлены здесь в первую очередь ее обидой и жаждой мести. Ее обида и ее месть и суть как раз в данном случае этот закон, этот верховный фаллос. Большое Ф – вот место, которое она, судя по всему, занимает. Поскольку в моих чувствах к тебе я оказалась обманута и стать твоей женой и твоим объектом мне не дано – что ж, думает девушка, пусть Она станет тогда моей Дамой, а я сама, я стану тогда тем, кто выстраивает и поддерживает идеализированные отношения с тем, что от меня самой оказалось отторгнуто, чего мне, в качестве женщины, не хватает. Не забудем, что девушка действительно перестала культивировать в себе нарциссизм, перестала заботиться о своей внешности и красоте и отбросила всякое кокетство – все ради того, чтобы всецело посвятить себя служению своей Даме.

Вот суть той сцены, свидетелем которой становится отец во время краткой встречи их на мосту. Однако осуждение, которое дало о себе знать в его взгляде, ее, эту сцену, для которой одобрение со стороны субъекта значило все, полностью обесценило. Поэтому и возникло немедленно то, что в моей первой таблице, таблице координат тревоги, названо замешательством.

Затем последовала эмоциональная реакция. Обратитесь снова к этой таблице, и координаты ее вам станут ясны. Причина эмоционального взрыва в том, что перед сценой, которую ей устраивает подруга, девушка неожиданно оказывается безоружна.

Хочу сказать здесь несколько слов для того, кто попросил меня заранее объяснить, в чем вижу я разницу между

acting out, с одной стороны, и отыгрыванием, с другой. К этой теме мы впоследствии еще вернемся, но уже сейчас можно сказать, что оба условия, существенные для того, что я называю отыгрыванием, в данном случае оказываются выполненными.

Первое из них – это полная идентификация субъекта с тем *a*, к которому он себя сводит. Это как раз и происходит с девушкой в момент встречи. Второе – это столкновение между желанием и законом. В данном случае, желание отца, на котором строится все поведение девушки, сталкивается с законом, который читает она в его взгляде. Именно этот взгляд идентифицирует девушку, в ее глазах, с *a* и выбрасывает, скидывает ее за пределы сцены. А реализовать, отыграть это, может она только в *падении*.

У меня не хватает сегодня времени, чтобы объяснить, какие выводы можно отсюда сделать. Замечу лишь, что известное замечание Фрейда относительно скорби, где явление, которое выглядит со стороны скорбящего субъекта как месть, объясняется самоидентификацией субъекта с предметом скорби, сути дела далеко не исчерпывает. Мы скорбим и окружающее, соответственно, обесценивается для нас постольку, поскольку предмет нашей скорби служил, неведомо для нас самих, носителем нашей кастрации. Когда эта последняя вновь вступает в свои права, мы видим себя такими, каковы мы в действительности: кастрация вновь становится нашим уделом.

Вы чувствуете, что мне, по недостатку времени, приходится быть почти голословным. Но в пользу того, что я прав, свидетельствуют, по меньшей мере, две вещи.

Это, прежде всего, возникающее у Фрейда ощущение, что какие бы впечатляющие успехи его пациентка в анализе ни делала, все они ей как с гуся вода. Место *a* в зеркале Другого Фрейд сумел определить очень точно – все необходимые координаты у него налицо. Он не располагает, конечно, моим топологическим инструментарием, но яснее, чем он, выразиться невозможно. Препятствие, с которым я сталкиваюсь, в которое я упираюсь, говорит он, напоминает то, что происходит в гипнозе. А что происходит в гипнозе? Субъект способен прочесть в зеркале Другого все, что

лежит на уровне нарисованной у меня пунктирной линией вазы – все, иными словами, что может иметь зеркальное отражение. Не случайно инструментами гипноза как раз и служат, как правило, зеркало, пробка графина, или просто взгляд гипнотизера. Единственное, что пациент в гипнозе не видит, это как раз пресловутая пробка, или взгляд самого гипнотизера, и есть. Причина гипноза остается, таким образом, для него невидимой и в результатах его не дает никак себя знать.

Другим важным аргументом в мою пользу является сомнение, характерное для невроза навязчивости. На что направлено оно, это радикальное сомнение, в силу которого анализы подобных больных идут, по обыкновению, долго и гладко? Анализ такого невротика – это для аналитика и пациента настоящий медовый месяц. Ибо в фокусе его оказывается то, что Фрейд как раз и характеризует как типичную для подобного больного позицию: да, думает тот о своем аналитике, это, конечно, прекрасный человек, и говорит он страшно интересный вещи – беда лишь в том, что я ему ни на грош не верю. Центральное место занимает это сомнение не случайно – ведь на схеме моей оно здесь, в *x*.

Что касается случая с гомосексуальной пациенткой, то в нем на место *a* выдвигается, в каком-то смысле, фаллос. Это обстоятельство как раз и бросает в данном случае свет на исход лечения.

Мне совестно было бы толковать этот текст – он говорит сам за себя настолько ясно, что добавить мне к нему нечего. Я попросил бы, по меньшей мере, не пропустить мимо ушей как привычную ныне банальность то, чем этот человек, стоявший тогда на пороге открытия, завершает свой текст, и обратить внимание на различие, которое проводит он между обусловливающими гомосексуальность, независимо от ее характера, факторами: конституциональными, с одной стороны, и историческими, с другой. Изолируя *Objektwahl*, выбор объекта, как таковой, и демонстрируя действующие в нем своеобразные механизмы, он выделяет объект в качестве привилегированной области психоаналитического исследования. Так или иначе, все оказывается завязано на отношение субъекта к *a*.

В парадоксальности своей анализ этот вплотную приближается к рубежу, где Фрейд, как я в прошлый раз уже говорил, столкнулся с вопросом, который вынужден оказался завещать нам: как работать на уровне комплекса кастрации? Парадоксальность его заключается в факте, который, будучи в записях наблюдений зарегистрирован, не вызывает, к моему изумлению, у знакомых с ним аналитиков ни малейшего изумления: заканчивается анализ тем, что Фрейд пациентку *бросает*.

Теперь, имея в нашем распоряжении случай Доры, к которому я в дальнейшем еще вернусь, мы можем в происшедшем разобраться гораздо лучше. Об оплошности аналитика не может в этом последнем случае быть и речи – можно смело сказать, что если анализ Доры и не был доведен до конца, Фрейду было все до конца понятно. Но в случае с гомосексуальной девушкой – случае, где функция *а* выступала настолько выпукло, что оказалась разыграна в реальном: отыгрывание, символическое значение которого Фрейд прекрасно понимал – он капитулирует. У меня ничего не выйдет, говорит он, и передает случай коллеге женского пола. Берет на себя инициативу и *бросает* пациентку он сам.

Я покидаю вас, предоставляя поразмышлять на досуге на эту тему.

Я стараюсь, как видите, наметить то, что в манипулировании переносом должно служить аналитику главным ориентиром.

16 января 1963 года.

IX
ОТЫГРЫВАНИЕ И *ACTING OUT* ДАТЬ ВЫРОНИТЬ СЕБЯ И ВЗОЙТИ НА СЦЕНУ

Эгоизация
Родовой вырез
Наслаждение симптомом
Уловки бессознательного
Страсть Фрейда.

Мы продолжим сегодня говорить о том, что я обозначил в свое время маленькой буквой *a*.

Начну с того, что напомню о связи, существующей между маленьким *a*, с одной стороны, и субъектом, с другой. Это позволит нам придерживаться выбранного направления, и не даст вам повода, увлекшись моими экскурсами, с него сбиться. Но главное, на что мы сегодня обратим внимание, это связь маленького *a* с А большим.

Именно от большого А заимствует *a* свою изолированность и именно в отношениях с большим Другим складывается оно как остаток. Вот почему я воспроизвожу здесь соответствующую механизму деления схему.

A	S
$\not{S}$	$\not{A}$
a	0

Вторая схема деления

Вверху справа вы видите субъект, который, согласно нашей диалектике, берет начало в функции означающего. Это и есть тот гипотетический субъект, из которого диалектика эта исходит. Что касается загражденного, похеренного субъекта, единственного, который в нашем психоаналитическом опыте нам доступен, то он возникает в месте Другого как метка означающего. И наоборот, само существование большого Другого обеспечивается гарантией, которой не достает – отсюда и перечеркнутый, загражденный, Другой во второй строке справа.

Но в результате этой операции возникает остаток – он-то и есть *a*.

1

В прошлый раз, исходя из случая женской гомосексуальности – пример не единственный, так как он служит фоном случая Доры – я выделил одну характерную для структуры отношений между субъектом, с одной стороны, и *a*, с другой, черту.

Эту черту, эту основополагающую для такого рода отношений возможность, которую можно считать всеобщей, поскольку на всех уровнях, где дело касается *a*, она о себе заявляет – и это типично для нее, ибо именно с функцией остатка она так или иначе ассоциируется – я назвал словом, заимствованным из описанного Фрейдом случая с гомосексуальной пациенткой, где он употребляется в связи с отыгрыванием: это слово *niederkommen lassen*, ***позволить упасть, бросить, выронить.***

Под занавес прошлой лекции я обратил, если помните, ваше внимание на тот странный факт, что именно эти слова лучше всего описывают реакцию самого Фрейда на трудности, с которыми он в данном случае встретился: он *бросает* свою пациентку, как бы *роняет* ее. В поведении Фрейда, во всей его практике, во всем том, что нам от него о его деятельности известно, это случай единственный. При этом в тексте его выражение это настолько заметно – можно сказать, провокационно – что это как раз и сделало его при чтении для многих невидимым.

Это *niederkommen* является у Фрейда коррелятом отыгрывания. Обратите внимание и на то, с какой стороны он, говоря так, на собственный поступок смотрит. Он смотрит на него со стороны субъекта. Поглядите на формулу фантазма: отыгрывание фигурирует там со стороны субъекта, целиком скрытого заграждающей его чертой. Отыгрывание происходит в момент максимального замешательства – момент, когда поведение его осложняется, вдобавок, эмоцией, когда он теряет над своими движениями контроль. Именно в этот момент и падает он, бросается вниз, роняет себя, с той единственной сцены, где он, будучи со своей историей неразрывно связан, может в качестве субъекта по-прежнему фигурировать.

Это и есть структура отыгрывания.

Гомосексуальная пациентка Фрейда перепрыгивает через невысокий барьер, отделяющий ее ото рва, по дну которого проложены трамвайные пути. Дора тоже совершает отыгрывание в момент замешательства, когда попадает в ловушку неосторожной фразы господина К.: *Моя жена ничего для меня не значит.* Пощечина, которую Дора дает ему, обнаруживает лишь так и не разрешенную двусмысленность – кого же Дора в действительности любит: господина К. или его жену? И уж конечно не пощечина нам на этот вопрос ответит. И все же пощечина эта является одним из тех знаков, одним из тех судьбоносных моментов, которые из поколения в поколения указывают человеку на его будущее.

Итак, субъект устремляется прочь со сцены. Это как раз и составляет характерную черту отыгрывания, позволяющую отличить его от *acting out*, представляющего собой, как вы увидите, нечто совершенно иное.

Хотите, приведу вам еще один, совсем уже наглядный пример? Трудно отрицать явное наличие этой поведенческой черты в том, что обычно называют бегством. Что происходит, на самом деле, когда субъект, занимающий всегда в таких случаях инфантильную позицию, ударяется, как говорится, в бега? Не что иное, как пресловутый уход со сцены и дальнейшие скитания в той чистой земле, куда отправляется субъект на поиски чего-то такого, что всюду было отвергнуто, оказалось ненужным. В конец измученный, он, разумеется, возвращается, что дает ему повод для вечного самоукорения. Уход – это всегда выход со сцены в мир.

Вот почему теперь, когда я говорю о тревоге, для меня так важно было с первых шагов четко различить два регистра – с одной стороны, мир, где мы находимся под гнетом реального, и, с другой стороны, сцена Другого, где человеку предстоит сложиться в качестве субъекта, выступить в качестве того, кто держит речь. Правда, держать эту речь позволено ему лишь в структуре, которая, при всем старании своем казаться правдоподобной, остается структурой вымысла.

Прежде чем сделать в анализе функции тревоги очередной шаг, заранее предупреждаю, что буду говорить с вами об *acting out*, хотя на первый взгляд явление это связано,

скорее, с попыткой от тревоги уйти. Не исключено, к тому же, что разговор на эту тему покажется вам очередным, а то и вовсе излишним, отступлением. Заметьте, однако, что вынуждает меня к этому отступлению тот самый вопрос, на чью важность я с самого начала обратить внимание: а не является ли тревога настолько самодостаточным способом общения субъекта с Другим, что это дает основание заподозрить, будто она разделяется ими обоими?

Замечу в связи с этим, что тревогу испытывают, как известно, и некоторые животные, и этому факту приходится искать какое-то объяснение. Сделать это нелегко, но проходить мимо этого факта и не учитывать его мы не вправе. Я хочу положить на этом месте мысленную закладку, чтобы впоследствии к нему вернуться. Каким образом можем мы быть уверены, что животное испытывает те или иные чувства? Тревога, пожалуй, единственное среди них, в наличии которого у животных мы можем не сомневаться. Ведь ее отличает у них та черта, которая, как я уже говорил, неизменно тревоге свойственна – быть тем, что не обманывает.

2

Наметив вчерне, о чем сегодня у нас пойдет речь, я для начала кое о чем напомню.

Поздний Фрейд утверждает, что тревога является сигналом в эго.

Если сигнал находится в эго, значит место его нужно искать в идеальном я. Надеюсь, вы поняли из моих объяснений, что место это соответствует букве *x* на моей схеме.

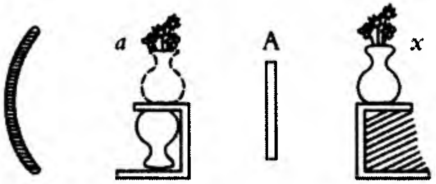
В воображаемом поле эго сигнал является пограничным явлением. Термин *граница* оправдан в данном случае уже тем, что сам Фрейд рассматривал эго как поверхность – и более того, как проекцию поверхности, о чем я в свое время уже говорил. Так что мы вполне можем рассматривать его как цвет – метафора, смысл которой я впоследствии объясню. Возникает этот цвет на границе виртуальной поверхности *i'(a)*, которая зеркально симметрична, в свою очередь, реальной поверхности *i(a)*.

Идеальное я является функцией, образующей эго путем последовательной идентификации с рядом объектов, в

связи с которыми Фрейд ставит в работе *Das Ich und das Es* проблему, которая так и осталась у него нерешенной – проблему двусмысленных отношений между идентификацией и любовью. Неудивительно, что мы и сами можем приблизиться к этой проблеме лишь с помощью формул, в которых статус нашей собственной субъективности в речи – речи учителя или преподавателя – оказывается под сомнением. Двусмысленность, которую я имею в виду, окрашивает отношения, которые я не раз уже с вами затрагивал – отношения между *быть* и *иметь*.

Чтобы пояснить это обратимся к тому, что бросается у Фрейда прямо в глаза. Именно идентификация рассматривается им как источник скорби. Каким же образом *а*, объект идентификации, оказывается одновременно *а*, предметом любви? Он метафорически лишает *любовника*, пользуясь традиционным, возникшим в средневековье термином, привычного *статуса возлюбленного, эроменос*, превращая его в *эраста*, субъекта нехватки, того, что и определяет, собственно говоря, в любви его место. Именно она служит ему, так сказать, любовным орудием, поскольку любим мы, как вы в дальнейшем поймете, тем, чего у нас нет.

Я выбрал для обозначения *а* букву *а* не только для того, чтобы воспользоваться буквой в ее чисто алгебраической функции, но и желая сыграть, отчасти, на том, что *а* служит во французском языке формой третьего лица единственного числа глагола *иметь*. Вот почему то *а*, которого в любви мы более не имеем (*n'a plus*), которого у нас больше нет, может быть вновь обретено на пути регрессии, в форме идентификации с бытием. Именно поэтому и называет Фрейд переход от любви к идентификации регрессией. Однако в регрессии этой *а* остается тем, что оно есть, орудием. Иметь или не иметь можем мы, с вашего позволенья, лишь *тем*, что мы есть.



Реальный образ охватывает объекты а

Именно с помощью реального образа, формирующегося при своем возникновении в качестве *i(a)*, заключаем мы или нет в своей «горловине» многообразие объектов *a*, представленное на схеме в виде цветов. Происходит же это благодаря расположенному в глубине вогнутому зеркалу, символу чего-то такого, соответствие чему должно найтись в структуре коры головного мозга и что лежит в основе отношения человека как к собственному телу, так и различным составляющим это тело объектам – фрагментам первоначального тела, усвоенным, или, наоборот, не усвоенным себе в момент формирования *i(a)*.

На этапе, предшествующем стадии зеркала, то, из чего составится впоследствии *i(a)*, представляет собой хаос маленьких *a*, о которых нельзя еще, строго говоря, сказать, что мы их имеем, или же не имеем. В этом и заключается как раз смысл, глубинный смысл термина *аутоэротизм* – нам не хватает, напрочь не хватает, себя самих. Не внешнего мира, как это обычно себе представляют, а именно нас самих.

Это и дает простор той фантазии расчлененного тела, которую многие из вас наблюдали у шизофреников. Что еще, впрочем, не дает нам права решать, чем именно эти фантазии обусловлены, и не случайно указал я вам на достоинства вышедшей недавно работы, где условия эти внимательно изучаются. Не претендуя на исчерпывающий их анализ, работа эта выделяет одну важную черту, обращая внимание на то, как мать шизофреника описывает, что чувствовала она по отношению к своему ребенку, когда он находился в ее утробе – он был для нее всего-навсего порою мешавшим ей, порою нет, инородным телом, то есть субъективацией *a* как чистого реального.

Задержимся немного на этом, предшествовавшем возникновению образа *i(a)* моменте – моменте, когда еще не заявила о себе разница между всеми этими маленькими *a*, с одной стороны, и реальным образом, по отношению к которому они будут представлять собой тот остаток, который мы либо имеем, либо же нет, с другой.

Фрейд утверждает, что тревога является пограничным явлением, сигналом, который возникает на рубежах *я*, когда этому последнему угрожает нечто такое, чье появление неуместно. Это и есть *a*, омерзительный, нестерпимый для Другого остаток. Почему же тогда и размышление и опыт согласно привели Ранка, а за ним и Фрейда, к выводу, что истоки тревоги нужно искать на уровне рождения, на том этапе, который фазе зеркала и фазе аутоэротизма предшествует и когда, по единогласному мнению аналитиков, о формировании *я* не может идти и речи? А это значит, что если и возможно определить тревогу как сигнал на границах *я*, то лишь постольку, поскольку *я* уже сформировано, так что сути феномена тревоги это определение не исчерпывает.

Наш вывод подтвердится, если мы обратимся к явлениям, которые нередко сопровождают тревогу – к явлениям, связанным с так называемой деперсонализацией. Легко видеть, что в структуру *я* как таковую они совершенно не вписываются. В результате неизбежно встает вопрос, какое место она, эта деперсонализация, занимает, тем более что единого мнения на этот счет нет и многие авторы зачисляют под эту рубрику с аналитической точки зрения более чем сомнительные явления.

Нам известно место, которое занимает деперсонализация в построениях ряда авторов французской школы, на которых мне здесь уже приходилось ссылаться. Вам нетрудно будет уловить связь этих построений с идеями, которые я здесь развиваю, и даже те наметки, которые я успел дать, с ними во многом перекликаются. Так, понятие дистанции ощутимо присутствует на моей схеме – я не раз подчеркивал, что для того отстранения субъекта от себя самого, которое зеркальное измерение может ему предложить, он должен сохранять по отношению к зеркалу определенную дистанцию. Но это не значит, конечно, что приближение к

зеркалу позволит нам разрешить хоть одну из трудностей, которые необходимость дистанции порождает.

Опасность объектов в психозе состоит, иными словами, не в возможности их вторжения. В чем же заключается тогда опасность, которую объекты для *я* несут? Дело в том, что сама структура этих объектов препятствует их, так сказать, *эгоизации*.

Именно это и пытался я пояснить своими топологическими метафорами. Впрочем, я полагаю, что это более, чем просто метафоры – ведь они наглядно показывают, что в структуре некоторых объектов могут быть налицо формы, не дающие обычного зеркального отражения.

С феноменологической точки зрения представляется очевидным, что деперсонализация начинается с неузнавания собственного зеркального образа. Факт этот в клинической практике прекрасно известен – не новость, что сопровождающее деперсонализацию чувство растерянности впервые охватывает субъекта как раз в тот момент, когда он не обнаруживает в зеркале, или в чем-то подобном, своего отражения. Но одного указания на этот факт для понимания сути явления еще не достаточно. То, что субъект видит в зеркале, внушает ему тревогу постольку, поскольку он не может рассчитывать на признание этого образа большим Другим.

В самом деле, обратите внимание на тот типичный для связанных с зеркалом переживаний момент, который я рассматриваю, если вы помните, как парадигму образования идеального я в пространстве Другого – момент, когда ребенок, характерным движением, о котором я в свое время писал, оборачивается к Другому, свидетелю, стоящему позади взрослому, чтобы улыбкой выразить ликование, которое испытывает он в общении с собственным зеркальным изображением. Если отношения с зеркальным образом настолько пленяют субъекта, что он на это движение уже неспособен, то это значит, что из замкнутого, дуального мира его отношений с образом Другой оказывается исключен.

Чувство лишенности было, кстати говоря, в клинической картине психоза отмечено. Зеркальное изображение переживается в психозе как чужое, *odd*, как говорят англичане,

непарное, несимметричное. Это и есть *Horla* Мопассана, внепространственное, поскольку пространство – это измерение, где вещи могут накладываться, совмещаться.

Остановимся здесь ненадолго и посмотрим, что представляет собой сепарация, расставание, связанное с тревогой рождения. Неясность, которая в отношении этого явления сохраняется, до сих пор порождает всякого рода путаницу. За нехваткой времени мне остается эту путаницу лишь констатировать и в дальнейшем я к этой теме еще вернусь, но знайте, по крайней мере, что связывать формирование тревоги с моментом рождения можно лишь с серьезными оговорками.

Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к тексту самого Фрейда. На уровне тревоги рождения, говорит он, имеет место сложная конфигурация движений, преимущественно дыхательных и вазомоторных – реальная конфигурация, которая и будет в дальнейшем унаследована тревогой в ее роли сигнала подобно тому, как истерический припадок воспроизводит для выражения определенных эмоциональных моментов унаследованные им движения. Все это, разумеется, не лезет ни в какие ворота. Невозможно представить себе, чтобы между тревогой и *я* с самого начала возникли столь сложные отношения. Если она и послужит впоследствии для *я* сигналом, то произойдет это лишь посредством тех отношений, что связывают между собой *i(a)* и *a* – точнее, того структурного элемента, который мы в этих отношениях обнаружили: разреза.

А это значит, что расставание, послужившее отправной точкой, то самое что позволяет нам эти отношения помыслить и рассмотреть, не является расставанием с матерью. Разрез, о котором здесь идет речь – это не тот разрез, что отделяет мать от ребенка.

Способ, которым ребенок первоначально обитает в матери – это обычный способ, которым зародыш обитает в теле матери у млекопитающих. Вам прекрасно известно, что с определенной стороны его можно рассматривать как тело. По отношению к телу матери инородное, паразитарное, сросшееся кровеносными сосудами своей наружной оболочки с предназначенным для его вмещения органом,

утробой, со слизистой оболочкой которой он тесно сплетен. Интересующий нас разрез, который накладывает на целый ряд клинически изученных явлений свой отпечаток и от разговора о котором нам поэтому никуда не деться, играет, благодарение Богу, в нашем зачатии роль куда более позитивную, нежели разрез пуповины ребенка при его падении в мир.

Что же это за разрез? Это разрез, отделяющий его от эмбриональных оболочек.

Откройте любой изданный за последнюю сотню лет учебник эмбриологии, и вы легко убедитесь: чтобы составить себе исчерпывающее представление о том до-зеркальном комплексе, который представляет собою *а*, достаточно взглянуть на эти оболочки как на элемент тела ребенка. Уже начиная с яйца оболочки начинают постепенно отслаиваться и вы сами увидите насколько интересные формы этот процесс принимает – после наших прошлогодних топологических опытов с бутылкой Кляйна они вам вряд ли покажутся неожиданными. На схемах, которые эти оболочки собой иллюстрируют, прекрасно видны все способы перехода внутреннего во внешнее: во внешней полости плавает обернутый в амнион зародыш, в то время как сама амниотическая полость окружена эктодермическим лепестком и ее обращенная наружу поверхность служит продолжением поверхности эндобласты.

Вам бросится, одним словом, в глаза, аналогия между тем, что при «вырезании» эмбриона от этих оболочек остается, с одной стороны, и тем загадочным *а*, которое можно, как я показывал, отделить, путем разреза, от бутылки Кляйна, с другой. Если в дальнейшем нам к этой аналогии придется вернуться, то, что я сегодня сказал, вам, несомненно, пойдет на пользу.

Нам остается сегодня, как я обещал, вернуться к *acting out* – явлению, которое может пролить определенный свет на отношения, связывающие маленькое *а* с А большим.

3

Acting out во всем противоположен отыгрыванию. Он обладает рядом характерных особенностей, позволяющих

безошибочно его выделить.

Глубокая, принципиальная связь между *acting out* и *a* – вот к чему я осторожно, за руку, подвожу вас, чтобы вы не упали.

Обратитесь к вашему клиническому опыту и вспомните, насколько важен бывает в определенного рода отношениях с субъектом этот мотив – держать за руку, чтобы не дать упасть. Когда вы с таким типом отношений встречаетесь, будьте уверены – то, с чем устанавливается у субъекта подобного рода связь и есть для субъекта *a*. В результате возникают соединения очень распространенного типа, манипулировать которыми, однако, не слишком удобно, поскольку *a*, о котором в данном случае идет речь, может обернуться для субъекта далеко не таким удобным сверх-я.

Существует тип матери, который мы называем фаллическим – термин вполне подходящий, хотя, употребляя его, мы сами зачастую не знаем, что этим хотим сказать. Лично я вам советую пользоваться этим ярлыком с осторожностью. Но если вы имеете дело с женщиной, которая говорит вам, что чем большую ценность объект для нее представляет, тем сильнее в ней непреодолимое искушение, уповая бог весть на какое чудо, не подхватывать его, если он упадет; что ей случилось выронить из рук любимого своего ребенка – знайте, что вы имеете дело с фаллической матерью. Существуют, разумеется, и другие признаки, но именно этот представляется нам безошибочным. Не случайно Электра затаила зло на свою мать Клитемнестру прежде всего за то, что та выпустила ее однажды в детстве из рук – деталь, которая от проницательного Жироду, разумеется, не ускользнула.

Обратимся теперь к *acting out*.

Если попытка самоубийства является в случае гомосексуальной пациентки отыгрыванием, то затеянная девушкой авантюра с возведенной ей в роль возвышенного объекта дамой сомнительной репутации есть не что иное, как *acting out*. Если пощечина Доры представляет собой отыгрывание, то ее парадоксальное поведение по отношению к супружеской чете К., на которое столь проницательно сразу же обратил внимание Фрейд – это *acting out*.

В поведении субъекта *acting out* всегда представляет собой что-то такое, что бросается в глаза. Говоря о нем, необходимо подчеркнуть его демонстративный характер, его ориентацию на Другого.

В случае гомосексуальной пациентки она явно, как настойчиво отмечает Фрейд, играет на публику. Чем больший скандал это провоцирует, тем более вызывающе девушка себя ведет. Притом то, что ее поведение демонстрирует, действительности заведомо не соответствует. В чем дело, никто не знает, но что оно вовсе не в том, в чем кажется, ни для кого не секрет.

Фрейд, впрочем, быстро объясняет, в чем дело – состоит оно в том, что девушка хотела бы иметь от своего отца ребенка. Но вы недостаточно требовательны, если этим довольствуетесь – с потребностью в материнстве это желание не имеет ничего общего. Вот почему я хотел, по крайней мере, обратить ваше внимание на то, что вопреки мнению, к которому аналитическая мысль неуклонно в последнее время сползает, отношения между матерью и ребенком лежат от главной линии прояснения бессознательного желания несколько в стороне.

Нормальные отношения матери и ребенка выглядят, с точки зрения их устроения, закругленными, полными, замкнутыми, не менее самодостаточными, по сути дела, чем в фазе беременности – чтобы вписать их в нашу концепцию и разглядеть, как соотносятся они с характерным для отношений между *i(a)* и *a* разрезом, нужно нарочито постараться. Нашего опыта работы с переносом достаточно бывает, как правило, чтобы увидеть, когда пациентка становится беременной и понять, зачем ей это нужно – как правило, речь идет о возврате к более глубокому нарциссизму, призванному послужить ей оборонительным рубежом. Но об этом довольно.

Ведь если Дора и хочет ребенка, то в качестве чего-то другого, и это что-то другое от внимания Фрейда, благодарение Богу, не ускользнуло. Ребенок нужен ей в качестве фаллоса, то есть, как в учении Фрейда это в подробностях выясняется, в качестве заместителя, эрзаца, чего-то такого, что в нашу диалектику разреза и нехватки без остатка укла-

дывается – того выкидыша, той нехватки, которую мы называем *(a)*.

Это как раз и позволяет ей, будучи не в силах свое желание осуществить, реализовать его одновременно по-другому и на тот же самый манер – на сей раз в качестве *эраста*. Она превращается в *любящего*. Другими словами, она выступает в качестве того, чего не имеет – фаллоса, и чтобы показать, что она имеет его, она его дает. Происходит это на самом деле в высшей степени демонстративно. По отношению к Даме, отмечает Фрейд, она ведет себя как ухаживающий за ней кавалер, как мужчина, готовый пожертвовать ради нее своим достоянием – фаллосом.

Убедившись таким образом, что желание связано здесь с показом или демонстрацией, мы можем выделить особый тип желания, которому присуще демонстрировать себя в облике другого и именно так, под видом другого, указывать на себя самое. В *acting out* желание, стремясь быть признанным в качестве истины, вступает на путь, где достичь этого ему удается лишь способом, который показался бы странным, не знай мы уже, по опыту нашей с вами работы, что истина природе желания противопоказана. Помня формулу, согласно которой желание, хоть и артикулировано, артикуляции не поддается, явлению, с которым мы здесь столкнулись, удивляться особенно не приходится. Я даже дал этой цепи рассуждений очередное логическое звено – желание артикулировано объективно, артикулировано на материале того объекта, который я назвал в прошлый раз причиной желания.

Acting out – это по самой сути своей не что иное, как показ, демонстрация – прикровенная, разумеется, но сама по себе вполне откровенная. Прикровенна она лишь для нас, в качестве сюжета *acting out* – постольку, поскольку то, что здесь говорится, может оказаться истиной. Сама по себе, напротив, она вполне на виду – именно поэтому, кстати, она и может в определенном регистре оказаться невидимой, обнаруживая тем самым свою причину. То, что таким образом обнаруживается, и есть, по сути своей, остаток, выкидыш, то, что выпадает между делом в осадок.

Между субъектом $\$$, выступающем здесь, так сказать, под

видом Другого и по структуре своей представляющий собой фикцию, и Другим, А/, в подлинности которого удостовериться до конца невозможно, возникает остаток, *а*, книга плоти. Это значит, что каким бы заимствованным материалом – как это происходит, например, в меланхолии – мы дыру желания ни заделывали, всегда тут как тут оказывается сведущий в искусстве сводить счеты еврей, который потребует от вас книгу плоти – надеюсь вы понимаете, кого я цитирую. Это и есть черта, без которой *acting out* никогда не обходится.

Вспомните что довелось написать мне в статье *Направление лечения* о наблюдениях Эрнста Криса в случае с плагиатом. Вступив на путь, определение которому нам, наверное, еще предстоит подыскать, Крис пытается образумить пациента, предъявив ему истину: он неопровержимо доказывает, что тот плагиатором не является, уверяя, что прочитал его книгу и нашел ее вполне оригинальной – это другие, наоборот, многое из нее заимствовали. Субъект не может этого отрицать. Беда в том, однако, что ему на эти доводы наплевать. Что же он делает, выходя от врача? Как вам известно – я надеюсь, что хоть кто-то здесь, а, может, и большинство, читает как-никак мои публикации – он идет лакомиться свежими мозгами.

Я не стану напоминать вам детали этого случая. Я просто хочу, чтобы вы научились узнавать *acting out* и то, что в нем выступает наружу – то, что я только что назвал маленьким *а* или книгой плоти.

Этими свежими мозгами пациент просто-напросто подает Эрнсту Крису знак: все, что вы говорите, правильно, только к вопросу это не имеет ни малейшего отношения – остаются свежие мозги. И чтобы это вам показать я и пойду после сеанса ими лакомиться, о чем при следующей встрече не премину рассказать.

В этих делах торопиться, я вас уверяю, не стоит. Вы скажете, наверное – я ведь, на самом деле, ставлю вопросы и сам на них отвечаю, так что не стесняйтесь сказать мне, если у вас осталась неясность – а что, собственно, в этом *acting out* и в этой демонстрации неизвестного желания есть такого оригинального? Это очень напоминает симптом. *Acting out*

симптом, собственно говоря, и есть. Симптом ведь тоже выступает в чужом обличье – недаром он нуждается в толковании. Хорошо, отвечу я, давайте тогда расставим точки над *i*. Вам прекрасно известно, что непосредственно, прямо симптом истолковать нельзя, что для этого необходим перенос, необходимо вмешательство Другого.

Допустим, до вас это еще не дошло и вы возражаете мне: хорошо, но ведь к этому вы нас, говоря об *acting out*, как раз и подводите. – Дело в том, отвечу я, что необходимость истолкования в природе симптома отнюдь не заложена. Вопреки тому, что вы на этот счет думаете, он вовсе не требует истолкования, как требует его *acting out*.

То, что *acting out* требует истолкования, несомненно, вопрос лишь в том, насколько это последнее вообще возможно. Я покажу вам, что оно возможно, но согласия на сей счет как в теории, так и на практике, пока нет.

С симптомом все ясно – истолкование его возможно, но лишь при условии, которое я должен специально оговорить: при условии, что перенос имел место. По природе симптом, в отличие от *acting out*, в истолковании не нуждается: мы склонны забывать, что симптом, как анализ без труда выясняет, не взывает собой к Другому, не стремится что-то Другому продемонстрировать. По природе своей симптом, помните об этом, представляет собой наслаждение – наслаждение, которое, даже будучи надежно замаскировано, *untergebliebene Befriedigung*, в вас, в отличие от *acting out*, никоим образом не нуждается и вполне довлеет себе. Он принадлежит к разряду того наслаждения, что я научил вас отличать от желания: наслаждения, которое – вспомните мой семинар об этике – лежит по ту сторону блага, т. е. принципа удовольствия, в окрестностях Вещи. Вот почему наслаждение это может выступать как *Unlust* – для тех, кто не знает еще, напомню, что термин этот означает по-немецки *неудовольствие*.

Все это придумал, и даже формулирую впервые, не я – все это можно найти у Фрейда.

Вернемся теперь к *acting out*.

Acting out, в отличие от симптома, это, скажем так, перенос в зачатке. Это перенос дикий, стихийный. Вы сами зна-

ете, что для переноса анализ вовсе не нужен. Но перенос вне анализа – это *acting out*. А *acting out* вне анализа – это не что иное, как перенос. Отсюда вытекает, что одна из проблем организации переноса, то есть использования его, его *Handlung*, состоит в понимании того, как дикий перенос приручить, как заманить дикого слона в загон, как объездить коня для манежной езды.

Это один из возможных подходов к проблеме переноса. И он очень нам пригодился бы, так как это единственный способ понять, как следует поступать с *acting out*.

Тем из вас, кому предстоит этой темой заняться, сообщаю, что в журнале *Psychoanalytic Quarterly* была опубликована статья Филлис Гринэйкер под заглавием *General Problems of Acting Out*. Статья вышла в четвертом выпуске девятнадцатого тома журнала за 1950 год, так что достать ее вы сможете без труда. Статья интересна во многих отношениях, но для меня с ней связано одно особое воспоминание.

Это случилось давно, лет двенадцать назад, когда нас посетило с инспекционной целью несколько экспертов. Была среди них и Филлис Гринэйкер, давшая мне возможность наблюдать прекрасный *acting out*, лихорадочно мастурбируя на моих глазах маленькую японскую статуэтку, *нэцкэ*, изображавшую девушку за сбором ракушек – статуэтка была моя и следы сохранились на ней до сих пор. Я должен, кстати, заметить, что наш тогдашняя беседа доставила мне немалое удовольствие, несравненно большее, нежели та, что имел я с Г-жой Лампл Де Гроот, и которое сопровождалось неоднократными отыгрываниями, в том числе и прыжками аж до моего – правда, невысокого – потолка.

В статье *General Problems of Acting Out* найдется немало интересных замечаний по сути дела, хотя – вы сами, если прочтете, в этом убедитесь – в оригинальной перспективе, которую я пытаюсь перед вами нарисовать – они немало выигрывают. Вопрос в том, как с *acting out*, собственно, поступать. Есть три выхода – интерпретировать, запрещать, усиливать собственное Я пациента.

На интерпретацию Филлис Гринэйкер не возлагает больших надежд. Она женщина до мозга костей. Учитывая мною только что сказанное, интерпретация обречена на

неудачу – хотя бы потому уже, что на интерпретацию *acting out* как раз и рассчитано. И присмотревшись, вы немедленно обнаружите, что субъект прекрасно отдает себе в этом отчет – все, что он в *acting out* проделывает, предъявляется вам для интерпретации. Беда лишь в том, что важен для него в том, что вы интерпретируете, не смысл, а остаток. Так что ограничившись интерпретацией как таковой мы окажемся в тупике.

Интересно вкратце остановиться и на двух других вариантах.

Запрет, естественно, вызывают улыбку – даже у самого автора, которая признает, что сказать субъекту: впредь никаких *acting out* – было бы, как-никак, нелегко. Надо сказать, впрочем, что в психоанализе таких предвзятых запретов существует немало. Мы запрещаем, на самом деле, больше, чем думаем. Психоаналитики многое делают, чтобы *acting out* во время сеанса, по возможности, избежать. К тому же пациентов предупреждают, чтобы они не принимали во время анализа никаких важных для их жизни решений. Ибо там, где проявляется власть, немедленно возникают отношения, которые или для пациента, или для самого аналитика чреваты опасностью.

Почему же аналитики на это идут?

Прежде всего потому – скажу я, чтобы свои рассуждения проиллюстрировать – что мы врачи и что мы работаем на благо пациента. Как хорошо сказал кто-то – уже не помню, кто именно – мы не хотим, чтобы пациенту, который доверился нам, стало бо-бо. Мало того, это нам действительно удается. Само наше внимание к *acting out* свидетельствует о том, что мы делаем в этом направлении важный шаг. Не это ли имеет в виду Филлис Гринэйкер, когда говорит нам о необходимости добиться прочного и настоящего переноса?

Я хотел бы обратить внимание на одну сторону анализа, которую часто не замечают – на его роль как страховки от несчастного случая, страховки от заболевания. Забавно бывает наблюдать, насколько – во всяком случае, начиная с момента, когда аналитик, что называется, набрался опыта, то есть обнаружил то, чего в отношении себя самого прежде не замечал – насколько, повторяю, редко случается па-

циенту подхватить во время анализа грипп или простуду, насколько быстро они в процессе сколь-нибудь длительного анализа улетучиваются. Да и серьезными заболеваниями люди, пожалуй, страдали бы меньше, ходи они чаще к аналитикам. Я полагаю, что службам социальной страховки и страхования жизни следует ставить свои тарифы в зависимость от процента находящегося в анализе населения.

Зато когда несчастный случай – не обязательно *acting out* – наоборот, происходит, как пациент, так и его близкие, непременно утверждают, что виноват анализ. В этом есть определенная правда: если это именно *acting out*, то он адресован Другому, а поскольку субъект находился в анализе – значит аналитик Другой и есть. Если он имел неосторожность это место занять – что ж, тем хуже для него, так как тем самым он взял на себя связанную с этим местом ответственность.

Подобные вопросы как нельзя лучше помогают вам понять то, что я имею в виду, говоря о желании аналитика и пытаясь понять, что оно собой представляет.

Я не премину, однако, рассмотреть здесь причины, по которым, решая вопрос о том, каким способом перенос лучше всего осваивать, аналитики склоняются к третьему из упомянутых мной выходов – усилению Я. Я уже говорил вам, что это вопрос не простой. Не премину я и вновь напомнить о том, против чего всегда выступал, так как, по признанию тех, кто вступил на этот путь больше десяти лет, а то и вообще несколько десятилетий назад, так что и разговоры об этом постепенно сошли на нет, они стремятся в анализе помочь субъекту себя идентифицировать. Об этом существует в психоанализе целая литература.

Причем речь идет об идентификации не с образом как отражением идеального Я в Другом, а с собственным Я аналитика. Выливается это в описанный Балинтом поистине маниакальный кризис, которым, по мнению этого автора, подобный анализ как раз и заканчивается.

Что же, собственно, этот кризис собой представляет? Восстание *а* – того, что осталось в такого рода анализе совершенно не затронутым.

4

Вернемся к Фрейду и описанному им случаю женской гомосексуальности с его бесценными наблюдениями.

Уверяя нас, что в данном случае не произошло ничего, что можно было бы назвать переносом, он утверждает в то же самое время, что гипотезу, будто перенос не имеет места, следует отвергнуть с порога. В его позиции просматривается здесь некое слепое пятно, ибо рассуждать так означает понимать отношения переноса превратно, а он в данном случае несомненно рассуждает именно так.

Пациентка эта – именно так выставлено это у Фрейда – обманывает его во сне. Это как раз, по мнению Фрейда, данный случай и отличает. Бесценная *агалма* этого случая женской сексуальности в изложении Фрейда состоит в том, что он, привыкший задавать себе вопросы и на них отвечать, оказывается перед ошеломляющим его фактом – как, неужели бессознательное действительно способно обманывать!

На самом деле, сновидения этой пациентки с каждым днем все яснее указывают на пол, которому она предназначена принадлежать, но Фрейд, и вполне резонно, ни на минуту не верит ей, поскольку больная, рассказывая ему о своих сновидениях, одновременно говорит: да, конечно, это позволит мне выйти замуж и, в то же время – что еще лучше – общаться с женщинами.

Она сама говорит ему, таким образом, что его обманывает. Да Фрейд в этом и не сомневается. Именно поэтому и создается впечатление, что никакого переноса нет. Выходит, даже оно, это бессознательное, которое мы привыкли считать чем-то лежащим на самой глубине, истинной правдой, и то может нас обманывать – вот вывод, к которому Фрейд, в конечном счете, приходит. Ему не дает теперь покоя это *Zutrauen*, это доверие, которое мы должны бессознательному оказывать. Можем ли мы теперь это доверие сохранить? – спрашивает он.

На этот вопрос он дает утвердительный ответ, но фраза его настолько концентрирована и эллиптична, что в ней явно чувствуется то запинание, о котором я говорил в

Римской речи. Я потом вам эту фразу прочту, с собой ее у меня сейчас нет, она замечательна, он словно спорит с самим собой. Бессознательное всегда, говорит он, заслуживает доверия, а речь сновидения – это не бессознательное, это продукт желания, которое из бессознательного исходит. И, сказав это, тут же признает, и даже прямо утверждает, что ложь эта является, следовательно, языком, на котором заявляет о себе желание.

Девушка сама говорит ему, что сновидения ее лгут. Фрейда останавливает другое, его останавливает проблема симптоматической лжи вообще, проблема того – возьмите, к примеру, ложь у ребенка – что субъект, обманывая, хочет сказать. И странно, что в момент, когда механизм заедает, Фрейд бросает случай, отказывается от него. На причину затора, на маленький остаток, отброс, он так и не обращает внимания, а именно в нем здесь все дело и заключается.

Не видя причины своего затруднения, Фрейд явно смущен грозящей ему утратой доверия к бессознательному. В этих условиях он и прибегает к отыгрыванию.

Перед нами момент, когда Фрейд отказывается признать, что истина, которая является для него предметом страсти, строится в соответствии с лежащей в ее основе структурой вымысла.

Все дело в том, что он недостаточно размышлял, по-видимому, над тем, на что я недавно, говоря о фантазме, обратил особенное внимание – над парадоксом Эпименида. *Я лгу* никакого противоречия в себе не содержит, если иметь в виду, что обманщик – это желание. Желание в тот момент, когда, утверждая себя, оно предает субъекта тому логическому аннулированию, перед которым, видя противоречие, что заключено в *я лгу*, останавливается философ.

В конечном счете, однако, Фрейду не хватает здесь, и мы это знаем, того, чего не хватает в его дискурсе вообще и что всегда оставалось для него загадкой – чего хочет женщина? Камнем преткновения становится для него то, что мы можем, предварительно, назвать женской природой.

Не надо приписывать мне слов о том, что женщина, мол, всегда обманщица. Я лишь говорил, что женская природа неуловима и что есть в ней нечто от той *сочной сладости*, о

которой мы читаем в книге *И-Цзин*, нечто такое, что вызвало у Фрейда приступ удушья, когда узнал он задним числом о ночной прогулке, на которую в день окончательной их помолвки отправилась тайком от него невеста с каким-то бесцветным двоюродным братом. Я сказал «двоюродным братом», хотя сам точно не помню, и не справлялся по биографии, кто именно это был. Какая разница, кто – один из тех пижонов с обеспеченным, как говорится, будущим, которого у них, на поверку, как раз и нет.

Здесь-то и налицо у Фрейда слепое пятно. Фрейд хочет, чтобы она, женщина, все ему рассказала. Что ж, именно это она и проделывает – и с *talking-cure* и с *chimney-sweeping* она отлично справляется. Дымоход и вправду прочистили на славу.

Некоторое время они там внутри не скучали – важно, что они были вместе, в одном дымоходе. И только после, когда они оттуда вылезли, возникает вопрос, котоорый я, заимствовав из Талмуда, в одной из своих статей в свое время цитировал: когда двое вместе вылезают из дымохода, который из них пойдет умываться?

Я советую вам перечесть эту статью, а заодно и другую, посвященную фрейдовой Вещи. Эта Вещь предстает там, как вы увидите, в несколько необычном облике.

Ее бегство, или погоню за ней, воплощает у меня богиня Диана.

Фрейдова Вещь – это то, что выронил из рук Фрейд, но и после его смерти продолжает она оставаться с нами: именно за ней все мы ведем охоту.

При следующей встрече мы продолжим преследование.

23 января 1963 года.

X
О НЕХВАТКЕ, КОТОРАЯ НЕ СВОДИТСЯ К ОЗНАЧАЮЩЕМУ

Дифференциальная топология дыр
Нехватка, которую не восполняет символ
Объект в переносе
Маргарет Литтл и ее большое Р
Интерпретация-вырез

Тревога, как учат нас испокон веков, это беспредметный страх.

Вздор, можем мы сказать теперь, вздор, в котором слышен совсем иной дискурс – это вздор, который, несмотря на всю научность свою, сродни детской колыбельной. Ибо истина, которую я возвещаю здесь, состоит в том, что тревога объекта не лишена.

Это не значит, что объект этот доступен так же, как остальные. Я уже подчеркивал, что от тревоги нельзя отмахнуться, делая вид, будто найти этому объекту символическое выражение, выстроить с ним те символические отношения, к рассмотрению которых мы в дальнейшем вернемся, можно с помощью дискурса, однородного или подобного во всех своих составляющих дискурсу научному. Утверждать, что тревога не лишена объекта, можно лишь с той оговоркой, что, признавая это, мы не говорим – да и не можем сказать – о каком именно объекте здесь идет речь.

Тревога, иными словами, с максимальной наглядностью являет нам функцию, которая в нашей области имеет коренное значение – функцию нехватки.

1

Связь с нехваткой является для построения любой логики настолько существенной, что всю историю логики можно представить как ряд успешных попыток эту нехватку замаскировать. Именно это делает историю логики одной большой, в позитивном смысле этого слова, оплошностью.

Вот почему я всегда, как видите, возвращаюсь, так или иначе, к тем логическим парадоксам, что призваны подска-

зать нам, насколько такая оплошность для нас насущна и выработать стиль поведения, который позволил бы успешно ее совершить – то есть, в каком то смысле, не оплошать.

Вот почему я в очередной раз счел нужным начать разговор с одной притчи.

На большее это отступление не претендует и вы не найдете в нем никакой аналогии, которая могла бы описанной ситуации с оплошностью послужить опорой. Притча эта полезна, однако, тем, что ставит под вопрос хорошо известную перспективу, которую в промежутках между нашими еженедельными встречами каждый дискурс, в том числе дискурс психоаналитической литературы, вам так или иначе навязывает. В этой перспективе определенные дыры могут клиническим воздействием лататься – аналитический дискурс способен ликвидировать любое зияние, с которым клинический опыт ту или иную оплошность или нехватку связывает.

Итак, небольшая притча – первая, что пришла мне в голову. Нашлись бы и другие, но мне не хочется терять темпа.

Я уже говорил вам когда-то, что нехватки в реальном нет, что нехватку можно обнаружить только с помощью символического. Сказать, что такой-то книги нет на месте, можно только в библиотеке. Ведь место это существует лишь постольку, поскольку реальное было символически упорядочено. Поэтому нехватка в данном случае легко восполняется символом – он указывает на место книги, на ее отсутствие, он предъявляет то, чего нет в наличии.

Взгляните теперь на эту купленную мною только что книгу – именно она мне эту маленькую притчу и подсказала.

На первой странице ее вы видите пометку: *Не хватает четырех гравюр на таких-то страницах.*

Значит ли это, что закон двойного отрицания здесь работает? Что если тома этого не окажется в библиотеке на месте, нехватка четырех гравюр места иметь не будет, что гравюры возвратятся на свое место?

Ясно как день, что это не так.

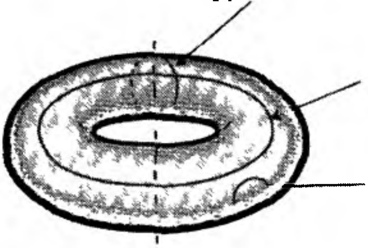
Эта притча может вам показаться дурацкой, но в наглядном представлении, которое дает о включении нехватки

эйлерова схема, обнаруживается на поверку та же самая логика. Какое положение занимает семья в роде, индивид в виде? Что представляет собой дыра внутри окружности, помещенной на плоскости?

Я не случайно в прошлом году уделял столько внимания топологии – мне важно было внушить вам, что функция дыры отнюдь не однозначна.

Мышление неизбежно сталкивается на своем пути с тем, что, как бы мы метафорически его не именовали – планированием, скажем – предполагает так или иначе план, то есть плоскость – то, на чем зиждется наше врожденное интуитивное представление о поверхности. На деле, однако, как я вам на примере кольца, или тора, уже показывал, отношения с поверхностью оказываются бесконечно сложнее. Так, представить себе тор, вроде бы, проще простого, но, присмотревшись к нему внимательней как к поверхности и проделав определенные полезные для нас построения, мы пришли к выводу, что дыры ведут себя на этой поверхности, как ни странно, очень по разному.

Я еще раз обращаю ваше внимание на имеющие здесь место закономерности.



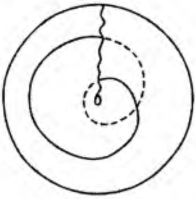
Два типа дыр на торе

Нам предстоит понять, каким образом может дыра закрыться, заполниться. Образно это легко представить себе как суженье ее окружности. Любая окружность, нарисованная на плоскости, легко может сузиться, сжаться до точки – предела, на котором она исчезает. Окружность на поверхности тора – иное дело. Окружности, над которыми можно проделать эту операцию, на ней тоже можно построить, но стоит нам их расположение изменить, как тут же окажется,

что к нулю их свести нельзя. Существуют структуры, в которых дыра принципиально не закрывается.

Если я рисую, то потому лишь, что иначе мне выразить это трудно.

Сущность бутылки Кляйна – фигуры, которую я продемонстрировал вам в прошлом году – состоит в том, что на ней возможны лишь окружности второго типа. Какой бы разрез на поверхности вы ни сделали, вырезанная окружность к точке сводиться не будет.



Минимальная поверхность бутылки Кляйна

Нарисуем ли мы эту окружность способом, гомологичным вырезу, который, будучи сделан на поверхности тора, дает оба типа окружности, или проведем ее через тот привилегированный пункт γ, на который обратил я ваше внимание в прошлом году – в любом случае мы получим на бутылке Кляйна нечто такое, что сводится, на первый взгляд, к некой минимальной поверхности. Однако где бы мы наш вырез ни сделали, минимальная поверхность эта окажется символизирована на чертеже не концентрически сжимающейся окружностью, а той или иной не сводимой к точке фигурой, представляющей собой, в любом случае, так называемую «внутреннюю восьмерку», спутать которую с образующейся в результате концентрического сужения точкой никак нельзя.

Вот почему бутылка Кляйна послужила нам еще одним способом продемонстрировать возможность нехватки, которая оказывается невозместимой.

Нехватка, таким образом, носит радикальный характер. Она предстает в аналитическом опыте как коренное условие формирования субъективности. Мне хотелось бы выразить эту мысль следующим образом: как только нечто становится известно, оказывается предметом знания, это

немедленно влечет за собой потерю, утрату, и наилучший способ к утраченному приблизиться – это представить его себе в виде частицы тела.

Вот, в самых общих, неясных еще чертах, незыблемая истина, почерпнутая в аналитическом опыте. Никакое возможное размышление над любыми мыслимыми формами нашего существования не может отныне обойти ее стороной.

Утрата, о которой мы ведем речь, настолько невыносима, что мы, так или иначе, постоянно стараемся ее миновать. Другое дело, что у стараний наших есть своя изнанка – ведь тщательно обходя ее, мы тем яснее очерчиваем ее контур, а по мере приближения к ней все более склонны оказываемся о ней забывать – виной этому сама структура, о которой нехватка свидетельствует. Отсюда следует еще одна истина – все переживаемые нами мучения связаны с тем, что в отношениях с Другим, открывающими для нас возможность символизации и пространство речи, обнаруживается структурный изъян.

Теперь, усвоив это, нам предстоит понять, что мы здесь вплотную приблизились к тому самому, благодаря чему отношения с Другим вообще возможны, к тому месту, из которого означающее берет начало.

Но место, из которого означающее берет начало, само не может, в каком-то смысле, быть обозначено. Поэтому и назвал я его местом нехватки означающего.

2

Недавно один человек, который, на самом деле, меня совершено не понимает, спросил, не имею ли я здесь в виду свойственную любому означающему воображаемую материю, форму слова, или, если хотите, китайского иероглифа – тот факт, одним словом, что означающее, как и все остальное, не может обойтись без наглядного носителя? Так вот, я имею в виду вовсе не это.

Есть, разумеется, искушение понять меня именно так, но, когда я говорю о нехватке, речь идет совсем о другом. Чтобы вы это почувствовали, сошлюсь на определения, которые я уже дал и которыми вам следует пользоваться.

Я сказал уже, что нехватка может быть лишь символического порядка. А вот лишение – оно представляет собой нечто реальное.

То, например, о чем мы с вами говорим здесь, относится к разряду реального. То, вокруг чего вертится наш разговор, когда я пытаюсь представить вам каким-то образом тот решающий не только для теории, но и для практики психоаналитического опыта пункт, о котором мы склонны забывать – это именно лишение, лишение, которое дает о себе знать как в теории, так и на практике. Будучи реальным, лишение это может быть, конечно, устранено, снято. Но достаточно ли для этого заключить его, насколько это вообще возможно, в научные рамки? Вот в чем вопрос.

Что ж, ничего невозможного в этом нет – достаточно проштудировать аналитическую литературу, чтобы понять, как с этим обстоят дела. Образчик я приведу немедленно.

Открыв первый попавшийся номер *International Journal*, я немедленно обнаружил все те проблемы, о которых у нас идет речь – здесь и тревога, и *acting out*, и то *R* – не я один пользуюсь буквенными обозначениями – под которым разумеют так называемый *Total Response*, целостную реакцию аналитика на аналитическую ситуацию. Автором статьи, носящей это заглавие, оказалась знакомая вам Маргарет Литтл – я уже говорил о ней во время второго года наших занятий. Ее прежде всего как и раз и интересует как можно узнать, где именно лежит лишение – ясно ведь, что по мере того, как автор пытается подойти к проблеме, которую определенного типа пациенты перед ней ставят, внимательнее, предполагаемое местонахождение его смещается.

Но как бы мы решение ни редуцировали, ни символизировали, ни артикулировали, нехватки нам таким образом не устранить. Вот что предстоит нам в первую очередь твердо усвоить, ибо в противном случае непонятным останется тот способ, которым заявляет о себе нехватка в аналитическом опыте – то, что мы называем кастрацией. Лишение представляет собой нечто реальное, тогда как нехватка всегда остается символической. Пениса у женщины, конечно же, нет, но если вы не представите символически пенис в качестве элемента, от обладания, или, не обладания кото-

рым многое зависит, женщина ничего о своем лишении не узнает.

Кастрация, как я сказал уже, имеет символическую природу. Другими словами, оно предполагает определенную нехватку. В анализе кастрация заявляет о себе постольку, поскольку отношения с Другим, которые, конечно же, не дожидались анализа чтобы в том или ином виде уже сложиться, играют в нем принципиально важную роль. На уровне этой символизации – то есть в отношениях с Другим, которые у субъекта по мере его формирования в аналитическом дискурсе складываются – одной из возможных форм проявления этой нехватки оказывается ($-\phi$), воображаемый предмет кастрации. Но это лишь одна из множества форм, в которых первоначальная нехватка, этот вписанный в бытие-в-мире анализируемого субъекта структурный изъян, находит свое выражение.

В этих условиях естественно спросить себя, почему именно кастрация является тем порогом, за который аналитическому опыту перешагнуть не дано. Предел, который в виде комплекса кастрации у мужчины и зависти к пенису у женщины положил анализу Фрейд, оказывается под вопросом. Не факт, что нельзя пойти дальше.

Вот почему так важно в нашем опыте составить себе об изначальной структуре функции нехватки верное представление и твердо держаться его, чтобы главное не оказалось упущено. Расскажу еще одну басню.

Представьте себе, что по ленте Мебиуса прогуливается насекомое. Имея представление о том, что такое поверхность, оно пребывает в уверенности, что у поверхности есть так и не исследованная им сторона – оборотная той, на которой оно прогуливается. Но хоть оно и верит, что оборотная сторона есть, мы-то с вами отлично знаем, что ее нет. Насекомое, само того не знает, исследует единственную имеющуюся у поверхности сторону, хотя в каждый данный момент у стороны этой есть изнанка.

Чего не хватает насекомому, чтобы заметить, что оно перешло на «оборотную» сторону ленты? А не хватает ему маленькой детали, которую я однажды материализовал, изготовил, чтобы вам ее осязательно продемонстрировать

– фигура, которую вы получаете, разрезая бутылку Кляйна определенным образом. Эта маленькая недостающая деталь позволила бы ему сделать своего рода короткое замыкание и найти кратчайшую дорогу к изнанке точки, в которой оно мгновение назад находилось.

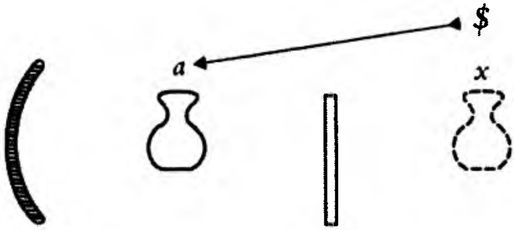
Можно ли сказать, что описав нашу недостающую деталь в парадигматической форме объекта *a* мы таким образом проблему решили? Ни в коем случае. Ведь именно факт ее недостачи ее и сообщает миру, в котором прогуливается насекомое, его реальность. Избавиться от нашей маленькой внутренней восьмерки нельзя. Другими словами, перед нами нехватка, которую никакой символ не восполняет, а не отсутствие, с которым символ в состоянии справиться.

Но упразднением или запирательством это тоже назвать нельзя. Упразднение и запирательство суть две операции, обусловленные тем, что символ позволяет в реальное внести, – отсутствием. Упраздняя и запираясь, мы пытаемся уничтожить в означающем то, что позволяет нам занять по отношению к первоначальному структурному изъяну дистанцию – пытаемся, иными словами, свести означающее к роли знака. Именно этого отчаянно добивается больной неврозом навязчивости. Нацеленные на место нехватки, упразднение и отрицание его, однако, не достигают, ибо, как объясняет Фрейд, они лишь удваивают функцию означающего, применяя ее к нему самому. Чем больше, иными словами, настаиваю я, что это не так, тем яснее становится, что это именно так и есть.

Пятно крови – будь это то пятно, от которого тщетно старается избавиться леди Макбет, или то, что зовет Лотреамон *интеллектуальным* – стереть невозможно, ибо именно в попытке стереть некий след природа означающего и состоит. И чем больше мы тратим усилий, чтобы, стерев этот след, его обрести, тем настойчивее заявляет о себе этот след в качестве означающего. Вот почему обращаясь к тем формам, в которых предстает *a* в качестве причины желания, мы неизбежно сталкиваемся с очень двусмысленной проблематикой.

И в самом деле – вписывая *a* в нашу зеркальную схему, которая вновь нуждается в обновлении, мы обнаруживаем,

что по отношению к Другому *a* может являться под двумя видами. Свести их вместе позволяет лишь функция тревоги, которая, где бы она ни давала о себе знать, о маленьком *a* сигнализирует. Другого способа интерпретировать то, что сообщает о тревоге аналитическая литература, нам, во всяком случае, не известно.



В отношении тревоги в аналитической литературе, вообще говоря, бытует два мнения. Сближение их дает, как вы сейчас увидите, неожиданный результат.

С одной стороны, тревогу связывают с реальным, видя в ней главное, наиболее радикальное средство защиты, ответ на первичную опасность, на непреодолимую *Hilflosigkeit*, абсолютную растерянность субъекта в момент выхода его в мир. С другой стороны, распространено убеждение, что в дальнейшем тревога усваивается собственным Я и используется им для сигнализации об опасностях сравнительно незначительных, которые аналитический дискурс часто преувеличивает, говоря об угрозах со стороны *Ich* и *Es*. Проявляя такт и чувство меры, которых так не хватает его коллегам, Джонс предпочитает термин *buried desire*, погребенное желание, задаваясь затем вопросом о том, так ли уж оно, желание это, на самом деле опасно. Стоит ли игра свеч, если для защиты от него мобилизуется такой нешуточный сигнал, как тревога – та самая, происхождение которой связывается нами с наиболее абсолютной из грозящих жизни опасностей?

Парадокс этот развивается дальше, ибо трудно представить себе аналитический дискурс, который, представив тревогу последим резервом всякой защиты, не заговорил бы тут же о защите против самой тревоги. Получается, что как раз против него, самонужнейшего средства предупреждения об опасности, и приходится нам теперь защищаться. В

результате именно защитой против тревоги начинают объяснять множество возникающих в психопатологической области реакций, образований и построений. Нет ли здесь парадокса, побуждающего нас сформулировать вещи както иначе – сказав, например, что защищаемся мы не против тревоги, а против того, о чем она нам сигнализирует?

Речь на самом деле идет не о защите от тревоги, а об определенной нехватке. Причем мы отдаем себе отчет в том, что нехватка эта может иметь ту или иную поддающуюся определению структуру. Так, нехватка простой кромки, по которой проходит граница с нарциссическим образом, не равнозначна нехватке с удвоенной кромкой, полученной путем выреза на поверхности бутылки Кляйна и описывающей по контуру *а* как таковое – то, с чем на определенном уровне манипулирования переносом нам приходится, так или иначе, иметь дело.

Именно здесь яснее, чем где бы то ни было, выступает тот факт, что нехватка манипулирования и манипулирование нехваткой отнюдь не одно и то же.

Каждый раз, когда отношения, в которые мы, в качестве Другого, вступаем с находящимся в анализе пациентом, исследуются достаточно глубоко, возникает вопрос, каковы при этом должны быть наши отношения с *а*. В первую очередь, надлежит установить его местонахождение, ибо он, так или иначе, всегда налицо. В аналитическом дискурсе и здесь обнаруживается две стороны, между которыми лежит пропасть.

С одной стороны, аналитический опыт рассматривают как практику, которая постоянно и радикально ставит положение вещей под вопрос, отсылая субъект к чему-то иному, отличному от того, что он обнаруживает, каковым бы это последнее по природе ни было. Как говорил мне недавно один из моих пациентов – *Если бы я был уверен, что дело лишь в переносе!* В этом *дело лишь в переносе* слово *лишь* выполняет функцию, обратную его значению в *ему остается лишь это сделать*. *Лишение* выражается в живой речи, как видим, не только глагольными формами.

С другой стороны, объясняют нам, на плечи аналитика ложится героическая задача: он должен включить это *а* в

себя в качестве хорошего или плохого, но, в любом случае, внутреннего объекта – именно это и даст ему творческую способность восстановить отношения субъекта с миром.

И то и другое верно, но порознь. Не умея соединить эти стороны, их начинают путать, а путаница эта, в свою очередь, не позволяет составить ясное представление о манипулировании отношениями переноса – теми, что выстраиваются вокруг *a*.

Это как раз и объясняет мои замечания о клинических чертах, характеризующих как положение субъекта по отношению к *a*, так и сам способ, которым его желание формируется.

В целом, у психотиков и первертов отношения с фантазмом ($\$\lozenge a$) складывается так, что *a* занимает свое место на стороне *i(a)*. В этом случае для того, что отношениями переноса манипулировать, нам действительно приходится не только вобрать это *a* в себя как инородное тело, но и его присутствие в дальнейшем терпеть, ибо субъекту, который говорит с нами, объект *a*, будучи причиной испытываемой им нехватки, остается совершено чужд.

Невротик, напротив, занимает иную позицию, так как нечто от его фантазма обнаруживается, напротив, на стороне образа *i'(a)*. В месте, обозначенном у меня *x*, появляется нечто такое, что, будучи *a*, лишь кажется им, ибо *a* зеркального отражения не имеет и появиться здесь, так сказать, собственной персоной, не сможет. Это всего лишь его заместитель. Что как раз и мотивирует то принципиальное недоверие к любой идентичности, которое в классическом анализе переноса имеет место.

Но это не означает, что причину переноса нужно искать именно здесь. Мы всегда имеем дело с маленьким *a*, которое, не будучи само на сцене, ежеминутно делает все, чтобы на нее подняться и внедрить свой собственный дискурс в тот, что с этой сцены звучит, внося в него тем самым беспорядок и хаос и словно крича: «Довольно трагедии!», или «Довольно комедии!» – что, впрочем, пожалуй, и к лучшему.

Почему, собственно, Аякс так убивается? В конце концов, он всего-навсего перерезал баранов – это ведь лучше, чем если бы он перерезал всех греков. Поскольку он их не

тронул, нанесенное ему бесчестье оказалось не столь уж и велико – ни для кого не секрет ведь, что в безобразиях, которые он учинил, повинна Минерва. Никакой драмы в случившемся, короче, нет.

Комедию изгнать гораздо труднее. Она, как известно, куда живучее, и как не изгоняй ее, происходящее на сцене действие прекращаться не собирается. Мы вновь возвращаемся к козлиной песне, к истории, о которой с самого начала шла речь, к истокам желания. Вот почему само имя трагедии напоминает о козлах и сатирах, появлявшихся, кстати сказать, лишь в самом конце трилогии.

Вскакивающий на сцену козел и есть как раз *acting out*. *Acting out*, о котором я говорю – это действие, не свойственное современному театру, где актеры, как раз напротив, стремятся спуститься со сцены в зал. Здесь же, наоборот, зрители взбираются на сцену и высказываются начистоту.

Вот почему я обращаюсь здесь к Маргарет Литтл – автору, выбранному мной наугад, как гадают вслепую по книге, вкладывая между ее страниц лезвие ножа.

3

В статье *Целостный ответ аналитика на нужды своего пациента*, опубликованной в частях III-IV тридцать восьмого тома *International Journal of Psychanalysis* в мае-июне 1957 года, Маргарет Литтл продолжает те рассуждения, на которых я однажды, когда работа эта была еще не опубликована, в своем семинаре уже останавливался.

Те, кто присутствовал тогда на моих занятиях, помнят, что я обратил внимание на присутствие в ее тексте ноток тревоги и на ее попытки справиться с этой тревогой, говоря об обратном переносе. На появлении этой проблемы, возникшей вследствие неточной интерпретации, я в тот раз останавливаться не стал.

Итак, к аналитику является пациент, только что сделавший радиопередачу на тему, которая самого аналитика живо интересует – вы представляете себе, в какой среде могло все это произойти. *Вы прекрасно выступали вчера* – говорит аналитик пациенту – *а сегодня вы явно расстроены, так как боитесь, что невольно задели меня, заговорив*

на больную для меня тему.

Прошло еще два года, прежде чем субъект, в связи с годовщиной смерти матери, понял причину своего расстройства: дело в том, что передача оживила в нем скорбь о незадолго перед тем умершей матери, которая, по его словам, так и не стала свидетелем успеха своего сына, ставшего, хоть ненадолго, героем эфира.

Когда, сменив аналитика, пациент этот пришел к Маргарет Литтл, она была поражена тем фактом, что предшественник ее интерпретировал, по сути дела, собственное бессознательное – то огорчение, которое успех пациента причинил ему, его аналитику.

Дело, однако, совсем в другом. Здесь не достаточно говорить о скорби, или о той, другой, повторной скорби, которую испытывал субъект два года спустя по своему аналитику, здесь важно понять, в чем заключается функция скорби как таковой и сделать, тем самым, шаг вперед по отношению к Фрейду, определявшему скорбь как идентификацию с утраченным объектом. Само определение это оказывается не вполне удовлетворительно.

Скорбеть мы можем лишь по тому, о ком вправе сказать: *тем, чего ему не хватало, был я.* Мы скорбим о тех людях, с которыми мы поступали хорошо или дурно, не зная при этом, что выполняем функцию лица, занимающего для них место нехватки. В любви мы даем то, чего в принципе не имеем, и когда то, чего мы не имеем, возвращается к нам, имеет место регрессия и обнаруживается одновременно, чего не хватало нам, чтобы эту нехватку собой воплотить. для другого Но заблуждение относительно нехватки, будучи неизбывно, выворачивается здесь наизнанку: нам кажется, что ему не хватало в нас того, чего не хватило нам ему дать, тогда как именно ей, нехваткой этой, были мы ему так дороги и необходимы.

Именно на это и попрошу я вас обратить внимание, когда вы обратитесь к новой статье Маргарет Литтл – статье, где позиция ее, будучи проработана глубже, вернее от этого нисколько не стала.

Автор не ставит с самого начала традиционно спорный вопрос о том, что обратный перенос собой представляет,

и мы за это, в известной степени, должны ей быть признательны, так как попытайся она это сделать, заблуждение оказалось бы неизбежно как дважды два. Она упорно хочет рассматривать целостную реакцию аналитика, включая сюда все – и свое присутствие на сеансе в качестве аналитика, и то обстоятельство, что нечто в ее собственном бессознательном способно от ее внимания ускользнуть, и то, что, будучи живым существом, она испытывает в ходе анализа какие-то чувства, и то, наконец – она не говорит об этом в таких выражениях, но по сути это именно так – что, будучи Другим, она несет за происходящее полную ответственность. Описывая эту *целостную* позицию, автор пытается дать честный ответ на вопрос о том, как она представляет себе ответ аналитика на запрос пациента.

В результате позиция ее оказывается целиком противоположна – это еще не значит, что она ложна – классическим представлениям на этот счет. Аналитик, согласно ей, не только не сохраняет пресловутую нейтральность, а, наоборот, уходит в ситуацию с головой, берет на себя полную ответственность за нее и не откажется, к примеру, дать свидетельские показания, если по поводу происходящего во время анализа будет привлечен к суду.

Я не говорю, что такая позиция не имеет права на существование. Я просто говорю, что рассматривать функцию аналитика в этой перспективе – дело оригинальное и проблематичное. Аналитик может в иных случаях оказаться вынужден оправдываться в своих чувствах не только перед собственным судом, что признает всякий, но и перед находящимся в анализе субъектом. Груз тех чувств, которые может испытывать аналитик по отношению к субъекту в аналитической ситуации может, будучи озвучен, перейти в нечто такое, что будет уже не интерпретацией, а признанием. А допустить это, значит вступить на путь, который, будучи впервые предложен Ференчи, был встречен большинством классических аналитиков с крайней настороженностью.

Автор делит своих пациентов на три категории. Поскольку она стремится, похоже, работать с самыми разнообразными слушателями, значительную часть их составляют психотики. Здесь, как она признает, ей нередко прихо-

дится делить ответственность с другими людьми, так как в иных случаях без госпитализации бывает не обойтись. Что касается неврозов, то здесь, избавляясь от значительной доли ответственности, мы перекладываем ее по большей части, по ее словам, на плечи субъекта – признание, свидетельствующее об исключительно трезвом взгляде на вещи. Между теми и другими находится, по словам автора, третья группа – пациенты с так называемым неврозом характера или реакционной личностью, те, кого Александер охарактеризовал как *neurotic characters.* Другими словами, это все те, кто в классификацию укладываются с трудом, так что речь идет, на самом деле, не столько об особой категории субъектов, сколько о зоне, где преобладает то, что я только что определил здесь как *acting out.*

Именно об этом в случае, о котором она нам рассказывает, как раз и идет речь. Перед нами женщина, которая обращается к аналитику, так как совершает действия, которые обычно характеризуются как клептомания. В течение примерно года она об этих кражах не упоминает ни разу. Довольно долгое время ее буквально осаждают актуальными интерпретациями переноса в смысле, о котором мы только что говорили. Интерпретации эти настойчиво повторяются. Те, кто идет подобным путем, считают, что, начиная с определенного момента в ходе анализа, перенос следует непрерывно смывать, останавливать, как сочащуюся из раны кровь. Но ни одна из этих интерпретаций, при всей их разработанности и тщательности, защиту субъекта ни в коей степени не затрагивает.

Если кто-то из вас согласится оказать мне услугу и в назначенный день подробно разберет здесь этот случай, что я, поскольку у меня не хватает других забот, не могу сделать сам, вы легко убедитесь в справедливости замечаний, которые я сейчас собираюсь сделать.

Анализ не трогался с места, говорит аналитик, пока однажды пациентка не явилась вся заплаканная, узнав перед этим о смерти – в стране, которую она со своими родителями давно оставила, в тогдашней нацистской Германии – женщины, которая была одним из людей, окружавших ее в детстве, подругой ее родителей, с которой, однако, у нее

были отношения совершенно иные, нежели с родителями. Ей никогда еще не случалось скорбеть об умершем столь глубоко.

Как реагирует на эту необъяснимо несдержанную реакцию наш аналитик? Как всегда – она ее интерпретирует. Более того, интерпретации она предлагает разные – мы наблюдаем, как движется ее мысль. Интерпретации эти носят классический характер – скорбь в них или выражает потребность объекту противостать, или обращена к аналитику и является способом обратиться к нему с упреками, заслоняясь видимым предметом скорби как ширмой. Но все напрасно. Сдвиги начинаются лишь тогда, когда аналитик честно признается, что она в растерянности и что ей больно видеть страдания пациентки. Отсюда она тут же делает вывод, что именно позитивная, реальная, живая отзывчивость способна стать для анализа движущей силой. Сам стиль и композиция ее отчета призваны навести читателя на мысль, что фактором, позволяющим пациентке перенести проявления скорби на свои отношения с аналитиком, является то, что аналитик выступает как человек, которому может ее не хватать.

Вмешательство аналитика дало пациентке понять, что аналитик испытывает тревогу. Мы оказываемся здесь, таким образом, на границе чего-то такого, что указывает в анализе на место нехватки. Это внедрение, эта прививка, этот черенок, открывают для женского субъекта измерение, позволяющее ему осознать себя как нехватку – сделать то, одним словом, что в отношениях с родителями ему решительно не удавалось. Интерпретация, если то, что описано в наблюдениях, действительно так можно назвать, удалась не потому, что выступила в форме позитивного сочувствия. Субъект и правда, конечно, раскрывает аналитику свои объятия, уверяя, что интерпретация попала в точку. Но происходит это лишь потому, что речь поневоле зашла о том, о чем в анализе так или иначе в какой-то момент его, пусть даже в самом конце, должен быть поставлен вопрос – о функции выреза.

Именно на нее недвусмысленно указывают два поворотных момента, которые станут для этого анализа решающими. Вот они.

Первый момент. Аналитик, смело выступающий на стороне идеологии, жизни, реальности, чего хотите, делает неожиданно заявление, которое с этой перспективой, которую я назвал бы сентиментальной, решительно идет в разрез. В один прекрасный день, она обрывает пациентку, донимающую ее бесконечными рассказами о связанных с матерью денежных проблемах, говоря ей буквально следующее: *Послушайте, бросьте это, я буквально засыпаю, когда все это выслушиваю.* Я не предлагаю этот ход в качестве образчика аналитической техники, а призываю лишь вчитываться в запись сеанса, прослеживая проблемы, с которыми этот опытный и нетерпимый к фальши психоаналитик сталкивается.

Во второй раз пациентка завела речь о небольших изменениях, внесенных незадолго до того аналитиком в убранство своего кабинета – зная, как трепетно коллеги к нему обычно к этому делу относятся, интерьер был, вероятно, неплох. Пациентки Маргарет Литтл с утра доставали ее своими замечаниями – это, мол, хорошо, а вот это не слишком удачно, коричневый здесь не к месту, а вот зеленый смотрится восхитительно – и вот приходит к концу дня наша пациентка и заводит, да еще более настойчиво, ту же песню. Аналитик отвечает буквально так: *послушайте, мне наплевать ровным счетом, что вы об этом думаете.* Пациентка, как и в первый раз, поначалу шокирована, ошарашена, но тут же прерывает наступившее было молчание восхищенным криком: *То, что вы сейчас сделали, просто великолепно,* и т. д.

О том, как развивался этот анализ в дальнейшем, я вам сейчас говорить не стану. Я лишь воспользовался этим случаем, поскольку он для демонстрации этой проблематики очень удобен, чтобы продемонстрировать вам свою мысль. А мысль эта состоит в том, что решающим для продвижения анализа фактором является введение функции выреза. Первая интерпретация в данном случае сводилась к тому, что пациентке было сказано: *меня от вас зевота берет, вы меня усыпляете.* Во второй раз она буквально ставит пациентку на место, говоря ей: *Думайте об убранстве моего кабинета все, что хотите, мне на это плевать.* Именно в эти

моменты и оказалось задействовано что-то такое, что для рассматриваемых здесь отношений переноса стало решающим.

Этот факт позволяет разглядеть одну из главных проблем нашей пациентки – она состояла в неспособности ее испытать хотя бы тень скорби в отношении собственного отца, которым она так восхищалась. Все истории, о которых мы со слов аналитика знаем, свидетельствуют о том, что пациентка навряд ли могла являть собой что-то такое, чего могло бы, так или иначе, ее отцу не хватать. Вот характерная сцена – прогуливаясь с ним, она пользуется как тростью деревянной палкой, символизирующей, очевидно, как и сама пациентка это подчеркивает, пенис. Отец вполне невинным, на первый взгляд, жестом, выбрасывает эту импровизированную трость в воду, никак свой поступок не комментируя. Это вам, как видите, не воскресные дни в Виль д'Аврэ.

Что касается матери, чья роль в формировании клептомании была еще больше, то для нее ребенок всегда был не более чем продолжением ее самой, предметом обстановки, орудием угрозы, а то и мести, оставаясь, однако, в любом случае, чем-то таким, что соотносилось с желанием девочки как причина. И для того, чтобы продемонстрировать это, чтобы дать понять, что ее желание – она сама не знает, понятное дело, какое – могло бы быть принято во внимание, каждый раз, когда мать сближается с ней, оказывается в поле, где присутствие ее начинает заметно сказываться, девочка совершает кражу. Проделывая это она, как и большинство клептоманов, хочет сказать очень простую вещь: *Я показывая вам этот силой и хитростью добытый объект потому, что имеется где-то другой объект, мой собственный, объект* а, *который заслуживает, чтобы его приняли во внимание как таковой, чтобы ему позволили хоть раз предстать самостоятельно, в чистом виде.* Эта функция, функция изоляции уединенного бытия, является слабым соответствием функции тревоги. *Жизнь, существование,* как сказал однажды мыслитель, который аналитиком не был, Этьен Жильсон, *это непрерывная способность к активному размежеванию.*

После сегодняшнего разговора вы не спутаете, надеюсь, это замечание с тем, что сказал я однажды по поводу обманутых ожиданий. Здесь речь идет о другом. Речь идет о пределе, на котором располагается место нехватки.

Последовательное и многообразное осмысление различных метонимических форм, в которых очаги этой нехватки заявляют о себе в клиническом опыте как раз и станет темой наших дальнейших занятий. Но мы не можем при этом упустить из виду и другой вопрос – вопрос о целях анализа. Занятые в этом отношении позиции являются настолько показательными и поучительными, что мне хотелось бы, как раз на этом этапе, обратиться к посвященной проблеме целей аналитического пользования статье *On the Theory of Psychoanalytic Treatment*, автор которой, некто Сас (Szasz), защищает точку зрения, согласно которой цели анализа предопределены его правилами и окончание любого анализа, дидактического в том числе, следует понимать не иначе, как усвоение пациентом научной точки зрения на собственное поведение.

Это, разумеется, крайняя позиция – позиция особая и чрезвычайно оригинальная. Я не спрашиваю: *можем ли мы с этим определением согласиться?* Я спрашиваю другое: *чему это определение может нас научить?* Вы достаточно давно меня слушаете, чтобы знать, насколько сомнительной представляется мне так называемая научная точка зрения. Ведь нехватка для нее – это то, что всегда, в принципе, можно заполнить, и потому для нее не приемлема оказывается проблематика опыта, предполагающего осмысление нехватки как неизбывной.

Позиция эта, однако, заслуживает внимания, особенно если сопоставить ее с более ранней статьей Барбары Лоу, посвященной тому, что она называет *Entschädigungen*, компенсациям позиции аналитика. Позиция аналитика сближается в ней, напротив, с позицией художника. То, что происходит в анализе, уверяет нас автор, в солидности своих построений не уступающий предыдущему, вполне сопоставимо с сублимацией, предшествующей акту художественного творчества. Статья опубликована по-немецки в двадцатом томе *Internationale Zeitschrift*, и хотя это издание

очень редкое, я с удовольствием предоставлю его в распоряжение того, кто возьмется его прочесть.

Несколько слов в связи с моим предстоящим отъездом. Не могли бы двадцатого февраля, в день моего возвращения, двое из присутствующих, с которыми я предварительно говорил, взять на себя труд разобрать с вами три упомянутых сегодня статьи, распределив роли между собой или пригласив, для анализа третьей статьи, кого-нибудь третьего? Было бы очень любезно с их стороны не оставлять эту кафедру надолго пустой, заменив меня, если меня не будет, или оказав мне помощь, если я успею приехать.

Я надеюсь, что оба они – речь идет о Гранове и Перрье – уже дали мне, можно считать, свое согласие. Наша следующая встреча состоится, таким образом, двадцатого февраля, ровно через три недели, когда мы их и выслушаем. *(Лакан вернется на самом деле лишь 27 февраля.)*

30 января 1963 года.

XI
ЖЕЛАНИЕ: РАССТАНОВКА АКЦЕНТОВ

От обратного переноса к желанию аналитика
Желание как воля к наслаждению
Желание, от борьбы к любви

Вот я и вернулся с зимнего курорта.

Но и там я, как водится, думал больше о наших с вами делах – впрочем, не только о них.

Хотя в этом году занятия зимним спортом прошли, вопреки обыкновению, довольно удачно, в них поразило меня что-то такое, в чем лишь под конец я ясно отдал себе отчет и что навело меня на мысль о проблеме, которая оказалась в них с очевидностью воплощена, осязаемо материализована – проблеме функционирования в наши дни концентрационных лагерей.

Зимние лыжные курорты как раз и представляют собой концентрационные лагеря, предназначенные для обеспеченных пожилых людей – класса, который с развитием нашей цивилизации, то есть по мере увеличения продолжительности жизни, ставит перед обществом все больше и больше проблем.

Это соображение напомнило мне, что проблема концентрационных лагерей и того, как они в нашу эпоху функционируют, оказалась в наше время, в результате последовавшей за окончанием войны моральной кретинизацией и абсурдной верой в то, что с концентрационными лагерями покончено, полностью упущена из виду. Я не стану распространяться о политических коммивояжерах, поставивших себе задачей щекотливый вопрос о лагерях замять – один из них успел стяжать себе на этом поприще нобелевскую премию. Он был поистине на высоте своего абсурдного героизма, когда по данному вопросу предстояло сделать выбор всерьез.

Размышляя над этим, я перечитывал, радея о вашей пользе, свой семинар по этике, чтобы заново обосновать то самое существенное, что мне там после Фрейда, нашего

общего учителя, удалось сформулировать и с ясностью, достойной истины, о которой идет речь, подчеркнуть: начало и исток всякой морали нужно искать в реальном.

Говоря, что мораль коренится в реальном и, в первую очередь, в политике, я вовсе не призываю вас искать ее объяснения в Общем рынке.

Сейчас мне хотелось бы предоставить не просто слово, но, скажем так, председательство, тому, кто занимал эту кафедру в прошлый раз – Гранову. В прошлый раз он сделал о трех интересующих нас авторах общее сообщение, и мне хотелось бы теперь услышать его ответ г-же Оланье, которая подытожит сегодня то, что было затронуто им в разговоре о статье Маргарет Литтл. *(Следуют выступления.)*

Из трех разобранных здесь статей работа Барбары Лоу является, безусловно, наиболее оригинальной и заслуживает наибольшего внимания. Отослав нас к последнему слову, сказанному на эту тему, к статье Люсии Тауэр, Гранов проявил, на мой взгляд, определенную уклончивость. С другой стороны я, правда, весьма признателен ему за то, что он нас с этой статьей познакомил. Сам я в текущем году сделать бы этого не успел, но теперь мы не сможем уже ее миновать. Я признателен также Перрье за то, что он выслал мне вчера краткое резюме своего выступления. Мне нужно время и, возможно, дополнительная информация, чтобы обсудить с вами некоторые его детали.

Авторы выступлений ничего не потеряют, если я заставлю их немножечко подождать.

1

Я полагаю, что вам, в основном, понятно, что я имел в виду, отсылая вас к этим статьям – все они посвящены обратному переносу, теме, которую я и не пытаюсь осветить сейчас так, как она того заслуживает. Для меня они важны в перспективе того, что я должен был вам сказать о тревоге – точнее, в свете той роли, которая в ходе моих размышлений будет тревоге уделена.

Говоря о тревоге, мы не сможем в дальнейшем не затронуть детально тему, которая с некоторых пор звучит у меня все настойчивей – проблему желания аналитика.

Даже самые тугоухие не могут не расслышать, в конечном счете, что трудности, с которыми сталкиваются авторы этих статей, говоря об обратном переносе, связаны именно с этой, неразрешенной для них, проблемой. Не имея за плечами работы наподобие той, которую мы с вами сейчас проделали, любое аналитическое вмешательство с использованием обратного переноса окажется, вообще говоря, как ни странно нам это после полувекового развития аналитической теории констатировать, по сути своей опрометчивым.

Никто из авторов, о которых идет речь – ни Шаш, ни Барбара Лоу, ни, тем более, Маргарет Литтл – не может не перевести занимающий их вопрос в плоскость желания. Что касается Люсии Тауэр, самого позднего из разбираемых нами авторов, то в удивительных и глубоких признаниях относительно своего опыта, которым она с читателем делится, совершен значительный шаг вперед, на который мне вам сейчас хотелось бы указать.

Под обратным переносом разумеют в целом участие со стороны аналитика. Но самым важным является то, насколько аналитик оказывается вовлечен в анализ лично, и мнения на сей счет рознятся до полной противоположности – одни считают ответственность аналитика стопроцентной, другие, напротив, что он занимает полностью отстраненную позицию.

В статье Люсии Тауэр если не впервые замечено, то, по крайней мере, впервые четко сформулировано нечто такое, что дает нам в этом отношении правильную подсказку. Отмечая небольшие изменения, которые можно со стороны аналитика наблюдать, она характеризует обратный перенос как ту часть означающего материала, которую аналитик, получая в анализе, вытесняет.

Речь не идет о точном определении обратного переноса – такое определение дать несложно. Подобная характеристика лишает обратный перенос того важного значения, которое ему приписывают. Вопрос об обратном переносе вообще, строго говоря, никакой не вопрос, так как возник он в контексте недоразумения. Единственное, что в связи с этим действительно важно и чего ни одному автору в своих

размышлениях не миновать – это желание аналитика.

Если вопрос об этом желании не только не разрешен, но толком и не поставлен, то лишь потому, что нигде, кроме этого Семинара, в аналитической теории так и не было выработано ясной позиции в отношении того, что оно, желание, собой представляет.

Выработать такую позицию – это, понятное дело, нелегкое предприятие. Вы сами свидетели того, что я никогда не пытался решить этот вопрос с ходу. Я начал в свое время с того, что научил вас отличать желание от требования. Затем, в начале этого года, я ввел нечто новое, ввел поначалу прикровенно, намеками, желая почувствовать ваше отношение, или, как теперь говорят, реакцию – которая, надо сказать, последовала незамедлительно. Этим новым было отождествление желания и закона.

Интересно уже то, что к мысли этой, заложенной в аналитическое учение с первых его шагов, пришлось приучать – точнее, приучать заново – с такими предосторожностями. Вот почему я сегодня снова обращусь к этой мысли вновь – нам предстоит рассмотреть ее с разных сторон и посмотреть, какие выводы можно из нее сделать.

2

Итак, желание – это закон.

Сие верно не только в отношении аналитического учения, хотя в нем это, конечно, краеугольный камень. Ведь ясно, что закон, по существу своему, это желание по отношению к матери, а задает желанию норму и полагает его как таковое, наоборот, закон – так называемый запрет на кровосмешение.

Посмотрим на вещи со стороны, которую можно охарактеризовать словом, получившим в нашу эпоху актуальный смысл: эротизм.

Эдип и Сад – вот два случая, когда желание заявляет о себе в образцовой форме. Оно предстоит здесь как воля к наслаждению, причем независимо от того, приобретает оно уклон, я не говорю: садистский, а характерный для Сада, или же тот, что принято называть мазохистским.

Даже в случае извращения, когда желание выдает себя

за то, что и является, по сути дела, законом, то есть за его, закона, ниспровержение, оно остается тем, на чем закон держится. Об извращенце мы с достоверностью знаем сегодня одно: то, что извне выглядит как безграничное удовлетворение, представляет собой защиту, использование закона как силы, которая субъект на пути наслаждения сдерживает, тормозит, обуздывает. Воля к наслаждению у извращенца является, как и у любого другого, волей, которая в самом желании своем тормозится, наталкивается на присущие ему границы. Как хорошо сказал сегодня один из по моей просьбе здесь выступавших, извращенец не знает, чьему наслаждению он действиями своими служит. Ясно лишь, что не своему собственному.

Именно это помогает правильно оценить то, что происходит на уровне невроза. Невротик оказался магистральным путем, ведущим к открытию подлинной причины желания – открытия, позволившего сделать решающий шаг в области морали. Этот шаг был сделан лишь после того, как я привлек здесь ваше внимание к тому, что постараюсь как можно яснее сейчас сформулировать. Невротик показывает нам, на самом деле, что для поддержки своего желания он нуждается в установленном уже законе. Именно он ярче, чем кто-либо другой, демонстрирует своим поведением тот факт, что желать он может только согласно закону. Он бессилен представить себе свое желание иначе, как неудовлетворенным или невозможным.

Я облегчаю, разумеется, себе жизнь, говоря исключительно о страдающих истерией и неврозом навязчивости, оставляя тем самым без внимания явление, которое до сих пор вызывает у нас затруднения – то самый невроз тревоги, в отношении которого я надеюсь в этом году, в рамках нашей темы, достичь большей ясности. Не станем забывать, что именно он послужил для Фрейда исходной точкой – то, что он так и не успел к этой теме вернуться, стало для нас после его смерти невосполнимой потерей.

Сколь бы парадоксальным это на слух ни казалось, субъект тревоги возвращает нас к тому, что играет здесь решающую роль – к мифу о моральном законе. К мифу, иными словами, согласно которому всякая здравая формулировка

морального закона должна опираться на представление об автономном субъекте.

Сам факт, что в истории этических теорий понятию автономии придавалось все большее значение, свидетельствует о том, что речь идет ни о чем ином, как о защите. Нам предстоит переварить ту изначальную и очевидную истину, что моральный закон нам в принципе гетерономен.

Вот почему я настаиваю на том, что происхождение его надо искать в том, что я именую реальным. Ведь каждый раз, когда вмешательство реального имеет место, случается то, о чем говорил Фрейд: субъект выпадает и результатом вмешательства оказывается вытеснение. Явление, которое за этим словом стоит, проясняется окончательно лишь в свете синхронической функции, которую я описал некогда на своем семинаре, в первом приближении, как заметание следов.

Я говорю так, разумеется, лишь в грубом приближении, поскольку следы замести нельзя – в этом как раз апория и заключается. Для вас, впрочем, здесь никакой апории нет – ведь я для того и разработал здесь понятие означающего, чтобы эту апорию разрешить. Речь идет не о заметании следов, а о возвращении означающего к состоянию следа. Упразднение перехода от следа к означающему – вот что я попытался дать вам почувствовать, заключая след в скобки, маркируя, перечеркивая, заграждая его. Означающее – это то, что с вторжением реального взлетает на воздух. Реальное отсылает субъект назад к следу и в то же самое время упраздняет его, ибо субъекта без означающего, субъекта, через означающего не прошедшего, не существует. Означающее – это то, что представляет субъект другому означающему.

Истоки того, о чем здесь идет речь, не стоит искать в исторической перспективе, в перспективе памяти. Это было бы слишком легко. Забвение представляется чем-то материальным и настолько естественным, что кажется, будто оно происходит само собой, а между тем, стоит нам допустить существование памяти, и оно сразу окажется в том, что нас окружает, самым таинственным. Вот почему я пытаюсь вести вас в поперечное измерение, которое покуда еще не до такой степени синхронично.

Возьмем, например, мазохиста, или, как их, кажется, теперь называют, *мазо*.

В рамках явления, именуемого перверсией, это случай самый загадочный. Мазохист, скажете вы, прекрасно знает, что наслаждается, на самом деле, Другой. Иными словами, это извращенец, которого осенила истина. Перед нами, таким образом, исключение из правила, которое я только что сформулировал: извращенец не знает, кто, собственно, наслаждается. Всегда Другой, конечно: для мазо это отнюдь не секрет. Невдомек мазохисту и ставит его в ряд с другими извращенцами другое – он верит, разумеется, будто ищет он наслаждения Другого, но именно потому, что он верит в это, вовсе не этого он ищет на самом деле. Не по зубам ему простая, лежащая на самом виду и ясная как день истина, функциональную суть которой никто так и не смог по-настоящему разглядеть – в Другом он ищет тревоги.

Это не значит, конечно, что он стремится вывести Другого из равновесия. Но поскольку понять, что значит искать тревоги Другого, он не способен, своего рода здравый смысл понуждает его смотреть на вещи грубо и просто. Не видя истины, которая за ними скрыта, он оставляет раковину, в которой содержится нечто более глубокое – то, что я для вас только что сформулировал.

Вот почему нам обязательно нужно вновь обратиться к теории тревоги.

3

Что нового вносит открытое Лаканом измерение в наше представление о тревоге?

Поздний Фрейд считает тревогу сигналом, который возникает в эго и предупреждает об идущей изнутри опасности. Это знак, который для кого-то что-то репрезентирует – по Фрейду, он репрезентирует для эго внутреннюю опасность.

Используя это построение, я довожу его до логического конца и от понятия внутренней опасности отказываюсь. В свое время, вернувшись в Семинаре об этике психоанализа к топологии фрейдовского *Наброска* (*Entwurf*), я уже говорил вам, что – как бы странно это для невнимательных слу-

шателей ни прозвучало – никакой внутренней опасности нет. Нет по той простой причине, что у оболочки, которую представляет собой неврологический механизм, только одна поверхность и ничего внутреннего она поэтому в принципе не содержит: система ψ, будучи *Aufbau*, структурой, встроенной между восприятием и сознанием, расположена в другом измерении – в измерении Другого как места означающих. И уже начиная с прошлого года я говорил о тревоге как специфическом проявлении желания Другого.

Что представляет собой желание Другого, когда оно на этом уровне себя обнаруживает? Вот здесь-то значение сигнала и выясняется. Ведь если возникает он на месте, которое топологически можно определить как собственное Я, *эго*, то не значит ли это, что он адресован кому-то другому? Если местом сигнала является *эго*, значит подается он не ему. Это совершенно очевидно. Если на уровне *эго* вспыхивает сигнал, значит он призван субъекта о чем-то предупредить. А именно, предупредить о желании, то есть о требовании, которое не имеет отношения ни к какой потребности, не имеет отношения ни к чему, кроме моего собственного бытия и ставит, таким образом, под вопрос меня самого. Можно сказать, что он меня упраздняет. Если и он и адресован моему Я, то не как присутствующему, а как ожидаемому, а лучше сказать, утраченному. Он взыскует моей утраты, чтобы на месте ее водворился Другой. Вот что такое тревога.

Желание Другого не признает меня. Гегель думает иначе, и это значительно облегчает проблему, ибо если допустить, что оно признает меня, признание это никогда не будет достаточно полным, так что в борьбе за него мне придется прибегнуть к насилию. На самом деле оно не признает и не недооценивает меня – тогда дело легко решалось бы путем борьбы и насилия – оно ставит под сомнение меня самого, сам корень моего желания: не объект его, а его причину, *a*. И поскольку именно на это оно, сохраняя временное предшествование, нацелено, я бессилен порвать эту связь иначе, нежели вступив в нее.

Это временное измерение и есть тревога, это временное измерение и есть измерение, где проходит анализ. Анализ оказывается действенен для меня лишь постольку, посколь-

ку желание аналитика создает во мне измерение ожидания. Я хотел бы, чтобы аналитик видел меня таким-то и таким-то, чтобы он рассматривал меня как объект. Гегелевский подход к отношениям с другим мне удобен, поскольку все виды сопротивления ему у меня наготове, в то время как в другом измерении, в измерении, о котором я говорю, они пробуксовывают. Надо лишь понять, что желание собой представляет. Функция, которую оно выполняет, лежит не только в плане борьбы, но и там, где Гегель, имея на то основательные причины, искать его решительно не хотел – в плане любви.

Чем упорнее я об этом думаю и чем больше говорю, тем более мне кажется важным эти вещи проиллюстрировать. Вы найдете в статье Люси Тауэр историю любви двух, как говорили после войны, в том числе и о женщинах, хороших людей. В одном случае, субъект сумел расценить происходящее с ним как любовь. В другом ему это не удалось и автор объясняет нам, почему. Я упоминаю об этом, чтобы вы задумались над тем фактом, что если и нашлись несколько человек, которые сумели сказать об обратном переносе нечто осмысленное, то все они без исключения женщины.

А Микаэль Балинт? – возразите вы. Да, но ведь статью свою он написал вместе с Алисой. Элла Шарп, Маргарет Литтл, Барбара Лоу, Люси Тауэр. Все, кто на этот предмет сказали что-то действительно интересное, в подавляющем большинстве своем – женщины. И проблема немедленно разъяснится, если взглянуть на нее со стороны, о которой я говорю – со стороны функции, которую выполняет в любви желание. Вы вполне созрели уже, чтобы услышать от меня давно известную истину, которой не всегда уделялось, однако, подобающее внимание: активно вмешиваясь в любовь и даже находясь в ее центре, желание при этом не имеет к предмету любви ни малейшего отношения.

Пока эта основоположная истина, вокруг которой и разворачивается подлинная диалектика любви, остается для вас чем-то привходящим, унижением, *Erniedrigung*, которой подвержена бывает любовная жизнь, эдипом, попадающим в собственную ловушку, вы совершенно ничего не поймете в том, как вопрос о желании аналитика следует

ставить. Чтобы уразуметь топологию, в которую перенос может быть вписан, нужно исходить из опыта любви, что я в семинаре, посвященном переносу, и сделал.

Я понимаю, что прерывая здесь свою речь, создаю у вас впечатление незаконченности. Прозвучавшая у меня под занавес формула может сойти за простую паузу, заголовок следующей лекции или вывод из этой – на ваше усмотрение. Хорошо, если она покажется кому-то камнем преткновения; если банальностью – еще лучше.

Так или иначе, именно с нее начнем мы следующую нашу встречу – она поможет нам точно определить сигнальную функцию тревоги и то, к чему сигнал этот позволяет приблизиться.

27 февраля 1963 года

ТРЕВОГА МЕЖДУ НАСЛАЖДЕНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ

XII
ТРЕВОГА, СИГНАЛ РЕАЛЬНОГО

Страхи Чехова
Сосок и опадающий объект
Агата и Люсия
Извращение и тревога Другого
От детумесценции к кастрации

Итак, мы с вами по-прежнему на подходе к тревоге – к тревоге, которая, как я вам уже дал понять, сама является своего рода подходом.

После того, что я успел вам о тревоге сказать, вы догадываетесь, конечно, что она вовсе не то, за что принимает ее досужая публика.

Между тем, перечитывая основные посвященные тревоге работы, вы убедитесь, что все, чему я учу, там присутствует – просто все это завуалировано, замаскировано, скрыто под жестким панцирем формул, свидетельствующим, пожалуй, о чрезмерной предосторожности.

У наиболее проницательных авторов проскальзывает, впрочем, то самое, о чем говорю и я: тревога не *objektlos*, она объекта не лишена.

1

В приложении В, озаглавленном *Ergänzung zum Angst, Дополнительные замечания к теме тревоги*, работы Фрейда *Hemmung, Symptom und Angst*, можно найти фразу, где автор говорит о неопределенности тревоги, ее *Objektlosigkeit*. Нет нужды напоминать вам содержание статьи – скажу лишь, что с характеристикой тревоги как лишенной объекта согласиться нельзя. Посмотрите у Фрейда на предыдущую фразу и вы увидите, что он сам говорит о тревоге как тревоге *перед чем-то*, *Angst vor etwas*.

Можем ли мы довольствоваться такой формулой? Конечно, нет. Мы должны пойти дальше и описать эту структуру подробнее. Ведь она разительно противоположна той, которую я только что предложил, помещая причину желания *позади* желания. Каким образом переместилась причи-

на в позицию *перед* ним? Не исключено, что суть проблемы надо искать, в частности, здесь.

Как бы то ни было, следует подчеркнуть, что мы оказываемся здесь перед лицом традиционной, почти литературной темы – противопоставление страха и тревоги давно стало общим местом. Все авторы, отправляющиеся от семантики этих двух слов, поначалу обязательно противопоставляют их. Некоторые, правда, затем сближают, или даже сводят эти понятия в одно, но лучшие из них себе этого не позволяют. Противоположность страха и тревоги связывают, как правило, с отношением их к объекту, подчеркивая при этом – типичная ошибка – что у страха, в отличие от тревоги, объект есть.

Итак, страх имеет, якобы, дело с *Gefahr*, объективной опасностью, *Gefärdung*, угрозой, опасной для субъекта ситуацией. На этом стоит остановиться. Что такое опасность? Нам скажут, что по природе своей страх адекватен, отвечает, *entsprehend*, объекту, от которого исходит опасность.

Посвященная проблеме тревоги статья Гольдштейна, на которой мы сейчас остановимся, очень показательна – мы имеем дело с автором, опрометчивым в своих суждениях, но сумевшим, тем не менее, сделать в отношении нашего предмета немало ценнейших наблюдений. Он настаивает на том, что страх предметно ориентирован, и можно подумать, читая его, будто все содержание страха сводится к обнаружению объекта и организации ответных мер: внешний мир, *Umwelt*, противостоит здесь, *entgegenstellt*, тому, что служит субъекту от него оградой.

Я уже говорил, по-моему, что на этот счет есть у Чехова даже не рассказ, а небольшой очерк, зарисовка, переведенная на французский под заголовком *Frayeur*. Я пытался установить русское ее название, но безуспешно, так как текст этот, во французском издании точно датированный, ни один из моих русскоговорящих слушателей так и не сумел в русских изданиях, где произведения, кстати сказать, расположены хронологически, обнаружить. Это досадно, и меня это, признаться, не на шутку расстроило.

Речь идет о страхах, которые пережил автор некогда на своем опыте. Путешествуя однажды полем на дрогах

в сопровождении мальчика, который правил лошадью, он увидал вдали на заходе солнца знакомую колокольню. Приблизившись, он разглядел в окошке, на верхнем ярусе, куда взобраться, он точно знал, не было никакой возможности, загадочно мерцающий огонек, на отраженный свет совсем не похожий. Перебрав в уме все возможности, он так и не нашел этому явлению объяснения и в этот момент испытал что-то такое, что тревогой, судя по его описанию, не назовешь, и что французский переводчик как раз и передал словом *frayeur*, испуг. Чувство, пережитое здесь автором, относится к разряду страха, а не тревоги. То, чего он боится, не представляет для него угрозы, это лишь форма проявления неизвестности.

Второй пример. Мимо автора проносится по железной дороге вагон, своего рода вагон-призрак, поскольку объяснить его появление он не способен. Вагон мчится со страшной скоростью и исчезает за поворотом. Откуда он взялся? Куда направляется? Это неожиданное явление, ни в какую разумную причинно-следственную цепь не укладывающееся, повергает его в настоящую панику, тоже имеющую природу страха. Угрозы для него случившееся не несет и признаки тревоги отсутствуют: в глубине своей субъект остался не задет, не затронут.

Третий пример: автор встречает породистую собаку, чье появление в этом месте и в это время необъяснимо. На ум ему приходит таинственная собака Фауста. Страх и здесь возникает из неизвестности. Автор не знает, в какой форме явится ему черт. Страх внушает ему не предмет, не собака – боится он чего-то другого: того, что скрывается за собакой.

Обычно настаивают на том факте, что в принципе страх вызывает адекватные ситуации действия, то есть обращает в бегство. Доверие к этому положению подрывает тот факт, что во многих случаях страх, напротив, парализует субъекта, тормозит его действия, вносит в них беспорядок, погружает его в смятение, которое в ситуации более чем неуместно. Так что искать отличительные признаки тревоги надо в чем-то другом.

Не подумайте, будто говоря, что тревога объекта не лишена, я делаю это ради красного словца, эффектного пара-

докса. Конечно, само понятие *объекта*, которое я давно уже вырабатываю, несет у меня иной смысл, нежели у авторов, рассуждающих об объекте страха. В моей формулировке речь идет о субъективированном отношении. Она знаменует собой рубеж, с которого я собираюсь сегодня двинуться вперед.

Что разумеет Фрейд под *vor etwas* понять нетрудно, так как в статье его об этом на каждом шагу так или иначе идет речь. Он имеет в виду, конечно, опасность, *Gefahr* или *Gefärdung*, опасность внутреннюю, приходящую изнутри. Я уже говорил вам: нам важно на понятии опасности не успокаиваться. Я только что показал, насколько проблематичным оно оказывается в применении к внешней угрозе. Что предупреждает субъекта о том, что он перед лицом опасности? Что, как не сам же страх, а, может быть, и тревога? Что касается внутренней опасности, то этот термин может получить смысл, связанный с функцией структуры, которая подлежит сохранению, то есть он соотнесен с тем, что мы обычно именуем защитой. Сам термин *защита* внутреннюю опасность подразумевает, но яснее от этого она не становится.

Попробуем шаг за шагом эту структуру исследовать и понять, где именно собираемся мы обнаружить ту сигнальную черту, которую Фрейд счел наиболее подходящей, чтобы показать нам, аналитикам, как можем мы функцией тревоги воспользоваться.

Только понятие реального, в той неясной функции, которую я ему приписываю, противопоставляя ему понятие означающего, помогает нам правильно сориентироваться. Уже сейчас мы можем сказать, что *etwas*, о котором тревога предупреждает, принадлежит по своей природе реальному – реальному, которое неустранимо. Именно это имел я ввиду, решившись сказать, что среди всех сигналов тревога является тем единственным, что нас не обманывает.

Итак, реальное, предстающее в опыте как нечто неустранимое – вот чему тревога служит сигналом. Это и есть путеводная нить, которой я призываю вас в дальнейшем держаться. Посмотрим, куда она приведет нас.

2

Место этого реального можно вписать, пользуясь знаком черты, в операцию, которая носит в арифметике название деления.

$$\begin{array}{c|c} A & S \\ \hline a & \not{A} \\ \$ & \end{array}$$

Третья схема деления

Я уже объяснял вам, в каких обстоятельствах процесс субъективации имеет место: субъекту предстоит сформироваться в месте Другого под видом означающего на основе того запаса означающих, который в этом месте уже был накоплен, – сокровища, имеющего для возникновения человеческой жизни не меньшее значение, нежели все то, что разумеем мы в понятии природного мира, *Umwelt*. Сокровище означающих, где субъекту уготовано место, ожидает его, хотя на этом мифическом уровне субъекта, как такового, не существует. Существование он получит лишь благодаря означающему, – означающему, которое предшествует субъекту и является для него образующим началом.

Итак, субъект совершает в А первую операцию – операцию, представляющую собой вопрос. Сколько раз это происходит? Предположим, что операция эта имела место. Тогда обнаружится различие между А-ответом, отмеченным знаком вопроса, с одной стороны, и А-данностью, неустранимым остатком субъекта как такового, с другой. Это последнее и есть *a*, несводимый остаток, который возникает в результате операции воцарения субъекта в месте Другого, – именно этим его функционирование и обусловлено.

Отношение между этим S и *a*, *a*, представляющим то неистребимо реальное, что в S содержится, записано в таблице как «*a* над S». Операция деления выливается в эту формулу, поскольку в А не имеется, так сказать, для *a* и S общего знаменателя. Что нам остается делать, если мы хотим как положено операцию завершить? Мы записываем остаток в числитель, а делимое в знаменатель. $\$$ равно *a* деленному на *S*.

$$\not{S} = \frac{a}{S}$$

Поскольку остаток этот выпадает, если можно так выразиться, в результате операции формирования субъекта в осадок, в нем без труда обнаруживается, по аналогии с исчислением, структурный аналог утраченного объекта. Именно с этим последним и сталкиваемся мы в желании, с одной стороны, и в тревоге, с другой. Причем в тревоге мы имеем с ним дело в момент, который моменту, в который сталкиваемся мы с ним в желании, логически предшествует.

A	S	*x*
a	$\not{A}$	*тревога*
$\not{S}$		*желание*

Тревога между х и желанием

Чтобы обозначить как-то три этажа нашей операции деления, скажем, что в верхней строке у нас *x*, назвать который мы можем лишь задним числом, – это, собственно говоря, подход к Другому, та перспектива, в которую субъект в принципе себя должен поставить. Ниже мы имеем уровень тревоги, которым обусловливается появление функции *a*, еще ниже, на третьем уровне, возникает $\not{S}$ как субъект желания.

Чтобы дать жизнь только что нарисованной мной отвлеченной схеме, я воспользуюсь очевидностью, которой обладает образ, – с тем большим правом, что речь как раз об образе и идет, что наше неистребимое *a* имеет образную природу. Тот, кому довелось объектом закона и желания овладеть, тот, кто насладился собственной матерью – я говорю, разумеется, об Эдипе – делает вслед за этим еще один шаг: он узревает, что он содеял. Вы знаете, что в этот момент происходит. Как сказать то, что несказуемо по природе, но вызывает при этом к жизни определенный образ? Эдип видит содеянное им и вследствие этого видит мгновенье спустя свои собственные глаза, их вздутую остекленевшую массу, лежащими в грязи, как куча дерьма. Когда я произношу слово *видит*, язык у меня немеет, поскольку, вырвав свои глаза из орбит, герой, естественно, потерял зрение. И все же

Эдип не остается без зрелища собственных глаз, собственных глаз как таковых, как разоблаченного, наконец, объекта-причины последнего, высшего, не обремененного виной безграничного вожделения – вожделения к знанию.

Традиция утверждает даже, что только с этого момента и становится он поистине зрячим – недаром провидит он в Колоне будущую судьбу Афин.

Что представляет собой момент тревоги? Быть может, тревога – эта сама возможность жеста, который сделал Эдип, вырвав себе глаза и принеся их в жертву, как выкуп за то ослепление, которое было ему предписано судьбой? Неужели тревога – это данная человеку возможность искалечить себя? Разумеется, нет. Тревога – это именно то, что мой образ призван до вас донести, это грозящее вам невозможное зрелище ваших собственных брошенных на землю глаз.

Этот образ всегда останется для вас к явлению тревоги самым надежным ключом, в каком бы виде перед вами она ни предстала.

Сколь бы вызывающим, нарочитым ни могло показаться то, что область, очерченная тревогой, оказывается у меня столь узка, образ этот, на первый взгляд, из ряда вон выходящий, никакой надуманностью не отличается. Ничего эксцентричного в моем выборе нет. Встретить его – самое обычное дело.

Пойдите на первую попавшуюся выставку, ту, например, что открыта сейчас в Музее декоративных искусств, и вы обнаружите там два полотна Сурбарана, одно из Монпелье, другое из Нанта, на которых изображены мученицы – то есть, свидетельницы – Люсия и Агата. Одна из них несет на блюде свои глаза, другая – груди.

Тревогу вызывает не то, что глаза были вырваны из орбит, а груди отрезаны. Нельзя, кстати, сказать, чтобы эти принятые в христианской иконографии образы вызывали у публики какое-то неприятие, хотя иные, по причинам не самого лучшего свойства, и воротят от них порою свой нос. Так, Стендаль, говоря о Сан Стефано иль Ротондо в Риме, находит украшающую ее стены живопись отвратительной. Она действительно достаточно безыскусна, чтобы о содер-

жании ее появился повод задуматься, но что касается очаровательных дам Сурбарана, то демонстрируя нам на блюде эти объекты, они открывают нашему взору лишь то, что при случае – и мы от таких случаев не отказываемся – могло бы стать для нас объектом желания. У тех из нас, кто принадлежит к обычному разряду людей, образы эти ни малейшей тревоги не вызывают.

Чтобы это произошло, субъект должен быть этим образом лично затронут – он должен, к примеру, оказаться мазохистом или садистом. Я имею в виду не тех, кого преследуют порой садистские или мазохистские фантазии, а подлинных, настоящих садистов и мазохистов, чье положение, чье состояние мы можем путем последовательных исключений определить, сопоставить, реконструировать. Не сделав этого, мы не сможем продвинуться в объяснении их позиции дальше того, что выдается многими за *Erlebnis* – термин, более подходящий для невротика – но что является на самом деле лишь образом чего-то лежащего по ту его сторону и составляющего в позиции извращенца то специфическое, на что может опереться и чем может воспользоваться невротик в целях, о которых мы поговорим в дальнейшем. Итак, попробуем предварительно сформулировать, в чем позиции садиста и мазохиста, соответственно, состоят. Именно тревога дает ключ к тому, чем образы Люсии и Агаты могут быть интересны. Но ключ этот надо прежде найти.

Мазохист – я уже обсуждал с вами в последний раз эту тему – какова его позиция? Что скрыто под маской его фантазма, где он служит Другому как объект наслаждения – фантазма, за которым стоит иная воля к наслаждению, его собственная, ибо, как напомнил я некогда в рассказанной здесь юмористической притче, мазохист не всегда находит себе подобающего партнера. Что иное маскирует эта позиция объекта, как не стремление соединиться с самим собой, обратиться в человеческое отребье, в тот жалкий ошметок плоти, который видим мы на полотнах? Вот почему я утверждаю, что наслаждение Другого – это цель чисто фантазматическая. Что субъект в действительности у Другого ищет, так это ответа на свое погружение на самое дно убожества, а ответ этот и есть тревога.

Где он, тот Другой, о котором идет речь? Не случайно возникает в этом кругу третий, всегда присутствующий в извращенном наслаждении, полюс. Здесь налицо принципиальная двусмысленность дуальных, на первый взгляд, отношений. Можно, на самом деле, сказать – и множество исторических черточек послужат тому подтверждением – что тревога эта, к которой мазохист стремится слепо, так как она скрыта от него под маской фантазма, ничуть не в меньшей степени является в действительности тревогой Бога.

Нужно ли мне в подтверждение напоминать вам о мифе, на котором зиждется христианство? Ведь картой, на которую в христианской авантюре сделана ставка, является начинание, воплощенное в судьбе человека, чьи слова еще предстоит нам расслышать заново: именно он довел до крайних пределов тревогу, круг которой замыкается на самом деле лишь на уровне того, для кого жертвоприношение и было учреждено – на уровне Бога-Отца.

У Бога души нет. Это очевидно – ни одному богослову и в голову не приходило Ему душу приписывать. И все же радикальному изменению перспективы отношений с Богом положила начало драма страстей – драма, где некто соделался душой Бога. Место души находится на уровне *а*, остатка, выпавшего в осадок объекта. Любому сколь-нибудь органичному представлению о душе и той драматической обстановке, в которой это понятие в нашем бытии и нашей душе является и функционирует, обязательно сопутствует образ падения. Все, о чем говорит Кьеркегор, отсылает нас к тем же основополагающим структурным ориентирам.

Обратите внимание: начал я с мазохиста. Это труднее всего, но зато позволяет избежать путаницы, так как идя в этом направлении проще понять, что представляет собой садист, и не попасть в ловушку, приняв его за мазохиста наоборот – как обычно и происходит, с той разницей, что первичной позицией оказывается садистская.

У садиста тревога не спрятана так глубоко. В фантазме садиста, которому нужно, чтобы жертва его непременно испытывала тревогу, он выходит даже, можно сказать, на поверхность. Но это как раз и должно показаться нам подозрительным.

Чего ищет садист в Другом? Ведь ясно, что Другой для него существует, и тот факт, что садист принимает его за объект, вовсе не дает повода полагать, будто здесь налицо незрелые, догенитальные отношения. Без Другого здесь не обходится – именно это я и хотел подчеркнуть, когда в семинаре по этике сопоставил Канта с Садом, показав, что в попытке поставить Другого радикальным образом под вопрос Сад доходит до того, что симулирует, и притом не случайно, требования морального закона: они-то и показывают как раз, что отсылка к Другому как таковому входит в его расчеты.

Чего же он ищет? В ответе на этот вопрос те самые тексты Сада, что в других отношениях так уязвимы для критики, оказываются очень ценными – в них обнаруживаются странные моменты, неожиданные отступления, резко выделяющиеся на фоне действия. Вы сами сможете найти в *Жюльетте* и в *Ста двадцати днях* отрывки, где персонажи, утоляющие на избранных ими жертвах свою жажду мучительства, впадают внезапно в необычное и любопытное состояние транса, находящее выражение в странных словах, которые я не могу здесь не привести: *У меня была*, вскрикивает мучитель, *кожа ее манды*.

Перед нами деталь, которая отнюдь не лежит в привычном для воображения русле. Ее привилегированный характер, особый энтузиазм, сопровождающий ее появление в кульминационный момент главы как боевого трофея – все говорит о том, что ищет садист не что иное, как изнанку субъекта: не случайно сама женская природа жертвы вызывает в воображении образ вывернутой перчатки. Речь идет о переходе вовне того, что было внутри. Но обратите внимание: из текста видно, что момент этот остается для субъекта совершенно непроницаем и скрывает от него признаки собственной его тревоги.

То немногое, что можем мы узнать о подлинных отношениях садистского типа из текстов, которые, пытаясь это отношение объяснить, поворачиваются к фантазму спиной, наводит, тем не менее, на мысль о том, что функция агента, мучителя, носит чисто инструментальный характер – разглядеть цели собственных действий он способен поэтому разве что в момент озарения.

Его действия носят черты работы, имеющей прямое отношение к Богу. В текстах Сада Бог дает о себе знать повсюду. Стоит маркизу о Верховном Злодее хоть раз заикнуться, как тут же ясно становится – как для автора, так и для говорящего – что именно о Боге у него идет речь. Садист безумно, отчаянно, рискуя видимой целью своей, стремится реализовать то, о чем Сад, слава Богу, говорит прямо, избавляя нас от необходимости его мысль самостоятельно реконструировать – он стремится реализовать наслаждение Бога.

Я полагаю, что достаточно ясно показал вам ту игру в прятки, посредством которой тревога и объект выступают у садиста и мазохиста, одно за счет другого, на первый план.

В обоих структурах обнаруживается принципиальная связь тревоги с объектом поскольку этот объект выпадает. Его главная функция состоит в том, чтобы быть остатком субъекта, остатком в качестве реального.

А это вынуждает нас, ясное дело, подчеркнуть лишний раз реальный статус этих объектов.

3

Переходя к следующей главе, я не могу не посетовать на то, насколько уже отмеченная нами принадлежность объектов к регистру реального оказалась недопонята и проигнорирована людьми, которые почитают долгом опираться на биологию.

Это дает повод обратить внимание на ряд существенных деталей, которые мне хотелось бы, в меру своих сил, пусть даже и раньше времени, разъяснить. И в самом деле, коли уж мы о них, о глазах Святой Агаты, заговорили, почему бы нам, воспользовавшись подходящим моментом, не поразмыслить о том, о чем я давно уже вам толкую? – о том, что тревога обнаруживается в расставании. Ведь перед нами объекты, которые в принципе от владельца своего отделимы. Отделимы не просто по воле случая, как лапки кузнечика, а как нечто такое, что чисто анатомически носит характер накладки, чего-то прикрепленного снаружи.

Подобные анатомические детали типичны для эволюционной ступени животного мира, носящей название млекопитающих. Интересно, что на означающий характер этой

черты никто до сих пор так и не обратил внимания. Похоже, между тем, что среди черт, которые эту группу объединяют, есть, со структурной точки зрения, вещи поважнее соска – ведь особи, принадлежащие к ней, обладают целым рядом других однородных черт. Выбор соска в качестве родового признака не был, конечно, ошибкой, но перед нами явно пример того случая, когда психологическая важность определенных значимых для нас черт сыграла в работе объективации свою роль.

Деление животных на живородящих и яйценосных на самом деле только сбивает с толку. Все они живородящи, поскольку формируют яйца с живым существом внутри, и все яйценосны, поскольку нет живородящих животных, которые не зародились бы внутри яйца.

Почему, по аналогии с тем, что говорил я вам уже о груди, не оценить по достоинству тот факт, что яйца, развивающиеся некоторое время внутри утробы, погружены в не сводимую к делению яйца стихию, именуемую плацентой? Ведь здесь тоже налицо нечто внешнее, накладное. Ведь не из матери, в конечном счете, выкачивает молоко ребенок, а из ее груди. И именно наличие плаценты позволяет ребенку вести в теле матери паразитарное существование, что нередко на уровне патологии обнаруживается. Я обращаю, как видите, ваше внимание на привилегированное значение элементов, которые можно назвать амбоцепторами.

Кому принадлежит грудь? Тому, кто сосет, или тому, кого сосут? Аналитическая теория, сталкиваясь с этой двусмысленностью, не раз вынуждена была признать, что мать и ее грудь не одно и то же. Но устраним ли мы трудность, квалифицировав грудь как частичный объект? Говоря *амбоцептор*, я подчеркиваю тем самым, что определить отношение к груди самой матери как субъекта не менее важно, чем определить отношение к ней грудного ребенка. Линия разреза для них не одна и та же.

Существуют два разреза настолько друг от друга далеких, что обусловленная ими утрата носит для матери и ребенка совершенно разный характер. Для ребенка перерезание пуповины означает расставание с однородными ему и представляющими собой продолжение его экто– и эндодермы

оболочками. Для матери, разрез происходит на уровне выпадения плаценты. Именно поэтому и называют плаценту по-французски «выпадом». Выпадение объекта *a* здесь налицо – оно и есть его функция. Именно падение, *niederfallen*, является для *a*, при сближении с ним, типичной чертой, хотя для субъекта объект этот куда важнее любой другой из его частей.

Наметив вкратце эти линии расставания, я сделал это не для того, чтобы подтолкнуть вас к поспешным выводам, а для того, чтобы сразу перебраться на уровень, к которому это вопрошание нас ведет – на уровень кастрации.

Здесь мы тоже имеем дело с органом. Нельзя ли, по аналогии с образом, о котором сегодня шла речь, поискать указаний на то, что тревога лежит в иной плоскости, нежели угроза кастрации – т. е. за пределами того, что я назвал возможным жестом?

В рассуждениях на подобные темы не обходятся обычно без биологии, причем подходят к ее данным с удивительным легкомыслием. Пенис не всегда выступает как что-то явное. Есть множество насекомых, в разной степени отвратительных, у которых имеется жало. А жало – для чего оно только не служит. Я не собираюсь читать вам курс сравнительной анатомии, вы можете сами посмотреть это в книжках, я вам при случае скажу, в каких, но знайте, что жало часто служит органом совокупления.

О брачных радостях тараканов мы ничего не знаем. Ничто не говорит, впрочем, что они таковых лишены. Всегда ли наслаждение находится с совокуплением в тесной связи? Вполне возможно, но нам это сейчас неважно. У нас есть все основания предположить, что мы в этом сходны с млекопитающими, которые стоят к нам в животном мире ближе всего. Предположим как само собой разумеющееся, что закон этот распространяется и на насекомых, что и у них наслаждение связано с жалом. Дело в том, однако, что чем бы они для совокупления не пользовались – жалом, когтем, или чем-то еще – разбухание и спад этому предмету обычно не свойственны.

Тот факт, что у нас – ограничимся пока нами – наслаждение оргазма совпадает с выходом из строя органа за счет

детумесценции, нельзя поэтому считать чертой, являющей суть, *Wesenheit*, организма: термин Голдштейна. Если подумать, в совпадении этом строгой необходимости нет и для человека она не заключена, так сказать, в природе вещей.

Первоначально Фрейд интуитивно усматривал источник тревоги в *coitus interruptus*, природа которого такова, что орган, нацеленный на определенную функцию, неожиданно лишается возможности ее выполнить, ибо значение оргазма состоит, как обычно предполагается, в удовлетворении обеих сторон. Тут возникают вопросы, которые я сознательно оставляю пока в стороне – скажу лишь, что главная функция тревоги связана у Фрейда с моментом, когда оргазмическое возбуждение теряет связь с органом, который оно предназначено пустить в ход. Даже если эякуляция произойдет, семя окажется выброшено наружу: тревога провоцируется выводом орудия наслаждения из строя. В фокусе субъективности оказывается спад фаллоса.

Но ведь спад этот происходит и в случае, когда оргазм протекает нормально. Детумесценция в совокуплении заслуживает особого внимания, позволяя выявить в кастрации еще одну сторону. Тот факт, что значение фаллоса в жизненном опыте человека определяется не столько его присутствием, сколько возможностью его пропажи, говорит о том, что в истории желания кастрации принадлежит законное место. Важно не забывать об этом, так как пока структурное различие между желанием и измерением наслаждения не найдено и пока вопрос о том, как соотносятся в каждом из партнеров желание, то есть желание Другого, и наслаждение, не поставлен, мы обречены с вами оставаться в потемках.

Но благодаря Фрейду мы знаем теперь, где расщепление между желанием и наслаждением берет начало. Уже одно это граничит с чудом. Благодаря прозрению Фрейда, исключительно рано постигшему характер кастрации, функция ее нам ныне известна. Кастрация теснейшим образом связана с объектом, отмеченным чертами ветхости, упадка, спада. Черты эти принадлежат к самой его сути. Лишь исходя из него становится видно, почему, собственно, аналитики заговорили о частичном объекте. На самом

деле, скажу сразу, частичный объект – это изобретение невротика. Это фантазм. Именно невротик делает из него частичный объект.

Что до оргазма, то он существенно связан с функцией, которую мы определяем как выпадение, провал, того, что является в субъекте самым реальным. Разве не были те из вас, кто имеет опыт аналитической работы, многократно тому свидетелями? Вы наверняка не раз выслушивали рассказ о том, как субъект испытал свой, если не первый, то один из первых оргазмов в момент, когда ему нужно было срочно сдавать сочинение или законченный второпях рисунок. Что отбирают у него в этот момент? Его работу, то главное, чего от него ждут. Ее буквально отрывают от него силой. И вот в этот момент, в момент сбора работ, эякуляция и происходит. Субъект эякулирует на пике тревоги, в ее кульминационный момент.

Нам часто приходится слышать о пресловутой эротизации тревоги. Но разве не важно для начала понять, как вообще тревога соотносится с эросом?

В следующий раз мы рассмотрим те стороны, которыми обращена тревога, соответственно, к наслаждению и желанию.

6 марта 1963 года.

XIII
АФОРИЗМЫ О ЛЮБВИ

Отрицание по-русски
Желание и профессор
Субъект наслаждения
а не является означающим
Мужчина и женщина

Страхи
У страха глаза велики
Я боюсь, чтоб он не пришёл
Небось боюсь, что он не придёт[2]

После того, как я пожаловался в прошлый раз, что не могу найти слово, стоявшее в заголовке чеховского рассказа, на который указал мне Пьер Кауфман, многие из присутствовавших поспешили прийти мне на помощь. Пьер Кауфман, хоть он и не говорит по-русски, сообщил мне сегодня точное заглавие, которое я попросил Смирнова, для которого этот язык родной, мне вкратце прокомментировать.

Я едва решаюсь произнести эти слова вслух, не зная толком, как их следует выговаривать. Заглавие звучит по-русски как *страхи*, множественное число от *страх*. Перевести его, как и все другие слова, означающие боязнь, страх, ужас, тревогу, муки агонии, задача нелегкая. Это напоминает, как мне пришло сейчас в голову, проблему перевода слов, означающих цвета: границы их значений тоже рознятся от языка к языку. Как бы то ни было, из споров находящихся здесь русскоговорящих слушателей можно, кажется, заключить, что в прошлый раз я был прав: давая это заглавие, Чехов не имел тревоги в виду.

По поводу этого мне хочется кое о чем вам поведать. Чеховским примером я воспользовался на прошлом занятии лишь затем, чтобы исподволь подтвердить высказанный мной тогда, уже не в первый раз, парадоксальный тезис: тревога объекта не лишена. Мне было интересно подвести вас к этой мысли, показав, что страх, напротив, отлично можно представить себя без объекта вообще. Но вопроса о том, что представляют собой обрисованные в

[2] *В оригинале - на русском* (прим. пер.)

рассказе Чехова испуги, страхи и ужасы, это, разумеется, далеко не исчерпывает. Здесь самое место указать вам на то, что в предыдущей работе посвященной чеховским страхам Пьер Кауфман постарался сформулировать проблему со всей возможной точностью.

Прежде, чем начать, я хотел бы поделиться с вами еще одной находкой, которой я тоже обязан Кауфману.

Он выяснил, что самым обычным способом описать чувство страха является по-русски сказать *я боюсь*. Больше того, он нашел в русском и ту функцию эксплетивного отрицания, о которой я в свое время так много вам говорил. Я имею в виду фразы типа *je crains qu'il ne vienne* (*я боюсь, как бы он не пришел*) – говоря это, вы боитесь, что он, наоборот, придет. Сказать, что *не* выражает здесь разногласие, имея в виду разногласие между страхом, что он придет, и надеждой, что он все-таки не придет, было бы явно мало. На мой взгляд, перед нами ни больше ни меньше, как означающий след того, что я называю субъектом акта высказывания, который с субъектом высказывания как такового не совпадает.

Похоже, что в русском, однако, функция, которую я приписываю эксплетивному *не*, выражена еще ярче: оно репрезентирует здесь сам субъект акта высказывания как таковой, а не просто то, что он чувствует. Если я Смирнова правильно понял, на разногласие внутри фразы указывает в русском еще один, особый нюанс. *Чтоб*, требующее эксплетивного *не*, несет в себе дополнительный оттенок: в отличие от *что* следующей фразы, *чтоб* наделяет глагол своего рода условным значением, так что разногласие оказывается маркировано уже на уровне буквы *б*. Так что с точки зрения означаемого эксплетивный момент отрицания выражен в русском сильнее.

Но функционирует он, тем не менее, в обоих языках, хотя вопрос об интерпретации его остается открытым. Свое решение я только что предложил.

Итак, с чего мне предстоит начать?

1

Как ни странно, но именно сегодня утром, размышляя о грядущем занятии, я вспомнил, как один из самых умных

пациентов – а такие всегда находятся – пристал ко мне с вопросом: *почему вы так бьетесь, чтобы все это до них донести?* Это были как раз те годы, когда я много времени уделял сухим лингвистическим выкладкам и исчислению вероятностей.

Я сказал тогда себе, что разговор о желании преподавателя может послужить в тему желания аналитика неплохим введением.

У меня есть причины, чтобы на эту тему сейчас не распространяться, но когда меня начинает одолевать проявляющееся на уровне так называемого человеколюбия чувство вины, когда случается мне подумать о том смятении, которое рискую я в души внести, в качестве оправдания мне приходят в голову странные вещи – я говорю себе, к примеру, что не произойди в 1953 году известного раскола, я бы за преподавание ни за что не взялся. Но это неправда. Конечно, я и вправду с удовольствием посвятил бы себя делам более конкретным, от которых легче было бы, при необходимости, оторваться, но это, собственно говоря, ничего не меняет.

Тот факт, что вопрос о желании преподавателя можно кому-то задать, является знаком того, что вопрос этот, как сказал бы господин де Ла Палис, существует. А заодно и знаком того, что имеет место преподавание. И это наводит нас, в конечном счете, на любопытную мысль о том, что там, где таким вопросом не задаются, наверняка есть профессор. Профессор налицо всякий раз, когда ответ на этот вопрос, так сказать, написан. Написан на его лице и читается в поступках, обусловленных той обработкой, что прошел он на уровне так называемого предсознательного, то есть чего-то такого, что, откуда бы оно ни происходило, легко вывести из характера учреждения, где он работает, и склонностей, которые он питает.

Небесполезно отметить, что профессором тогда следует называть того, чьим предметом является его собственное преподавание. Того, иными словами, кто его, преподавание, кроит. Понимай люди, что речь идет о своего рода коллаже, это позволило бы профессорам добиваться в своем деле совершенного мастерства, путь к которому коллаж,

возведенный в достоинство художественного произведения, как раз и указывает. Если бы они, работая над своим коллажом, меньше заботились о смягчении контрастов и согласованности частей, у них появился бы шанс достичь того самого, к чему стремится коллаж как искусство, то есть вызвать в представлении ту утрату, которую даже фигуративное произведение, если оно подлинно, ищет передать. Последуй они этим путем, они как раз и осуществили бы то, к чему любое обучение, собственно, призвано.

Сказанного довольно, чтобы понять место преподавания и воздать долг уважения и благодарности тем, кто взял на себя труд придти сюда и мой труд преподавателя оценить.

Поскольку мне часто приходится иметь дело со слушателями, которые не посещают мои занятия регулярно, я выступлю на время в качестве специалиста по себе самому и напомню вам в основных чертах то, о чем говорил в прошлый раз.

Исходя из различия между тревогой, с одной стороны, и страхом, с другой, я попытался, для начала, по крайней мере, опрокинуть привычные представления о характере их различия, на которых исследователи в последнее время остановились.

Нельзя, разумеется, говорить просто-напросто о том, что одно, мол, переходит в другое. Даже если следы подобного представления у Фрейда можно найти, приписывать ему идею о сведении одного к другому было бы явной ошибкой. Несмотря на то, что термин *objektlos* время от времени у Фрейда проскальзывает, он недвусмысленно заявляет, что тревога – это *Angst vor etwas*, тревога перед чем-то. И делает он это явно не для того, чтобы свести тревогу к отдельной форме страха или боязни, так как разница в происхождении того, что тревогу и страх, соответственно, провоцирует, формулируется у него очень четко. Исходя из того, что я сказал здесь мимоходом о страхе, не стоит, наверное, слишком сильно противопоставлять страх перед чем-то, *entgegenstehen*, страху как реакции, *entgegen*.

Тревога, напротив, затрагивает, заботит, цепляет субъекта в сокровеннейшей глубине его существа. Уже в феноменологическом плане начатки этого дают себя знать. Я уже

напоминал по этому поводу о тесной связи тревоги с так называемыми механизмами защиты и лишний раз, двигаясь в этом направлении, отметил, что именно с реального нужно начинать поиски того, что нас в тревоге никогда не обманывает.

Это не значит, будто понятие того, на что тревога обращена, реальным исчерпывается. Тревога обращена в реальном на то, по отношению к чему она предстает как сигнал – именно это пытался я продемонстрировать на таблице, где субъект делится, так сказать, означающим. Вы видите на ней первоначальный субъект, *x*, в процессе его дальнейшего становления в качестве субъекта. Происходит это последнее путем записанной здесь операции деления, которая связывает субъект, *S*, и Другого, А, операцией деления, так как только через Другого может субъект себя реализовать.

$$\frac{A}{S}$$

В своей исходной позиции субъект у меня остался не обозначен, но сделанный мной из своих рассуждений вывод позволил вам распознать, как его можно на этом мифическом, предшествующем любым операциям уровне, именовать. Можно сказать, что это субъект наслаждения, если термин этот вообще имеет какой-то смысл, но выделить его в качестве субъекта иначе, нежели мифологически, по причинам, к которым мы в дальнейшем еще вернемся, нельзя.

A	S	Наслаждение
a	Ⱥ	Тревога
$		Желание

Тревога между наслаждением и желанием

Трем строкам этой написанной мной в прошлый раз на доске таблицы соответствуют три этапа этой операции. Это, соответственно, наслаждение, тревога, и желание. Эти три этажа и рассмотрю я сегодня с вами подробнее, чтобы

продемонстрировать срединную, но не опосредующую, роль тревоги между наслаждением и желанием.

Как этот важный, срединный этап нашей наглядной таблицы лучше прокомментировать? Можно сказать – я попрошу вас понимать используемые здесь термины в максимально емком смысле – что если наслаждению и дано Другого узнать, то лишь по этому его остатку, *a*.

В нижней строке таблицы, как результат операции, возникает загражденный субъект (sujet barré), то есть субъект, включенный в фантазм, где он выступает в качестве одного из двух поддерживающих желание полюсов. Фантазм и есть $\not S$, вступивший в сложные, отмеченные противостоянием, отношения с *a*. Поливалентность этих отношений как раз и характеризуется у меня в записи ромбиком, $\lozenge$, объединяющим в себе, по вертикали, символы конъюнкции и дизъюнкции и, в то же время, по горизонтали, знаки неравенства – $<$ и $>$. $\not S$ является конечным итогом этой имеющей форму деления операции, поскольку *a* представляет собой неустранимый остаток и никаких дальнейших операций с ним произвести нельзя. В предложенной мною образной форме математической записи он представляет собой всего лишь напоминание о том, что если бы разделение произошло, в $\not S$ вступили бы между собой в определенные отношения *a* и *S*.

Что это означает? Пытаясь выразить записанное здесь на словах, можно сказать, что *a* берет на себя роль метафоры субъекта наслаждения. Это было справедливо лишь при условии уподобления *a* означающему. Но ведь *a* как раз и есть то самое, что усвоению себе функции означающего принципиально противится, почему и символизирует оно собой то, что в сфере означающего предстает как утраченное, как то, что при означивании теряется. Но именно этот утраченный остаток, этот не поддающийся означиванию отброс и оказывается в основе желающего субъекта как такового – уже не субъекта наслаждения, а субъекта, пустившегося на поиски, которые поисками собственного наслаждения не назовешь. Однако пытаясь дать наслаждению место в Другом, месте означающих, субъект как раз и опережает, предваряет самого себя как желающего. Опережение это имеет место не оттого, что определенные этапы оказы-

ваются пропущенными, а оттого, что, еще не осуществившись, оно оказывается перед лицом зияющей между желанием и наслаждением пропасти. Вот здесь-то и поджидает субъект тревога.

Вот почему в формировании желания без фазы тревоги никогда не обходится, даже если фаза эта по видимости опущена и ни в чем конкретно не проявляется. Тех, кто нуждается, чтобы мне поверить, в авторитете, я отсылаю к первому анализу фантазма, предпринятому Фрейдом в работе *Ein Kind wird geschlagen* – анализу, в котором присутствует не только структурная, но и временная, динамическая составляющая. Фрейд тоже говорит там о второй фазе формирования фантазма – фазе, которая всегда остается скрытой, причем настолько основательно, что даже анализ ее не в силах реконструировать. Это не значит, что фаза тревоги всегда абсолютно недоступна. Феноменологически она на многих уровнях дает о себе знать.

Итак, тревога выступает между желанием и наслаждением в качестве промежуточного звена: желание формируется лишь тогда, когда тревога оказывается преодоленной, когда фаза тревоги пройдена.

2

В дальнейшем я попытался проиллюстрировать то, что, в принципе, давно уже было замечено, но чем до сих пор так и не сумели воспользоваться, чтобы понять, чему в действительности соответствует комплекс кастрации – комплекс, которому аналитики приписывают, как правило, совсем иное значение.

Как я уже сказал, в сердцевине опыта желания лежит то, что остается, когда желание, скажем так, удовлетворено, то, что остается в желании под конец – конец, который всегда оказывается ложным, который всегда оказывается результатом недоразумения. В прошлый раз, говоря о детумесценции, я подробно объяснил, в чем состоит значение фаллоса в состоянии беспомощности. Этот синхронический, незамысловатый, как луковица, или, по слову Петрония, как стебель луковицы, элемент призван напомнить нам, что в отношениях с желанием объект у субъекта обязательно выпадает, теряется.

То, что объект находится в выпавшем, утраченном состоянии, открывает перед нами новое измерение. Измерение это нельзя упускать из виду, если мы хотим сделать тот маленький шаг вперед, к которому я вас сегодня готовлю и который, если вы внимательно слушали мои рассуждения в прошлый раз, вы могли угадать заранее, когда я заговорил с вами о формах, в которых объект *а* в фантазме, этой опоре желания, воплощается.

Разве не поразил вас в моем рассказе о глазах и грудях Люсии и Агаты у Сурбарана тот факт, что эти объекты *а* предстают здесь в позитивной форме. Глаза и груди, которые преподносят на блюде святые мученицы, как и глаза Эдипа, валяющиеся перед ним на негостеприимной земле изгнания, являются здесь с другим знаком, нежели фаллос, который у человека, как и других высших животных, устроен таким образом, что момент наслаждения сопровождается детумесценцией, на что никакой нужды, никакой необходимости, связанной с *Wesenheit* организма в гольдштейновском смысле, строго говоря, нет. Со знаком *минус* фаллос в роли объекта *а* предстает постольку, поскольку в совокуплении он участвует не только как орудие желания, но и как его негатив.

Тревогу перед лицом кастрации важно не путать с тем, что сохраняется у субъекта в конце анализа и что Фрейд назвал угрозой кастрации. Эта последняя преодолима. Субъект мужского пола вовсе не обязательно обречен на нее до конца, как не обречен субъект женского пола вечно испытывать *Penisneid*. Чтобы найти способ этот порог преодолеть, нужно понять, почему анализ, приняв определенное направление, заходит в тупик, и характерный для человеческой физиологии совокупления негатив принимает на уровне субъекта форму невосполнимой утраты. Впоследствии перед нами этот вопрос еще встанет, и я считаю важным обратить на него здесь внимание.

Сказав об этом, я сформулировал два важных положения касательно садизма и мазохизма, суть которых я вам сейчас напомню – они важны тем, что позволит вам правильно разобраться в последних достижениях аналитической теории на этот счет. К моей радости и удивлению, недавно прочи-

танная мной работа обнаружила, что автор ее пришел в исследовании мазохизма к очень глубоким выводам, весьма близким к той точке зрения, к которой я попытаюсь в этом году подвести вас я сам. Но даже эта статья, чье заглавие я вам сообщу, остается, как и все остальные, строго говоря, непонятной, так как очевидность того, что я вам сейчас собираюсь сказать, лежит в ней под спудом.

В последнее время аналитикам удалось отказаться от того, что с нашим финализмом совместить, на первый взгляд, труднее всего – от переоценки той роли, которую в мазохизме играет боль. Они поняли, что главное совсем не это. Аналитический опыт подсказал им наконец, слава Богу, что действия мазохиста нацелены на Другого, что все маневры его в переносе происходят на уровне отношений. Большинство авторов этим и ограничиваются, ориентируясь на *insight*, искусственность которого бросается в глаза, хотя есть немало случаев, с которыми они, работая на этих принципах, успешно справлялись. Мы не можем сказать, к примеру, что функция нарциссизма, которую такой не лишенный таланта в изложении материала автор, как Людвиг Хайдельберг, выдвинул на первый план, нас вполне как объяснение устраивает.

Прежде чем посвятить вас в определяющую поведение мазохиста структуру, я предпочел в прошлый раз обратить ваше внимание на то, что с точки зрения мазохиста разглядеть нельзя, надеясь, что это позволит пролить дополнительный свет на некоторые детали ранее предложенной здесь таблицы. Нам говорят, будто целью мазохиста является наслаждение Другого. Я показал вам, что на самом деле это лишь маскирует другую, подлинную его цель – тревогу Другого. Именно это позволит разоблачить его происки. Аналогичное замечание можно сделать и в отношении садизма. На первый взгляд, садист ищет тревоги Другого. На самом деле это лишь маска – на самом деле, он ищет его наслаждения.

Садизм и мазохизм предстают, таким образом, в своего рода чередовании. То, что в одном скрыто, завуалировано, отодвинуто на задний план, в другом выступает как цель. В первом случае скрыта оказывается тревога, во втором

– объект *а*. Но это ни в коем случае не прямой и обратный процессы. Садизм отнюдь не изнанка мазохизма. Это не взаимообратимая пара. Перед нами здесь более сложная структура. Хотя я и выделяю сегодня только две позиции, вы можете, исходя из моих главных схем, легко догадаться, что речь идет о функции, включающей четыре позиции, функции четверичной. Переход от одной позиции к другой осуществляется не симметричным выворачиванием наизнанку, а поворотом на девяносто градусов.

Я уже показал вам в последний раз, что кроется в садизме за поисками тревоги Другого – это поиски объекта *а*. Для его характеристики я воспользовался заимствованным из текстов Сада выразительным образом, о котором сейчас не стану напоминать.

Закончу подведение итогов кратким напоминанием, идущим вразрез с тем, что я об *а*, этом объекте, говорил прежде, и подчеркну его явный характер, который бросается в глаза, хотя мы и не придаем ему должного значения. Я хочу поговорить с вами об анатомии – анатомии, которую Фрейд ошибочно и без оговорок назвал судьбой.

Источником ограничений, которым подлежит у человека судьба желания, является сопряжение определенных анатомических особенностей, которые я попытался описать в прошлый раз, указав на существование у него опадающих, так сказать, органов, характерных исключительно для млекопитающих, с тем, что и является, собственно говоря, судьбой, с той *Ананке*, что сталкивает желание с наслаждением. Желанию суждено столкнуться с объектом, исполняющим функцию, которая локализуется и сосредотачивается на уровне этих опадающих органов и всего, что может в подобном качестве выступать. Понятие *опадающих* органов позволит нам основательнее исследовать те моменты разреза, когда появление тревоги наиболее вероятно, подтвердив, что она появляется именно в них и позволив составить исчерпывающий каталог ее границ.

В завершение я привел известный клинический пример, иллюстрирующий тесную связь между тревогой и оргазмом. Связь эта гораздо менее случайна, чем принято думать, поскольку ситуация, где они обычно имеют место, одна и

та же – ожидание Другого. Листок, который испытуемому так или иначе, чистым или заполненным, предстоит сдать, являет собой поразительный пример того, чем может стать для субъекта, пусть на мгновение, *a*.

3

Теперь, вспомнив все это, попробуем продвинуться дальше. И сделаю я это, возможно, не совсем тем способом, на который я бы решился сам. Вы увидите потом, что я здесь имею ввиду.

Я уже замечал, говоря об обратном переносе, насколько женщины, похоже, лучше в нем ориентируются. А то, что они лучше ориентируются в нем в теоретических своих работах, наводит, в свою очередь, на мысль, что они и на практике разбираются в нем неплохо, хотя и не видят достаточно ясно внутренних его пружин, или, по крайней мере, оговаривая кое-что про себя – почему бы и нет? – предпочитают не рассуждать о них вслух.

Мы вплотную подошли здесь к чему-то такому, что непосредственно затрагивает отношения между наслаждением и желанием. Судя по определенным работам, создается впечатление, что женщины отлично понимают, что представляет собой желание аналитика. Почему это происходит?

Чтобы разобраться в этом, нужно вновь вернуться к основному выводу из моей таблицы, где тревога выступает посредником между наслаждением и желанием. Я сформулирую теперь несколько положений, предоставляя каждому понять их, опираясь на собственный опыт, самостоятельно, так как сделаю я это в афористической форме – нетрудно понять, почему.

Когда речь идет о таком деликатном предмете, как отношения между мужчиной и женщиной, произнести вслух все то, что оправдывает, узаконивает постоянство возникающего между ними непонимания, значит вызвать катастрофические последствия, позволив каждому из моих слушателей закрыть глаза на личные свои трудности, совсем иного масштаба, чем то, что я имею в виду, в надежде, что непонимание это носит структурный характер. Но поймите меня правильно: непонимание не означает, что отношения

непременно обречены терпеть крах. Поскольку реальное всегда так или иначе подразумевается, нет ничего удивительного, если наслаждение, в том числе и самое полноценное, как раз по недоразумению и будет достигнуто.

Единственное, что отличает афоризм от доктринального тезиса, это отказ от заведомо установленного порядка. Этих афоризмов я сформулирую несколько, и они будут разными по своему характеру. Начну с этого, надеясь, что вы, услышав его, не покатитесь со смеху: Только любовь позволяет наслаждению снизойти до желания.

Затем мы с вами сформулируем еще несколько, выводя их из нашей таблицы, откуда ясно видно, что не что иное, как *a*, *a* как таковое, дает доступ не к наслаждению, а к Другому. *a* – это все, что остается от субъекта в момент, когда он решается в Другого вступить.

Сказанного достаточно, чтобы рассеять вызванный к жизни грамматистом Пишоном призрак жертвенности – призрак, который с 1927 года не дает нам покоя. Бог видит, я ценю Пишона как специалиста по грамматике, но нельзя не пожалеть о том, что не состоявшийся, так сказать, анализ, оставил его как психоаналитика-теоретика на произвол представлений, свойственных ему прежде, – представлений, заимствованных, главным образом, у Шарля Морраса.

Получив доступ к Другому, *S* оборачивается на выходе бессознательным, то есть Другим похеренным, загражденным. Как я уже только что вам сказал, ему остается лишь сделать из *A* нечто такое, в чем значение имеет не столько метафорическая его функция, сколько отношения утраты, которые связывают его с *a*. Так что желать Другого, большого Другого, *A*, означает всегда желать *a*, и только его.

Чтобы судить о любви, как и о сублимации, нужно помнить о том, что моралисты до Фрейда – я говорю о моралистах доброй старой французской школы, той, что выливается постепенно, проходя этапы, о которых я вам прежде напоминал, в *человека удовольствия* – уже сумели сказать. Их вывод о том, что любовь – это сублимация желания, нельзя считать устаревшим и по сей день.

Отсюда следует, что сколь бы основополагающую роль любовь в наших теоретических построениях ни играла,

пользоваться ей в качестве первого или последнего термина мы не вправе. Любовь – это факт культуры. Дело даже не в том, что «сколь многие не любили бы вовсе, не доведись им слышать о любви прежде», как сформулировал это блестяще Ларошфуко, а в том, что о любви не было бы и речи, если бы не существовало культуры. И это заставляет нас строить рассуждения об отношениях мужчины и женщины совершенно иначе, на что указывал и сам Фрейд, подчеркивая, что соединение между ними могло произойти и совсем иным образом.

Но я продолжаю формулировать свои афоризмы. Предъявить себя в качестве желающего, *эрон* (*érôn*), значит предъявить себя в качестве нехватки *а* – именно так открываю я входы к наслаждению собственным бытием.

То, что эта позиция заключает в себе апорию, бросается в глаза, но нам предстоит сделать отсюда еще несколько шагов вперед. Вы уже поняли, я полагаю, так как я толкую об этом очень давно, что находясь, и открывая входы к наслаждению своим бытием, на уровне *эрон*, я вступаю, ясное дело, на скользкую дорожку, грозящую тем, что меня начнут воспринимать как *эроменос* (*érôménos*), любимого. Это происходит обязательно, даже если красоваться собой мы не склонны, но сам факт этот говорит о том, что в итоге что-то оказывается упущено.

Это не афоризм, это просто комментарий. У меня для него две причины: я сделал, во-первых, своего рода маленькую оговорку, употребив двойное отрицание, что настораживает, и мне показалось, во-вторых, что на лицах некоторых из моих слушателей светится чудо непонимания.

Идем дальше. Всякий раз, когда, предпринимая встречу с женщиной – мы находимся, напоминаю, в андроцентрической перспективе – я взыскую *а*, Другой неизбежно испытывает тревогу, испытывает именно потому, что я свожу его к *а*, что мое желание его, так сказать, *аизирует* (*aïse*). Именно поэтому любовь-сублимация и позволяет наслаждению снизойти до желания. Моя цепочка афоризмов замыкается, тем самым, в кольцо.

Сколько вы слышали сегодня высоких речений! Я не боюсь, как видите, показаться смешным. Это звучит как про-

поведь – что ж, для того, кто вступает на подобную почву, такой риск неизбежен. Я надеюсь. Однако, что вы подумаете, прежде чем надо мной посмеяться. За это я вам буду на прощание лишь благодарен.

Покину я вас на сей раз совсем ненадолго, но позвольте мне перед этим сделать еще несколько шагов вперед. В тот путь, что мы только что проделали под героические фанфары, можно пуститься и в обратном направлении, и менее победительные интонации, что вам наверняка тогда в нем послышатся, подтвердят лишний раз его, по сути, необратимость.

На пути нисхождения к моему желанию Другой хочет, даже того не зная, лишь одного – он хочет моей тревоги. И сказать, что женщина преодолевает свою тревогу любовью, было бы недостаточно. Это как посмотреть.

Следуя дальше выбранным мной сегодня путем, вопрос о том, как определяются позиции партнеров вначале, мы отложим до следующего раза. Сам порядок вещей, с которым теперь мы имеем дело, предполагает, что мы подхватываем происходящее на ходу, иногда даже в самый последний момент, но в истоке своем он остается неуловим.

Как бы то ни было, женщина возбуждает во мне тревогу постольку, поскольку она хочет моего наслаждения, то есть, иными словами, хочет мной наслаждаться. Причина тому проста и в нашей теории давно прописана – любое осуществимое желание предполагает кастрацию. Поскольку речь для женщины идет именно о наслаждении, поскольку нужно ей, иными словами, мое бытие, достичь его она может лишь меня кастрировав.

Надеюсь, это не побудит мужскую часть моей аудитории безропотно примириться с повседневными и очевидными проявлениями этой основополагающей истины в том, что называют, ради классификации, супружеской жизнью. Констатация истины не имеет ничего общего с ее конкретными проявлениями. Однако сформулировав ее правильно, мы в своей жизни многое проясним.

Хотя факты в мою формулировку прекрасно укладываются, она рискует, однако, что в ней увидят записанное, так сказать, на скрижалях судьбы. Но если я это произнес, это

вовсе не значит еще, будто это где-то написано. Пиши я это, я бы, кстати сказать, постарался бы оформить свои мысли более тщательно. Оформить означает погрузиться в детали, вникнуть в причины.

Стоит нам попытаться подыскать к функции объекта желания ключ, как тут же бросится в глаза, что женщина не испытывает нехватки ни в чем. Полагать, будто все упирается в *Penisneid*, чистой воды заблуждение. Я уже говорил вам, что оригинальность соображений, которые я хотел бы в этом году вам представить, как раз в этом и заключается.

То, что ей в этом отношении желать нечего – бесспорный факт. Я попытаюсь, пожалуй, дать этому анатомическое объяснение. Аналогия между клитором и пенисом далеко не очевидна. Клитор – это ведь не просто маленький пенис. Это часть пениса, соответствующая пещеристому телу. А пенис, насколько я знаю, за исключением, разве что, случаев гипоспадии, к пещерному телу не сводится. Но это я к слову.

Тем фактом, что на пути наслаждения ей желать нечего, вопрос о желании для нее нисколько не предрешается, так как функция *a* играет у нее не меньшую роль, нежели у нас. Но он все-таки становится для них намного проще, чего о нас, когда мы с их желанием сталкиваемся, сказать нельзя. Так или иначе, заинтересованность в объекте в качестве объекта желания вызывает у них куда меньше сложностей.

Час уже поздний. Я сделал интересную затравку и большинству из вас не терпится, надеюсь, узнать продолжение.

В качестве намека скажу, что попроси меня кто-нибудь дать тому, о чем в следующий раз пойдет речь, заглавие, я предложил бы что-нибудь вроде *О том, что связывает женщину в роли психоаналитика с позицией Дон Жуана*.

13 марта 1963 года

XIV
ЖЕНЩИНА, БОЛЕЕ ИСТИННАЯ И БОЛЕЕ РЕАЛЬНАЯ

Ослепленный Тиресий
Дыра, пустота, горшок
Женщина не испытывает нехватки
Дон Жуан, мета женщины
Люсия Тауэр и ее желание

Чтобы понять, какое место занимает тревога, мне пришлось возвратиться, как я говорил уже, к описанной мной в семинаре об этике центральной области – области наслаждения.

Сегодня, в качестве следующего шага, я попытаюсь объяснить почему.

1

Не раз, в вышеупомянутом семинаре, коснувшись этой проблемы, я уже успел, наверное, внушить вам ту мысль, что к какому бы мифу ни прибегали мы, чтобы точку наслаждения уловить, рассматривать его надо как нечто от артикуляции желания совершенно независимое.

Желание складывается, на самом деле, по эту сторону зоны, которая желание от наслаждения отделяет и что составляет тот пробел, где возникает тревога. Это не значит, что реального Другого, Другого, заинтересованного в наслаждении, желание не касается. При нормальном положении дел желание, закон, выстраивающий желание как желание, сердцевину Другого действительно не затрагивает. Затрагивает он его лишь на периферии, со стороны – в качестве маленького *а*, заместителя А большого. Все описанные Фрейдом *Erniedrigungen*, все постигающие любовную жизнь катастрофы вытекают, следовательно, из этой фундаментальной структуры, с которой ничего поделать нельзя. Скрывать эту пропасть мы вовсе не собираемся, хотя не считаем, что в исследовании ее дальше цветущих здесь пышным цветом комплекса кастрации и *Penisneid* продвинуться невозможно.

Женщина обнаруживает в области наслаждения явное превосходство, так как в узел желания она вплетена гораздо

слабее. Нехватка, знак *минус*, которым отмечена фаллическая функция у мужчины и в силу которого его связь с объектом должна пройти через негативацию фаллоса и комплекс кастрации – все это узел, который женщине распутывать не приходится.

Это не значит, что она с желанием Другого никак не связана. Напротив, она с этим желанием сталкивается лоб в лоб – в противостоянии этом фаллический объект вторичен и участвует лишь постольку, поскольку в желании Другого у него есть определенная роль. Дело для нее, таким образом, обстоит куда проще.

Эта простота отношений с желанием Другого позволяет женщине, избравшей нашу благородную профессию, обращаться с этим желанием гораздо свободнее, независимо от тех особенностей, которые она каждый раз в суть, так сказать, этих отношений, привносит. Это обнаруживается всякий раз, когда она вступает в область, которая именуется у нас, подавая повод к недоразумениям, областью контрпереноса. Свобода эта дается ей потому, что связь ее с Другим, особенно в том, что касается наслаждения, не носит столь принципиального, *wesentlich*, как у мужчины, характера.

Уже воплотив однажды для вас объект *a* в образе вырванных Эдипом у себя глаз, я не могу теперь не напомнить вам миф об ослепленном Тиресии.

Тиресий, которого психоаналитики по справедливости могли бы считать своим святым покровителем, провидец Тиресий, был ослеплен ревнивой царицей неба Юноной в наказание за оскорбление, нанесенное ей при обстоятельствах, прекрасно описанных Овидием в стихах 316-338 третьей книги *Метаморфоз*. Я рекомендую всем вам обратиться к этому тексту, представляющему, как справедливо подчеркнул в примечаниях к *Бесплодной земле* Томас Стернз Элиот, значительный антропологический интерес.

Однажды Юпитер, чьи отношения с супругой были довольно натянутыми, стал поддразнивать ее, говоря, что, мол, наслаждения, которые вы, женщины испытываете, не в пример посильнее тех, что способны ощутить мы. За подтверждением он обратился к Тиресию – просто так, в шутку, ибо о последствиях своих поступков боги, как правило, не

задумываются. Как я не подумал, хлопнул бог себя по лбу, давай спросим Тиресия. Ведь он семь лет пробыл женщиной.

А булочница раз в семь лет меняла кожу – читаем мы в песне, сочиненной Гильомом Аполлинером. Точно так же Тиресий раз в семь лет менял пол. Виной тому, правда, не периодический закон, а простая случайность. Потревожив однажды неосторожно парочку совокуплявшихся змей – тех самых, что находим мы на жезле в форме так называемого кадуцея – он обратился в женщину. Семь лет спустя, оказавшись в подобных же обстоятельствах, он вновь сменил пол. Каков бы смысл история о змеях, которых нельзя разлучить, не подвергаясь при этом столь страшной опасности, ни был, именно Тиресий, пробывший женщиной семь лет подряд, был вызван Юпитером и Юноной, чтобы вопрос о наслаждении окончательно разрешить. Они велят ему сказать правду, невзирая на последствия. И что он говорит? Я подтверждаю, говорит он, слова Юпитера. Наслаждение женщины сильнее, чем у мужчины.

Насколько сильнее? На десятую часть или, может, на четверть? Есть и более точные оценки, но пропорция большой роли здесь не играет. Зависит она, по большому счету, лишь от границ, которые полагает человеку его отношение к желанию – отношение, вписывающее объект в колонку отрицательных величин. Это то самое, что обозначено у меня символом (-ϕ). Если пророк абсолютного знания внушает человеку, что тот проделывает свою дыру в реальном – этот как раз и называется у Гегеля негативностью – то я, напротив, настаиваю на том, что дыра эта начинается у него внизу живота. Пожелай мы дойти до истоков того, что у человека статус желания формирует, убедиться в этом будет нетрудно.

Сартр, известный пост-гегельянец и замечательный мастер сбивать людей с толку, не преминул подкинуть на этот счет образ, который все вы хорошо знаете. Это образ ребенка – понятное дело, актуальности ради, из буржуазной семьи – который сует на пляже пальцы в песок, воспроизводя в собственных своих глазах – и ради нас, читателей – основополагающий для человека акт.

Можно лишь посмеяться над воплощенной в этом ребенке новой разновидностью маленького человечка внутри большого – разновидностью, по праву заслуживающей все философские возражения, которые против такого человечка делались. Но одними насмешками дело не обойдется. Фигура, которую рисует Сартр, рождает отклик в бессознательном. Что же именно в нем отзывается? Господи, да не что иное, как чаемое поглощение нашего тела недрами земли-матери – то самое, смысл которого верно определил Фрейд, в одной из глав *Торможения, Симптома, Тревоги* справедливо отметив, что возвращение в материнское лоно представляет собой фантазм импотента. Вот почему маленький воспитанник, которого Сартр в этом человеке лелеет, побуждая его всем своим творчеством видеть в существовании всего лишь клейкую массу, предпочтет *быть* – акцент я ставлю именно на *бытие* – фаллосом.

Наглядное представление о таком фаллосе дает орган, который вы, при желании, легко сможете наблюдать – он скрывается между створками у моллюсков, именуемых в просторечии ножиками. Собирают их как спаржу, с помощью длинного перочинного ножика и простого кусочка металлической проволоки, которой их в песке подцепляют. И вот, когда урожай уже находится у вас в тарелке, они неожиданно и показывают вам язык. Я не знаю, приходилось ли вам уже видеть, как в результате резкого сокращения мышц эти язычки выбрасываются, но, поверьте мне, на это удивительное зрелище стоит взглянуть, тем более, что мне кажется очевидной его связь с описанным Сартром в *Тошноте* фантазмом внезапно возникающих из стены или иной поверхности языков – фантазмом, вписывающимся в тематику неприятия образа мира, образа, искусственного до самых корней.

Ну, а потом? – спросите вы. Поскольку речь, по сути, идет о том, чтобы, подкопавшись под основы теологии, заклясть заодно, как нечто им соприродное, и сам космос, такое своеобразное использование языка не пойдет, по-моему, делу на пользу. Но вместо того, чтобы верить, будто покладкой им служит нечто существенное, *wesentlich* – мне очень хотелось бы озвучить это слово и на других языках – я думаю,

что перед нами, скорее, чистой воды вавилонское столпотворение, участие в котором будет, окажись я в этом споре затронут, одним из ключевых пунктов, по которым мне предстоит оправдываться.

Принято, к примеру, говорить, что реальное всегда полно. Это производит эффект, произносится с видом, внушающим доверие, дающим понять, что вы имеете дело со своим человеком, лаканистом высокой пробы. И в самом деле, кто же еще, кроме Лакана, мог о реальном этакое сказать? Досада лишь в том, однако, что я никогда ничего подобного не говорил. Реальное полно полостей, в нем можно даже создать пустоту. Моя мысль совсем другая. Просто нет ничего, чего бы реальному не хватало.

Надо добавить к этому, что как бы горшки, которые изготовляет гончарная мастерская, ни были друг на друга похожи, на самом деле они наверняка различны. Поразительно, что это соображение, известное как принцип индивидуации, доставило классической философии столько трудностей. Да и сейчас мы недалеко ушли. Полюбуйтесь, как Бертран Рассел, пытаясь различие между индивидами обосновать, мобилизует для этого все пространство и время вселенной. Согласитесь, что это просто потеха.

Но я возвращаюсь к нашим горшкам. В качестве следующего шага признаем, что идентичным, то есть взаимозаменяемым, является в горшках пустота, вокруг которой они формируются. И, наконец, третий шаг: человеческая деятельность берет начало в момент, когда пустота эта запруживается, заграждается, наполняясь тем, что, уходя, образует пустоту в горшке по соседству – когда, иными словами, быть наполовину заполненным означает для горшка то же, что быть наполовину пустым. Это предполагает, конечно, что горшок не дает течи.

Именно появление керамики является во всех культурах верным признаком того, что цивилизация в них успела сформироваться. Приезжая к себе за город, я с удовольствием любуюсь своей прекрасной коллекцией античных ваз. Данные многих культур говорят о том, что керамические изделия были для древних драгоценнейшим достоянием. Пусть не способны мы разобрать то, что на них с такой рос-

кошью и великолепием изображено, пусть не способны мы перевести эти изображения на внятный язык мифов и ритуалов, одно мы прекрасно знаем – она, эта ваза, вмещает все. Ее, этой вазы, довольно – отношения человека с предметом и желанием получили в ней наглядное, полное и бессмертное выражение.

Теперь вы понимаете, зачем мне понадобился сосуд для горчицы, который целый год не давал моим коллегам покоя, пока я, сжалившись над ними, не убрал его с глаз долой. Но свою службу он, тем не менее, сослужил, наглядно продемонстрировав, что на столе – поразительное дело – горчичница, как вы сами знаете, всегда оказывается пустой.

Горчицы вообще нет. Пока она не шибает вам в нос.

Вопреки тому, что обо мне думают, в использовании сосудов я вовсе не осмотрителен. Я упоминаю об этом, так как нам недавно довелось с проблемой такого рода столкнуться. Пьера Оланье, обладающая по-женски твердым характером, что не всегда идет ей на пользу, прекрасно знает, что наклеить на горшочек с ревенем этикетку *смородиновое варенье* вполне допустимо. Важно лишь понять, кого именно хозяйка таким образом хотела прослабить, и подождать, пока станет ясно, чего ей от этого субъекта нужно.

Но как бы то ни было, видя тщательно изготовленные горшочки, которые я вам здесь демонстрирую, не подумайте, будто все они остаются потом целы. В речах, которые я, бывало, вел прежде, деятельность, мышление и слово были представлены как образующие замкнутый круг, симметричнее некуда. Все это давно отправилось в мусорную корзину.

Как вы помните, сверху в той колонке таблицы, где у меня *acting out*, я записываю *помеха*, а в соседней, где у меня *отыгрывание*, соответственно, *смущение*. Если вы, Пьера, предпочитаете выделить случай *acting out*, который вы очень добросовестно описали, особо, назвав его *перенос действием* – это, разумеется, ваша мысль, и она заслуживает особого обсуждения – вам все равно придется обратиться к моей таблице, поскольку вы сами упоминаете в вашем тексте *смущение*, в котором субъект вашего анализа пребывает. Поскольку термин этот больше нигде не встречается, вы явно почерпнули его именно здесь.

Из ваших наблюдений явно следует, что когда акушер не позволил больному присутствовать при извлечении своего мертворожденного отпрыска из материнского лона на свет, именно волнение, спровоцированное бессилием это препятствие преодолеть, заставляет его потревожить стражей порядка письменным заявлением, где он предъявляет отцовские права на то, что я, дабы уточнить представление, внушаемое образом пожирающего собственных детей Сатурна, назову гилофагией. Господин этот заявляется в комиссариат и утверждает, что нет закона, воспрещающего ему своего только что умершего ребенка съесть. Смущает его, собственно, лишь спокойствие, с которым видавший виды комиссар его требование встречает. Именно оно, по контрасту с эмоцией, что он надеялся спровоцировать, и заставляет его перейти к действиям, которые приводят его за решетку.

Так что не признать – в момент, когда вы явно у цели, когда лучшего примера, чем я привел вам, чтобы объяснить то, о чем вы прекрасно знаете, то есть что дело в шляпе, и пожелать нельзя – не признать этого, значит просто предать себя.

Все это, сказанное, разумеется, не в упрек тем, кто трудится над подобными, в первой стадии разработки, случаями, позволяет мне, тем не менее, вам напомнить, что смысл эти занятия имеют постольку, поскольку пользоваться ими будут по назначению, а не так, как ими, к сожалению, привыкли пользоваться – это я не вам, Пьера – у нас, подбирая понятия одно к другому, словно для мебель для интерьера.

Теперь, указав на то, что дает вам некоторое право внимательно следить за мыслями, которые я, прежде чем ими делиться с вами, тщательно взвешиваю, я возвращаюсь к нашей основной теме.

2

То, что я собираюсь сейчас сказать об отношениях женщины с наслаждением и желанием, мне тоже хотелось бы донести до вас на материале собственных клинических наблюдений.

Итак, пациентка в один прекрасный день сообщает мне, что ее муж, на чьей настойчивости зиждется, если можно

так выразиться, брачная жизнь, с некоторых пор пренебрегает своими обязанностями слишком долго, чтобы это прошло для нее незамеченным. Учитывая, что знаки внимания с его стороны кажутся ей не слишком умелыми, факт этот пациентка воспринимает, скорее, как облегчение. И тут она роняет фразу, которую я сейчас отдельно процитирую, надеясь, что вы не приметесь смаковать иронию, которую безосновательно мне, услышав эти слова, припишете. *Мне все равно* – заявляет она – *желает он меня, или нет, лишь бы он не желал других.*

Я не стану утверждать, что это позиция очень распространенная. Значение ее проясняется лишь внутри той конфигурации, которую образуют лежащие в основе ее монолога ассоциации.

Она рассказывает мне, далее, о своем состоянии. Говорит с необычной для нее точностью, наглядно демонстрирующей, что набухание не является мужской привилегией. Эта сексуально вполне нормальная женщина рассказывает о том, что происходит с ней, когда она, будучи, например, за рулем, неожиданно видит, как что-то пересекает ей путь и у нее вырывается восклицание вроде: *Господи, никак машина!* И в этот момент она отдает себе отчет в том, что ее вагина, неизвестно почему, разбухает. В день, когда она мне об этом рассказывала, это явление поразило ее, и она обратила внимание на то, что в определенные периоды явление это бывает связано с появлением в ее поле зрения какого-либо объекта, к области пола не имеющего ни малейшего отношения. Состояние это не было ей, по ее словам, неприятно – оно, скорее, причиняло ей некоторые неудобства и проходило само собой. Мне не хотелось бы, говорит она далее, связывать это с тем, что я вам сейчас скажу, одно к другому не имеет, конечно, ни малейшего отношения, но каждое ее начинание посвящено, по ее словам, мне, ее аналитику. *Я не говорю: предназначено* – поясняет она – *это означало бы, что я делаю это целенаправленно, но по любому поводу вы мне нужны как свидетель. Причем одобрение ваше мне вовсе не нужно, достаточно взгляда – но даже и это сказать было бы, пожалуй, слишком: просто ваш взгляд помогает мне наделить всякую вещь смыслом.*

Сказав это, она с иронией вспоминает как в молодости ей попался однажды на глаза заголовок хорошо известной пьесы Стива Пассера *Меня ждет большая любовь.* Встречалось ли ей это заглавие еще когда-нибудь? Пытаясь ответить, она вспоминает о первых годах своей жизни в браке, после чего в памяти ее всплывает эпизод еще более ранний и она рассказывает о своей первой любви, той, что не забывается. У нее был роман со студентом, с которым она быстро рассталась, но поддерживала затем активную переписку. Причем все, что она писала ему, было, по ее словам, *сплошным обманом. Черта за чертой, я изобразила себя такой, какой хотела казаться в его глазах, но со мною самой этот персонаж ничего общего не имел. То был, я боюсь, плод чистой фантазии, и я упрямо продолжала закутывать себя в это подобие кокона. И вы знаете* – добавила она с чувством – *избавиться от этого облачения стоило мне немалых усилий.*

Затем она опять возвращается к своему поведению по отношению ко мне. *С вами все наоборот. С вами я всегда пытаюсь быть такой, какая я есть. С вами я не сочиняю романа. Я сочиняю его, когда я не с вами.* И она вновь заговаривает о том, как тщательно, нить за нитью, плетет она ткань посвященных мне жестов – жестов, которые отнюдь не призваны мне непременно понравиться и даже не обязательно в отношении меня уместны. Не говорите, что она направила свой талант в неверное русло. Ей не нужно, в конечном счете, чтобы я смотрел на нее, ей нужно, чтобы мой взгляд занял место ее собственного. *Поддержка, в которой я нуждаюсь, это вы сами. Взгляда, моего взгляда, недостаточно, чтобы извне уловить все то, что необходимо в себя вобрать. Не глядеть, как я действую, а действовать за меня – вот о чем идет речь.*

Я не стану продолжать чтение, хотя у меня в запасе целая убористая страница. Остановлюсь только напоследок на единственном безвкусном слове, которое там проскальзывает. *Я телеуправляемая* – говорит она. Это, поверьте мне, не метафора и никакого чувства зависимости она не испытывает. Я упоминаю эту формулу лишь потому, что вы могли недавно встретить ее в газетах в связи с делом того

левака, который, оказавшись замешанным в провокацию с покушением, счел нужным дать нам бессмертную иллюстрацию того, что левые в политике всегда телеуправляемы – ими управляют правые. Это, кстати, и есть условие, при котором отношения между сторонами устанавливаются на паритетных началах.

К чему я клоню, когда говорю это? Конечно, к вазе. Женская ваза – пуста она, или, наоборот, полна? Какая разница – главное, что она самодостаточна и может, по выражению моей пациентки, *по-скотски себя расходовать*. Присутствие объекта для нее, так сказать, избыточно. Почему? Потому что присутствие это не связано у нее, в отличие от мужчины, с нехваткой объекта-причины желания, с $(-\phi)$.

Тревога мужчины связана у него с возможностью не смочь. Отсюда и типично мужской миф о происхождении женщины из его ребра. Это ребро у него извлекли – он понятия не имеет, какое именно, да и вообще у него все ребра на месте. Ясно, однако, что именно об утраченном объекте идет речь в этом мифе. Женщина для мужчины и есть объект, который из этого утраченного сфабрикован.

Женщина тоже испытывает тревогу. Кьеркегор, в котором, как, по-моему, и во мне, даже в большей степени, было кое-что от Тиресия, утверждает даже, что женщина подвержена тревоге больше мужчины. Стоит ли ему верить? Что нам действительно важно, так это уловить связь женщины с теми бесконечными и неопределенными возможностями, которые открываются перед желанием в создающемся вокруг нее поле.

Женщина искушает себя, искушая Другого, – миф и здесь придет к нам на помощь. Как явствует из знаменитой истории с яблоком, для искушения мужчины может сгодиться все, даже ей самой совершенно ненужное – зачем, в конце концов, оно, это яблоко, ей сдалось? От него толку как, скажем, от воздуха рыбе. Другое дело, что яблоко это может послужить рыбкой само – приманкой, которую насаживает на крючок удильщик. Желание Другого – вот что интересует женщину.

Расставляя акценты, скажу сразу, что желание вещь меркантильная, что котировки его в культуре опускаются и по-

дымаются и что уровень любви и формы ее зависят от цены, по которой желание идет на рынке. Любовь, будучи, как справедливо говорят философы, *ценностью*, есть продукт идеализации желания. Я говорю об *идеализации* не случайно – ведь пациентка, о которой только что шла у нас речь, не говорила о желании своего мужа как о болезненном. То, что она этим желанием дорожит, и есть любовь. Что проявления этого желания не так для нее важны, тоже в порядке вещей, хотя бывает и по-другому.

Что касается наслаждения женщины, которого она прекрасно умеет добиться и которое заслуживает со стороны партнера самого тщательного внимания, то опыт говорит нам, что как бессилие партнера, так и технические его промахи могут женщине оказаться приятны, поскольку желание, как заметил еще Стендаль, заявляет о себе несмотря на фиаско. Даже когда, в случае продолжительного бессилия, женщина прибегает порой для получения наслаждения к, якобы, более эффективным средствам, похоже, что делает это она из своего рода стыдливости – чтобы никто не подумал, будто ей в наслаждении, по какой-то причине, отказано.

Если вы вспомните то, что говорил я недавно о мазохизме, пытаясь, как вы в дальнейшем увидите, представить это явление, независимо от того, идет ли речь о мазохизме извращенном, женском или моральном, как единое, иным образом трудно уловимое целое; если вы вспомните, как я специально подчеркивал, что наслаждение Другого, или наслаждение, которое Другому приписывают, скрывает в нем его подлинную, состоящую в пробуждении тревоги, цель, то вам ясно станет, что женский мазохизм выглядит в этом свете совсем по-иному, получая другое значение и особое, несколько ироническое, звучание.

Значение это нельзя уловить, не усвоив себе прежде, что женский мазохизм следует принципиально рассматривать как мужской фантазм.

Идем дальше. В соответствии с мазохистской структурой, которой женщину наделяет воображение, мужчина препоручает ей в этом фантазме найти наслаждению поддержку в том, что является, по сути дела, собственной его тревогой.

Именно это кроется за объектом. У мужчины объект выступает как условие желания. Наслаждение зависит от этого вопроса. Желание всего лишь скрывает за собой тревогу. Вы видите теперь, какую полосу ему придется преодолеть, чтобы наслаждение оказалось в пределах его досягаемости.

Для женщины желание Другого является средством заполучить наслаждению подобающий, так сказать, предмет. Тревогу перед желанием Другого она испытывает лишь тогда, когда не знает хорошенько, в конечном счете, что за ним кроется. Продолжая формулировать свою мысль, скажу, что в царстве мужчины никогда не обходится без самозванства. Что до женского мира, то в нем, соответственно, как мы об этом в связи со статьей Хоана Ривьеры уже говорили, царит маскарад – но это совершенно иное дело.

Женщина в целом куда реальнее и подлиннее, нежели мужчина – она прекрасно знает цену тому, с чем в желании имеет дело, переживает это с полным спокойствием и проявляет к своей небрежности пренебрежительность: роскошь, которую мужчина позволить себе не властен. Он не может пренебречь своим промахом, так как попадание в цель есть мера его мужского достоинства.

Посмотрите на желание, которое испытывает он к женщине – оно явно внушает порой тревогу. Почему? Я попрошу вас обратить по ходу дела внимание на то, что в отношениях вуайериста и эксгибициониста есть третье, особое измерение – *дать посмотреть*. Кроме *показать* и *увидеть* для женщины важно *дать посмотреть*, и опасность здесь связана, разве что, с маскарадом. Ибо то, что женщина может дать посмотреть, у нее действительно есть. Это, конечно, порою, не бог весть что – и отсюда тревога – но это всегда то, что есть, в то время как для мужчины *дать посмотреть* на свое желание, значит обнаружить то, чего нет.

Так что не думайте, будто ситуация эта, которая в моем изложении может показаться столь сложной, на самом деле настолько уж безнадежна. Ведь хотя путь к наслаждению предстает в ней явно нелегким, разве не видно, что мужчине удается все-таки получить к нему доступ?

Однако пока все, чего в этой ситуации ищут – это счастье, она остается легко управляемой.

Подведя на этом итог, обратимся к примеру, которому мы обязаны предложившему его Гранову и который сможет теперь, мне кажется, послужить вам впрок.

3

К тому, о чем говорит нам в своей посвященной двум пациентам-мужчинам статье Люси Тауэр, лучшего вступления, чем история Дон Жуана, уверяю вас, не найти.

В последнее время я эту тему во многом переработал. Я не могу сейчас пройти с вами всеми ходами этого лабиринта. Прочтите сами чудовищную книгу Ранка под названием *Die Don Juan Gestalt.* В ней сам черт ногу сломит, но с путеводной нитью, которую я вам дам, вы в ней не потеряетесь. Дон Жуан – это греза женщины.

Необходимо иногда, чтобы существовал человек, вполне равный самому себе – именно этим в каком-то смысле может похвастаться по отношению к мужчине женщина. Дон Жуан – это человек, который ни в чем не испытывает нехватки. Это прекрасно дает понять термин, к которому в связи с разговором об общей структуре мазохизма нам еще предстоит вернуться. Родственность образа Дон Жуана образу не кастрированного отца давно стала едва ли не общим местом. Что действительно стоит отметить, так это что перед нами образ по происхождению своему чисто женский. Блуждая в ходах Ранкова лабиринта вы отлично сумеете убедиться в этом. Связав образ Дон Жуана с определенными мифами и ритуалами, Ранк приходит к выводу – и здесь чутье его не подводит – что эта явившаяся в классическую эпоху фигура эквивалентна тем мифическим персонажам прошлого, что способны оказывались дать другому душу, не потеряв при этом свою. Знаменитое право первой ночи, как и существование – мифическое, как вам известно – жреца, совершавшего дефлорацию, на этом, согласно Ранку, как раз и основаны. Но история Дон Жуана хороша сама по себе – она увлекает и тех, кто об этих милых обычаях даже не подозревает. Хотя в опере Моцарта они, безусловно, подразумеваются, следы их нужно искать, скорее, в *Свадьбе Фигаро*, чем в *Доне Джованни*.

Первым признаком того, о чем я вам говорю, заключает-

ся в случае Дон Жуана в том, что сложные отношения, связывающие человека с объектом его желания, оказываются стерты, но зато радикальное самозванство выступает на первый план. Престиж Дон Жуана и связан как раз с признанием этого самозванства. Он всегда занимает место кого-то другого. Он является, так сказать, абсолютным объектом.

Заметьте – нигде не говорится, что он внушает желание. Он оказывается, конечно, у женщин в постели, но как именно, мы, собственно говоря, не знаем. Можно даже сказать, что у него их нет вовсе. У него есть связь с чем-то таким, по отношению к чему он выполняет определенную функцию. Назовите это нечто *odore di femmina*, и это многое объяснит. Что до желания, то оно в этом деле значит так мало, что когда *odora di femmina* проплывает мимо, ему невдомек, что по сцене прошла Донна Эльвира – та самая, которой он на полную катушку попользовался.

Персонаж этот, надо сказать, не внушает женщинам ни малейшей тревоги. Женщина, поверьте мне, обращается в бегство по-настоящему лишь тогда, когда действительно чувствует себя объектом сфокусированного на ней желания.

Займемся теперь историей, которую рассказала нам Люси Тауэр.

У нее двое мужчин – в анализе, разумеется. По ее словам, у нее установились с ними по-человечески очень добрые отношения. Не могу сказать, что ситуация простая, но она, тем не менее, довольно выигрышная. У обоих невроз тревоги. Таков, во всяком случае, тот диагноз, на котором она, по здравом размышлении, останавливается. У обоих были в прошлом, как водится, трудности с матерью и с *female-siblings*, то есть с сестрами, но игравшими для них роль братьев. Оба живут с женщинами, выбранными, как нам говорят, с тем расчетом, чтобы дать выход своим агрессивным и другим подобным тенденциям и найти защиту от склонности, с аналитической точки зрения бесспорной, к другому полу. *Оба мужчины* – говорит аналитик – *держали меня в курсе того, как у них шли дела с женщинами, признаваясь, в частности, что мало ссорились с ними, вели себя слишком послушно, были одним словом, что называется,* devotious, *в то*

время как женщины – говорит аналитик, которая не стесняется входить в детали – *были разочарованы недостатком с их стороны* non-inhibited masculine assertiveness, *несдержанной мужской напористости.* Иными словами, они не создают достаточно видимости. Мы подходим к самому интересному: у аналитика появляются на этот счет определенные соображения.

Не подозревая о том, что грозит ей в этом деле ловушкой, она чувствует, однако, что ее позиция слишком, как она говорит, *protective*, хотя и в слишком обычном смысле. В случае одного из мужчин, она слишком явно защищает его жену, в случае другого – его самого. Успокаивает ее то, что второй симпатичен ее куда больше, так как у первого есть какие то не слишком привлекательные *psychosexual problems*. Вещи, что ни говори, следует воспринимать свежим взглядом, как они есть. Однако первый ведет себя примерно так же, как и второй.

Оба утомляют невнятностью речи, паузами, своей *circumstantionality*, то есть излишними подробностями, своей манерой вечно повторяться, своей дотошностью. Но, будучи, как-никак, аналитиком, она отмечает у первого склонность к нападкам на ее аналитические способности. Что касается второго, то он стремится не столько отделаться от нее как источника фрустрации, сколько заимствовать у нее объект. Она объясняет это про себя тем, что у второго ярче выражена нарциссичность. На самом деле, те, у кого есть уже определенная аналитическая культура, легко заметят, что в наши представления о нарциссизме это объяснение не вполне укладывается. К тому же дело здесь не столько в нарциссизме пациента, сколько в том, что принято анаклитической составляющей, в чем ей вскоре и предстоит убедиться.

Несмотря на то, что долгая и тщательная работа с обоими пациентами так и не принесла в анализе переноса результатов сколь-нибудь ощутимых, в ней не осталось от результатов работы неприятного чувства, а реакции обратного переноса, которые она за собой наблюдала, не выходили, по ее словам, из тех разумных пределов, за которыми любой женщине-аналитику, не умеющей держаться с по-

добными пациентами настороже, может несдобровать. Но ее этому учить не надо.

Работая с первым пациентом, она старается не упускать из виду всего того, что происходит по ходу дела между ним и его женой. Создается впечатление, что она наблюдает за ней внимательнее, чем за ним. Узнав об имевшихся у жены явлениях психосоматического характера, она говорит себе, что это хороший признак – она боялась было, что та может склониться к психозу, но теперь, когда феномен тревоги был ей зафиксирован, она могла быть спокойна на этот счет.

В дальнейшем она больше об этом не думает, и дела продолжают идти своим чередом. Все то, что в переносе происходило, вплоть до того, как использовал первый пациент в анализе свои конфликты с женой, чтобы добиться внимания со стороны аналитика и возместить то, чего не хватало ему в отношениях с матерью, Люсиа Тауэр проанализировала безупречно – но совершенно безрезультатно.

Что же, в конце концов, сдвинуло дело с места? Сновидение – говорит она – ее собственное сновидение, дающее ей понять, что с супругой пациента, возможно, все не так гладко.

В этом сновидении супруга пациента радушно принимает ее, всячески демонстрирует свое нежелание вмешиваться, как это раньше подразумевалось, в анализ мужа, и уверяет, что готова поддерживать с аналитиком отношения – скажем так, чтобы передать свойственную сновидению атмосферу – сотрудничества. Именно это аналитика и настораживает. Она понимает, что ее представления о пациенте нуждаются в решительном пересмотре, что тот пытается на самом деле устроить свои домашние дела так, чтобы облегчить жизнь жене, что желания его, другими словами, не так неустойчивы, как кажется, что малый этот принимает себя всерьез, что он для ее работы не безнадежен. Что он способен, иными словами, войти в свою роль и вернуть себе то мужское достоинство, в котором ему до тех пор отказывали.

Теперь, сделав это открытие, придав своему отношению к желанию пациента новую ориентацию, поняв, что до сих

пор воспринимала положение дел неверно, она может пересмотреть свои отношения с пациентом и показать, что они были построены на самообольщении, что даже притязания переноса были притворством. С этого момента, утверждает она, все меняется.

Да, но как, в каком направлении?

Читая ее заметки, вы понимаете, что именно с этого момента анализ дается ей все тяжелее. Его сопровождают приступы депрессии и припадки ярости – создается впечатление, говорит она, что пациент проверяет во мне на прочность каждую частицу, и если, не дай бог, по моей невнимательности, эта частица обнаружит свою поддельность, сфальшивит, он готов, у меня было такое чувство, буквально развалиться на части. Даже если Люсия Тауэр всего не видит, назвать происходящее она умеет совершенно правильно – перед нами, говорит она, фаллический садизм в материале орального языка.

На чем стоит здесь остановить внимание? На двух вещах.

Во-первых, сами использованные здесь термины указывают на нечто такое, что, как я говорил вам, заложено в самой природе садизма: садист всегда ищет объект, а в объекте – ту маленькую частицу, которой там не хватает. Стоит истине его желания получить признание, как поиск объекта занимает в его поведении центральное место – не случайно отмеченные аналитиком в поведении пациента неприглядные отклонения носят явно садистский характер.

Во-вторых, занять место, лежащее на траектории поисков садистского объекта, вовсе не значит быть мазохистом. Люсия Тауэр себя ни в чем подобном не обвиняет, и нам нет нужды подобный грех ей вменять. Другое дело, что она навлекает на себя бурю со стороны пациента, в отношения переноса с которым она вступила не раньше, чем, как она сама имеет мужество откровенно признать, ее собственное желание оказалось в этом деле замешано, тем более, что между ней и двумя персонажами ее истории выстроился построенный на соперничестве треугольник. Она несет на себе, таким образом, последствия своего желания, испытывая то, что носит у аналитиков название *carry-over*, то есть

перенесение – когда вы, будучи с одним пациентом, все еще думаете о другом. Именно в этом явлении последствия контрпереноса выступают наиболее явно.

Тем не менее, говорит она, в момент, когда силы мои были уже на исходе, все это неожиданно и самым забавным образом, *amusingly*, прекратилось. Уехав на очередные каникулы, она вдруг обнаруживает, что груз этот свалился у нее с плеч. Что дело это, иными словами, совершенно ее не интересует. Она поистине оказалась в положении мифического персонажа – в положении Дон Жуана, выпорхнувшего из комнаты, где он только что сделал свои дела, на свободу.

Стоило ей таким образом из ситуации выбраться, как уверенность в успехе, рабочий настрой, безжалостная непосредственность взгляда – все это немедленно к ней вернулось. Для этого понадобилось, как видим, чтобы она сумела свои отношения с желанием верно оценить, отдав себе отчет в том, что как бы сложны они на поверку ни оказались – а проблемы у нее, по ее собственному признанию, действительно есть – с ними всегда, в конечном счете, следует сохранять дистанцию.

Вот об этом мы с вами в следующий раз и поговорим.

30 марта 1963 года.

XV
ПРЕДМЕТ МУЖСКОЙ ЗАБОТЫ

Люсия Тауэр и эдипова комедия
То, чего не хватает, предмет мужской заботы
То, что смехотворно именуют перверсией
Ваза, у которой ни внутреннего ни внешнего нет
Обрезание как установление

Итак, приступаем к делу.

Начну с вопроса к аудитории. Пусть те, кто по причине каникул не смогут придти на занятия в следующую пятницу, поднимут руки.

Хорошо. Я понял. В ближайшую пятницу занятий у нас не будет. Две следующих – перед Вербным и на Святой неделе, мы тоже пропустим. Очередное занятие состоится, таким образом, в пятницу на так называемой неделе Квазимодо. То есть двадцать четвертого апреля.

1

Я вновь начинаю с нашей Люсии Тауэр, которую, так получилось, уже использовал определенным образом в качестве примера той простоты, что свойственна позиции женщины в отношении к желанию. Но тот факт, что Люси Тауэр столкнулась с трудностями желания в меньшей степени, позволил ей, так или иначе, рассуждать с психоаналитической позиции если не более здраво, то, во всяком случае, с большей свободой, что в ее статье об обратном переносе и дает себя знать.

В силу того, что Тауэр довольно здраво именует здесь своим контрпереносом и что я назвал бы внутренней самокритикой, она обнаружила, что в оценке и ориентировании желания пациента нечто важное оказалось с ее стороны упущено. Тауэр не сообщает нам, что она пациенту в этот момент сказала, она говорит лишь, что вновь вернулась к возникавшим у него в переносе притязаниям, расставляя на этот раз все точки над *i*.

Делая это, она невольно дала пациенту понять, что нерав-

нодушна к тому, что сама же недавно и обнаружила – к тому, что его жена и происходящее в семейном кругу занимают его гораздо больше, нежели она предполагала прежде. Что касается пациента, то он истолковал, похоже, эту поправку по-своему, сделав вывод, что его желание не лишено-таки над аналитиком определенной власти и что он может, следовательно, женщину, которая является его аналитиком, до известной перед желанием его *склониться* – по-английски, *to stoop*: слово, знакомое по комедии Шеридана *She stoops to conquer*. Именно это слово находим мы, во всяком случае, в статье Люсии Тауэр и нам в данном случае остается ей доверять.

Она подчеркивает также, что в действительности ни о чем подобном ни на минуту не могло быть и речи. Сама она всегда начеку, всегда готова *to ware off*, она, слава Богу, не ребенок – да у женщин иначе и не бывает. Но дело не в этом. Благодаря этой поправке, обернувшейся своего рода соглашением, открытым для нее предложением, желание анализируемого пациента заняло свое настоящее место. Проблема же в том, что его, место это, он так и не смог никогда найти. Это, собственно, невроз тревоги и есть.

Мы уже говорили в прошлый раз, что у пациента происходит в этот момент своеобразный срыв. К этому не худо бы сейчас еще раз ненадолго вернуться.

Срыв этот ставит ее в тяжелое положение. Пациент напряженно изучает, *scrutinizes*, ее, создавая у нее чувство, что она не может позволить себе ни малейшей оплошности. Он испытывал меня, пишет она, кусочек за кусочком, и стоило ему хоть на мгновение заподозрить, что я не в состоянии на его действия отреагировать, как он сам буквально взрывался.

Что это означает? А означает это, что в поисках желания мужчины она сталкивается с тем, что в ответ на это он ищет вовсе не ее желание, а всего лишь *a*, объект, тот подлинный объект, который желание как раз и имеет в виду и который представляет собой не Другого, а именно этот остаток, *a*. Это как раз и называет она *быть больше мазохистом, чем я думала*.

Я лишь цитирую то, что она сама написала. Ясное дело, что она ошибается. Диалог мазохистского типа не для нее.

Это отлично явствует из ее отношений с Другим, Другим-пациентом, Другим-мужчиной – отношений, в которых допускает она, как вы сами увидите, блистательный промах.

Она отлично держится, как ни тяжело это ей дается. Но ближе к каникулам она выбилась из сил окончательно. К счастью, каникулы подоспели быстро и она внезапно к собственному изумлению, *amusingly sudden*, обнаруживает, что после прекращения сеансов все быстро приходит в норму. Она пожимает плечами и больше об этом не думает.

Почему? Потому что она прекрасно знает: искать он может всю жизнь, но о том, чтобы он нашел, и речи не может быть. Все дело и состоит как раз в том, чтобы она заметила, что искать ему, собственно, нечего, так как объект поисков мужчины, предмет мужского желания, имеет отношение лишь к нему самому.

Это и есть предмет моего сегодняшнего занятия. Ведь ищет он, собственно, ($-\phi$), то, чего ей не хватает, но это, как выясняется, чисто мужская забота.

Что касается ее, то она отлично знает – поверьте, не обольщайтесь на этот счет – что ничего такого, чего бы ей не хватало, у нее нет. Точнее, что образ, который принимает нехватка в развитии женщины, не артикулирован на том уровне, где взыскует его желание мужчины, чьи поиски носят ту садистскую окраску, о которой я в этом году уже говорил: он стремится восстановить то, что должно быть у партнерши на месте, где он предполагает нехватку.

Вот с этим представлением и нужно ему навсегда распрощаться. Сама Тауэр недвусмысленно дает понять в своем тексте, что работа, которую им с пациентом предстоит вместе проделать – это работа прощания. Ему предстоит распрощаться с надеждой обрести в партнере – в роли которого, сама того отчасти не подозревая, играла она сама – свою собственную нехватку, ту ($-\phi$), ту первичную кастрацию, которая является для мужчины фундаментальной данностью и на биологические корни которого, связанные с особенностями мужского репродуктивного уровня на этом уровне развития животных, я вам в свое время указывал.

Стоило ему с ней распрощаться, и все, как говорит нам Люсия Тауэр, пошло на лад. Что это значит? Да то, что те-

перь с ним можно спокойно выйти на уровень, которого ему до тех пор не удавалось достичь – на уровень того, что я не постесняюсь назвать в данном случае комедией Эдипа. Теперь можно спокойно потешаться над происходящим – *это, мол, все проделки папаши.*

Именно об этом, как давно всем известно, идет речь – вспомните Джонса и его *moralisches entgegenkommen*, снисходительность к вмешательству морального плана. Если пациент кастрирован, то по причине закона. Что ж, будем ломать предусмотренную законом комедию. Известно, давно отмечено, что дается это легко. Итак, желание нашего клиента исправно следует колее закона, очередной раз демонстрируя, что норма желания – это закон и есть.

Довольно ли я объяснил, чтобы сделать следующий шаг?

Нет, не довольно, так как я не показал разницу между тем, что было прежде, и новым этапом, который в результате работы расставания был достигнут.

Так вот, прежде была, собственно говоря, вина. Субъект сгибался под тяжестью, под бременем своего (-ϕ). Он был *без меры грешен* – вспомните, как использовал я в свое время соответствующее место у апостола Павла.

Итак, я делаю следующий шаг.

2

Доискиваться, как обстоит дело с желанием мужчины, не составляет для женщины никакого труда – более того, до определенного момента она ровно ничем не рискует.

Проще всего напомнить вам в связи с этим знаменитый отрывок – я цитировал его не раз – из текста, который приписывают Соломону. Я привожу его по-латыни, где он звучит особенно пряно: *tria sunt difficilia mihi*, пишет мудрый царь, *et quartum penitus ignoro*, есть четыре вещи, о котоорых я ничего не могу сказать, так как они не оставляют следа, *viam aquilam in caelo*, путь орла в небе, змеи на земле, корабля в море, и *viam viri in adulescentula*, мужчины в молодой девушке. Ни малейшего следа.

Речь идет именно о желании, а не о том, что происходит, когда на первый план выступает объект как таковой. Так что множество вещей, с которыми наша *adulescentia* сталкива-

ется и которые на нее так или иначе влияют, вроде эксгибиционизма или первосцены, остаются у нас в стороне.

Итак, с какой стороны к женщине подступиться, чтобы подтвердить возникшие у нас подозрения – подозрения, что нехватка и ей оказывается не чужда?

Нам все уши прожужжали историей с *Penisneid*. Поэтому мне сразу хочется с этим вопросом размежеваться.

Формирование объекта *a*, объекта желания, у женщины тоже, разумеется, имеет место. Получилось так, что женщины говорят. Это, быть может, и достойно сожаления, но это факт. Она тоже хочет себе объект, хочет постольку, поскольку она его не имеет. Это то самое, о чем Фрейд нам толкует – ее притязания на пенис до самого конца остаются связаны с отношениями между ней и матерью, то есть с требованием. Формирование объекта *a* обусловлено для женщины именно требованием. Она прекрасно знает, что в эдиповой ситуации дело не в том, чтобы оказаться сильнее и желаннее матери – время и так работает на нее – дело в том, чтобы иметь объект. Заложенная в структуру желания принципиальная неудовлетворенность носит, так сказать, докастрационный характер. Кастрация как (-ϕ) может заинтересовать женщину лишь постольку, поскольку она входит в проблемы мужчины. Для нее это вторично, или, как точно отмечает Джонс, *девтерофаллично*.

Вокруг всего этого и разворачиваются как раз споры, так, в сущности, и не разрешенные, о пресловутой женской фалличности – споры, в которых все участники оказываются, не умея правильно проблему артикулировать, по-своему правы. Я не притязаю на то, чтобы предъявить вам такую артикуляцию в готовом виде. Я лишь предложу вам несколько возможных путей, а вы уж сами сообразите, где зарыта собака, где выводы теоретиков оказываются беспочвенны.

Для женщины объект желания с самого начала формируется тем, чего у нее не имеется, а для мужчины, напротив, тем, чем он не является – не *недостача*, а *недостаток*.

Поэтому как раз и решил я прибегнуть к помощи Дон-Жуановского фантазма. Если фантазм Дон-Жуана – это фантазм женский, то это, в первую очередь, потому, что он отвечает нужде женщины в исполняющем определенную,

чисто фантазматическую, функцию, представлении – представлении, которое, как явствует из опыта, действительности не отвечает – будто есть среди мужчин один, у которого этот предмет есть, и не просто есть, а есть всегда, и утрачен быть не может. Ведь позиция Дон Жуана в фантазме как раз и предполагает, что ни одна женщина не может этого предмета у него отобрать – в этом вся суть. И это свойство Дон Жуан разделяет с женщиной, у которой этот предмет тоже отобрать нельзя, поскольку у женщины его просто нет.

Приношение мужского желания ценно для женщины тем, что объект этот – будем в словоупотреблении осторожны – становится в результате ее собственной принадлежностью. Это означает лишь то, что я говорил и раньше – что объект этот никуда не девается. Потерянный член Осириса – вот чего ищет и что стережет женщина. Этот фундаментальный миф связывающей мужчину и женщину диалектики пола уходит корнями в глубокую традицию. Даже женская психология в том смысле, который придается этому понятию в романах Поля Бурже, и та говорит нам, что женщина далеко не всегда думает, будто с другой женщиной мужчина для нее потерян. Фигура Дон Жуана убеждает ее в том, что есть мужчина, который в любом случае пропасть не может.

Есть, разумеется, и другие привилегированные, типичные способы разрешить трудную для женщин проблему отношений с *а*. Существует, если хотите, другой фантазм, но источник его не в ней самой, она его не придумала, она обрела его, так сказать, *ready-made*. Чтобы воспользоваться им, от нее требуется определенная решимость.

Я имею в виду тот лежащий в рамках нормы тип грубого любвеобилия, наиболее благородный пример которого находим мы в лице Святой Терезы Авильской. Некоторую пищу воображению дает в этом отношении и распространенный тип влюбленной в священника. Еще одна ступень, и перед нами оказывается эротоманка. Различие определяется уровнем, на котором желание мужчины взаимодействует с тем более или менее мнимым, что, будучи в его фигуре воплощено, сливается с *а* до неразличимости.

Я упомянул только что о Святой Терезе Авильской, но с тем же успехом мог я привести в пример Блаженную

Маргариту Марию Алакок, чье преимущество в том, что в образе Священного Сердца объект *а* обретает для нас зримую форму. Что касается влюбленных в священников, то, не утверждая прямо и безоговорочно, что возведенной в ранг установления кастрации для возникновения подобного типа достаточно, мы все же не ошибемся, заметив, что *а* как таковое, полностью обособленное, выдвигается в данном случае на первый план и преподносится женщине как привилегированный объект ее желания. Что касается страдающей эротоманией, то она ни в какой подготовительной работе со стороны общества не нуждается – она проделывает ее сама.

Мы возвращаемся, таким образом, к проблеме, с которой начали – к тому, каким образом можем мы артикулировать отношения мужчины с различными объектами *а* в том виде, в котором они ему предлагаются и навязываются и с которыми он научается в той или степени обращаться – объектами, определяющими окончательный статус объекта желания по отношению к кастрации.

Я попрошу вас вернуться теперь ненадолго к моей стадии зеркала.

Мне дали однажды посмотреть фильм, который был сделан в Англии, в специализированной школе, чтобы поверить психоаналитические представления о генезисе данными наблюдений на ребенком. Ценность этого документа тем более велика, что сделан он без малейшей предвзятости. Все этапы и перипетии столкновения маленького *baby* с зеркалом запечатлены здесь на пленку, отлично подтверждая названные мною для этой стадии временные рамки.

Я вспоминаю сейчас, что показ этого фильма был одним из последних мероприятий Парижского психоаналитического общества перед тем, как мы из него вышли. До расставания этого оставалось недолго и внимание было этим обстоятельством несколько рассеяно. Но я вполне сохранял тогда присутствие духа, и незабываемое зрелище девочки перед зеркалом стоит у меня перед глазами до сих пор. Если была в фильме деталь, конкретизировавшая введенное мной в прошлом году представление о том, что не имеет зеркального отражения, то это жест, которым девочка про-

вела рукой вдоль буквы *гамма*, образованной линиями соединения ее живота и бедер, – жест, выдававший мимолетное головокружение от увиденного.

Что касается мальчика, то он, бедняга, вопросительно смотрит на свой маленький краник. У него смутное подозрение, что здесь что-то не так. Впоследствии ему придется с горечью убедиться, что с тем, что есть у папы, старших братьев, и так далее, штука эта ни в какое сравнение не идет – ее словно нет вовсе. Первичная диалектика сравнения вам хорошо известна. Мало того, что ее нет, она знать ничего не хочет – точнее: если она и существует, то лишь у него в голове. Ему предстоит, иными словами, стереть ее личными усилиями с карты собственного нарциссизма – только при этом условии и удастся ему впоследствии ей худо-бедно воспользоваться.

Я не хочу сказать, что все это просто, и глупо было бы мне подобное мнение приписывать, ибо чем глубже мы стараемся ее упрятать, тем упорнее, ясное дело, обнаруживается она на поверхности. Именно эта игра и лежит, собственно говоря, в основе гомосексуальной привязанности: *я играю в поддавки – проигравший выигрывает.*

Я говорю об этом в самых общих чертах, но вашим знаниям о базовой структуре того, что нелепо именуют извращением, характеристика моя нисколько не противоречит. В гомосексуальной привязанности кастрация дает о себе знать постоянно. Гомосексуалист ее, эту кастрацию, себе усваивает. Ставкой в игре является ($-\phi$) и выигрывает он постольку, поскольку оказывается проигравшим.

Воспользовавшись случаем, я проиллюстрирую сейчас то, что, к моему удивлению, в прошлый раз, когда я говорил о сосуде с горчицей, осталось непонято.

Один из моих слушателей, более внимательный, чем другие, сказал мне следующее: *с вазочкой для горчицы все обошлось хорошо, многих из нас, во всяком случае, это не слишком шокировало – непонятно стало, когда вы снова заговорили о содержании: хорошо, вы заполняете ее наполовину, но чем?*

Давайте разберемся.

($-\phi$) – это полость вазочки, то самое, что заложено в определение *Homo faber*. Если женщина, уверяют нас, изначаль-

но ткачиха, то мужчина, безусловно, горшечник. Именно под этим углом зрения справедлива пословица, говорящая, что нитка тянется за иголкой, как за парнем – девушка. Сравнение, претендующее на естественность. Ничего подобного. Женщина действительно имеет обличье вазы – именно это партнера, пресловутого *Homo faber*, горшечника, и сбивает с толку. Он воображает, будто ваза содержит объект его желания.

Посмотрите, однако, что для нас из этого следует. То, о чем я скажу, шаг за шагом пройдено нами на опыте – никакой дедукции или реконструкции вам проделывать не потребуется. Замечено это было давно, и предпосылок к тому хватало – непонятно лишь было, как это можно правильно объяснить. С фантазматическим присутствием в глубине вазы фаллоса, фаллоса другого мужчины, мы сталкиваемся в аналитическом опыте ежедневно. Мне нет нужды возвращаться к Соломону, чтобы уверить вас в том, что присутствие это носит характер всецело фантазматический.

В вазе, разумеется, кое-что есть, причем далеко для желания не безразличное – яйцо, например. Но является оно, так или иначе, изнутри, доказывая нам, что наличие вазы схему, так или иначе, усложняет. В подготовленной фундаментальным недоразумением встрече яйцо может оказаться заинтересовано – встреча со сперматозоидом идет ему, как-никак, на пользу. Но возможность в будущем партеногенеза тоже, в конечном счете, исключить нельзя. Оплодотворение, в свою очередь, тоже может покуда принимать самые разные формы. Так или иначе, вазочка по-настоящему интересная, утроба, остается за сценой. Она имеет как объективный, так и психологический интерес – ведь как только материнство налицо, интересы женщины поглощаются им без остатка. Нам прекрасно известно, что в период беременности все эти истории с мужским желанием становятся не слишком уместны.

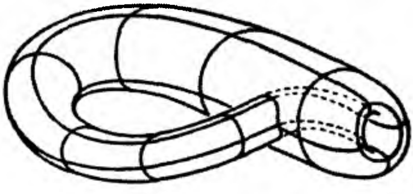
Итак, вернемся еще раз к знакомой нам вазочке для горчицы, доброму старому гончарному изделию, и идентифицируем ее как ($-\phi$). Иными словами, это вазочка кастрации.

В соседнюю вазочку позвольте мне, в качестве демонстрации, поместить то, что может стать для мужчины маленьким *a*, объектом его желания.

Горшочки эти служат у меня наглядным пособием, призванным обратить внимание на тот факт, что *а*, объект желания, получает для мужчины смысл лишь тогда, когда он оказывается перелит в полость изначальной кастрации. Первый узел, связывающий мужское желание с кастрацией, образуется лишь как следствие вторичного нарциссизма, то есть в момент, когда *а* отделяется от нарциссического образа *i(a)*, выпадает из него. Перед нами явление, ведущее к образованию того, что можно назвать краем. Как я вам в прошлом году успел своими топологическими выкладками продемонстрировать, что решающим моментом в формировании вазы является форма ее края, того выреза, который ее в качестве вазы обособляет.

Одно время мы стояли уже на пороге создания логики, выстроенной в соответствии с особенностями психоаналитического поля. Логику эту еще предстоит создать, хотя отдельные элементы ее я для вас уже наметил – логику большую и логику малую, но именно логику, а не диалектику. Имре Германн уже посвятил себя в свое время подобной работе, и, несмотря на неизбежную в любых диалектических рассуждениях путаницу, описал явление, названое им *Randbeforzugung* – привилегированную связь области психоаналитических феноменов с феноменом края.

Край сосуда кастрации представляет собой простую, непритязательную окружность, лишенную описанных мной в связи с лентой Мебиуса тонкостей и ухищрений. Последние, однако, несложно в нее ввести. Для этого достаточно соединить две противоположный точки края сосуда, развернув линии поверхности таким образом, что концы их соединятся как в ленте Мебиуса. В результате мы получим сосуд, от внутренней поверхности которого легко, не минуя края, перейти к внешней.



Структура сосудов а (*бутылка Кляйна*)

С нашими сосудами, сосудами *а*, это самое и происходит – вот здесь-то и возникает тревога.

Метафоры этой недостаточно, разумеется, чтобы наглядно воспроизвести то, что мне необходимо вам объяснить – тот факт, что первоначальный сосуд непосредственно связан с проявлениями сексуальной мощи, с периодическими выбросами ее энергии. Здесь на помощь приходят китайские, японские и другие картинки эрото-пропедевтического, а то и откровенно эротического характера. Да и в нашей культуре изображений такого типа можно найти немало.

Тревогу, однако, рождает не это. Сообщение сосудов позволяет понять, каким образом *а* становится тем, что оно есть, переходя в сосуд *минус*-фи (moins-*phi*) и оставаясь здесь в качестве *минус*-а (moins-*a*). С этого момента сосуд одновременно наполовину полон и наполовину пуст. Но суть, как я вам уже говорил, вовсе не в сообщении между сосудами, а в трансформации самого сосуда. Источником тревоги сосуд становится потому, что *а* наполовину заполняет в нем образованную первоначальной кастрацией полость.

Надо добавить здесь, что *а* приходит извне, что образуется оно лишь посредством желания Другого. Именно здесь мы сталкиваемся с тревогой и другим сосудом – тем самым, чей край имеет неоднозначную форму, не позволяющую ра*зграничить* внутреннее от внешнего.

Тревога, таким образом, складывается и формируется в отношениях, возникающих уже по ту сторону пустоты первого, так сказать, такта кастрации. Вот почему этот первый такт вызывает у субъекта всегда лишь одно желание – к нему вернуться.

После предстоящего перерыва в наших занятиях я буду много говорить с вами о мазохизме, так что сейчас заниматься им нет нужды. Если вы желаете подготовиться к этой теме получше, я могу порекомендовать вам – было, конечно, упущением с моей стороны не сделать этого до сих пор – ценнейшую, на богатом практическом опыте написанную статью, с автором которой мне, к глубочайшему сожалению, не довелось сотрудничать. Я имею в виду работу Грюнбергера *Набросок психо-динамической теории мазохизма*, опубликованную во втором, за апрель-июнь 1954 года, номере

восемнадцатого тома *Ревю франсэз дю псиканализ*. Работа эта, насколько мне известно, так и не была оценена по достоинству, хотя ее лондонская публикация под эгидой Фонда Института психоанализа позволяла на это рассчитывать. О причинах этого забвения я судить не решусь.

Вы увидите из этой статьи – я сейчас говорю о ней лишь для того, чтобы вы сразу поняли, насколько ценен содержащийся в ней материал – каким образом обращение к воображаемой стороне кастрации, к *мне хотелось бы, чтобы у меня это отрезали*, оказывается для тревоги мазохиста спасительным, умиротворяющим.

Речь здесь идет, конечно, лишь о первом такте кастрации, и притом постольку, поскольку субъект к нему обращается и стремится. Явление это не позволяет, конечно, исчерпывающе описать сложную структуру, о которой идет речь, и из моих объяснений вы уже поняли, вероятно, что когда я говорю о связи между тревогой и мазохизмом, меня интересует не моментальное переживание субъекта, а нечто совсем иное.

И это возвращает нас к тому, на что я в конце одного из предыдущих занятий ваше внимание уже обращал – к теме обрезания.

3

Я не знаю, Штайн, в какой стадии ваши комментарии к *Тотему и табу* в данный момент находятся, но ваши изыскания вполне могли заставить вас вплотную заняться *Моисеем и монотеизмом* тоже.

Так или иначе вы к этой работе, конечно, придете, и будете, я уверен, поражены тщательностью, с которой избегает Фрейд проблему того, насколько установления Моисея отражают в себе изначальный культурный комплекс и какова в этой связи функция заповеди обрезания – проблему, имеющую, между тем, структурообразующее значение.

В любом случае, вы не сможете не обратить внимание на сходство жертвоприношения крайней плоти с тем маленьким перекрученным предметом, который я однажды материализовал, так сказать, и пустил на занятии по рукам, чтобы на примере этого кусочка картона вам стало ясно,

как все это выстроено. Речь шла о результате сделанного на *cross-cap* центрального разреза, позволяющего обособить нечто такое, что можно определить как материальное воплощение объекта, лишенного зеркального образа. Оно-то и дает нам понятие о возникновении маленького *а* объекта желания в качестве автономного образования.

Обрезание воплощает собой, в прямом смысле этого слова, тот факт, что в дыру, образованную лежащим в основе первичной кастрации недостатком, может быть привнесен какой-то порядок. Все координаты, в которых кастрация располагается, ритуальная, даже мифическая, конфигурация возможностей, к которым она, в качестве инициации, обеспечивает первоначальный доступ, недвусмысленно указывают на ее связь с нормативизацией объекта желания.

Обрезанный посвящен – что обрекает его не столько на повиновение закону, сколько на определенного рода отношения с Другим, почему и идет у нас речь об *а*. И мне остается лишь пролить свет, *sunlight*, на то, что в А, без которого здесь не обходится, получает себе опору – на Бога иудеохристианской традиции.

Поразительно уже то, что в такой иудаизированной среде, как психоанализ, так и не переосмыслены оказались тексты, которые со времени Отцов Церкви до отцов Реформации и затем вплоть до восемнадцатого века, то есть в период Контр-реформации, толковались бесчисленное количество раз.

В восемнадцатой главе книги Бытия речь как раз и идет о фундаментальном характере закона обрезания как части заключенного с Ягве в неопалимой купине союза. Эта глава возводит учреждение обрезания к Аврааму. Критическая эгзегетика рассматривает, конечно, этот отрывок как добавление, сделанное в жреческой среде значительно позже и к преданию Иеговиста и Элогиста, этим двум первичным текстам, из которых слагаются книги Закона, не принадлежащее.

В тридцать четвертой главе мы находим, однако, знаменитый, не лишенный юмора эпизод, описывающий похищение Дины, дочери Иакова, сестре Симеона и Левия. Сихему, ее похитителю, предстоит теперь с братьями до-

говориться. Симеон и Левий требуют, чтобы он совершил обрезание. Мы не можем отдать сестру за необрезанного, говорят они – это для нас бесчестье. Здесь налицо совмещение двух разных текстов. Неясно, на самом деле, принимает ли похититель обрезание один, или это делают все его соплеменники. Предложение союза такого рода невозможно было между двумя семьями – речь явно идет о союзе племенного характера. Все люди Сихема принимают обрезание. В результате они на три дня делаются беспомощными, чем и пользуются новые союзники, чтобы их перерезать.

Это как раз один их тех очаровательных эпизодов, которые не укладывались в голову г-на Вольтера и дали ему повод для злословия по отношению к этой бесценной для тех, кто хочет понять, что же, собственно, именуется означающим, книге.

В то же самое время эпизод этот дает повод подозревать, что закон обрезания древнее Моисеевых заповедей. Я всего лишь указываю вам здесь на возникающие в этой связи проблемы.

Поскольку речь идет о Моисее и поскольку в наших кругах Моисей признан за египтянина, недурно было бы посмотреть, каким образом связано иудейское обрезание с обрезанием у египтян. Чтобы объяснить это, мне придется задержать вас еще на пять-семь минут, чтобы написанное мной на доске не пропало зря.

Об обычае обрезания у египтян упоминает немало античных авторов. Так, старик Геродот, порой заговаривающийся, но в целом вполне достойный доверия, не оставляет сомнения, что в его время, для Египта уже очень позднее, жители этой страны обрезание практиковали. Причем он придает этому факту очень большое значение, утверждая, что именно у них все семитские народности Сирии и Палестины этот обычай заимствовали. На этот счет было сломано немало копий, да мы и не обязаны, в конце концов, безоговорочно ему доверять. То же самое он говорит, скажем, что весьма странно, о Халкидийцах, считая их почему-то египетской колонией. Но довольно об этом.

Будучи греком, и человеком своего времени, он не мог видеть в этом обычае ничего, кроме обычной гигиеничес-

кой меры. Так, он подчеркивает, что египтяне стремятся не столько привлекательно выглядеть, сколько быть опрятными, *katharoi*. Тем самым он, как истый грек, дает нам понять, что обрезаться значит, в какой то степени, себя изуродовать.

Об обрезании египтян мы располагаем, к счастью, и более прямыми свидетельствами – я назвал бы их иконографическими. Их всего два – вы скажете, небось, что это не так уж много.

Одно из них принадлежит эпохе древнего Египта – это изображение, найденное в Саггаре, в гробнице врача Анмахора. Считается, что он был врачом, поскольку стены гробницы покрыты изображениями операций. На одной из них имеется две сцены обрезания, из которых одну, левую, я постарался здесь воспроизвести. Я не знаю, удалось ли мне сделать рисунок разборчивым – я всего лишь выделил некоторые линии, не отклоняясь от подлинника. Вот мальчик, над которым совершается обрезание. Вот сам орган. Сзади него другой мальчик, который держит первого за руки, так как без этого ничего не получится. Персонаж, по всей видимости священник, о квалификации которого я судить не берусь, находится вот здесь. Левой рукой он удерживает орган, в другой у него продолговатый предмет, представляющий собою каменный нож.

Подобный каменный нож фигурирует еще в одном тексте, который остается по сю пору полной загадкой – я имею в виду отрывок из Библии, где говорится, что после эпизода с неопалимою купиной Моисей, узнав, что все, кто помнил в Египте о совершенном им убийстве египтянина, уже мертвы и что он может туда вернуться, отправляется в обратный путь. По дороге, однако – как сказано в старинном переводе, на постоялом дворе – Ягве нападает на Моисея, пытаясь его убить. Именно так в тексте и сказано. Тогда Сепфора, его жена, обрезает своего сына, еще младенца, и, касаясь отрезанной крайней плотью мужа, который сам обрезан не был, сохраняет его таинственным образом этой операцией, этим прикосновением, от гнева Ягве, который тут же оставляет Моисея в покое.

В тексте сказано, что Сепфора совершает обрезание с помощью каменного ножа. С подобным ножом встреча-

емся мы и сорока с лишним годами позже – эпизод десяти египетских казней я опускаю – когда Ягве велит Иисусу Навину взять каменный нож и обрезать всех присутствующих – всех тех, кому предстоит войти в землю ханаанскую. Речь идет о рожденных за годы странствования в пустыне, когда обрезание не совершалось. Теперь, прибавляет Ягве, я сверну над вами презрение египтян – избавлю вас от презрения египтян, как сказано в переводе.

Я упоминаю здесь эти тексты не потому, что собираюсь все их в дальнейшем использовать, а чтобы пробудить в вас, по меньшей мере, желание и потребность самостоятельно к ним обратиться.

Остановлюсь покуда на каменном ноже. Он свидетельствует, по меньшей мере, о том, что церемония обрезания имеет очень древнее происхождение. Это подтверждает находка, сделанная Элиотом Смитом недалеко от Луксора – в Нага-эд-Дире, если не ошибаюсь. Им были обнаружены два мертвых тела, носящих следы обрезания и относящихся к доисторическому периоду – не мумифицированным, одним словом, согласно формам, позволившим бы их датировать. Сам по себе, каменный нож говорит о том, что происхождение ритуала можно отнести, по меньшей мере, ко времени неолита.

Чтобы у вас не оставалось сомнений, добавлю, что три египетские буквы, написанный мной на доске – *S*, *B* и *T*, *SeBeth*, тоже однозначно указывают на обрезание. Знак, написанный мною вот здесь, представляет собой гапакс – это единственный раз когда он встречается. Похоже, что перед нами полустертый, поврежденный детерминатив фаллоса, известный по множеству других надписей, где он хорошо сохранился.

Другой способ обозначит обрезания приведен у меня вот в этой строке – он читается *FaHeT* . Сначала *F*, рогатая змея. Затем вот этот знак, *H* с придыханием, плацента. А это *T*, такое же, как в предыдущей надписи. А вот детерминатив, означающий пелену – обратите на него внимание, так как нам к нему предстоит вернуться. Он не произносится.

Далее идет *F*, то есть *он.PaN.P* – это крайняя плоть. Вместе с *N*, выполняющим здесь роль предлога *с*, это означает *пре-*

жде чем мы с крайней плотью не расстались. Ра означает *расстаться с крайней плотью.* Все это важно, так как говорит о том, что обрезание не рассматривалось как одностороння, так сказать, операция. Знак *расставания* фигурирует в этой египетской надписи не случайно.

Учитывая вес, важность которыми наделено в этой надписи малейшее слово, я попрошу вас обратить особое внимание на тот факт, что крайняя плоть сохраняется – сохраняется не просто как удаленный в операции предмет, а как то, что само эту операцию претерпело. Указание на этот факт находим мы и в одном месте у Иеремии, таком же загадочном и окончательно не истолкованном, как тот эпизод, на который я сослался чуть раньше – эпизод, где Сепфора обрезает своего сына.

Мне кажется, я дал вам некоторое понятие о функции обрезания, показав, что, существуя в контексте праздника, инициации, ритуального освящения, оно, участвуя в выстраивании объекта желания, отсылает нас по своей структуре к феномену кастрации. Это и станет в назначенный для следующего занятия день нашим отправным пунктом.

27 мая 1963 года

ПЯТЬ ФОРМ ОБЪЕКТА *МАЛЕНЬКОЕ а*

XVI
ВЕКИ БУДДЫ

Причина, синкопа объекта
Достоверность тревоги
Евреи и функция маленького а как остатка
Христианский мазохизм
Мужчина или женщина?

Мы остановились в прошлый раз на вопросе о роли обрезания в икономии желания – а точнее, объекта в том смысле, в котором предстает он в анализе: в смысле объекта желания.

Я закончил предыдущее занятие на отрывке из Иеремии, стихи 24 и 25 девятой главы, над которым столетия ломают голову переводчики, так как буквально еврейский текст означает – ***Я покараю каждого обрезанного в его крайней плоти.*** Поистине парадоксальный текст, который переводчики, даже один из последних и лучших из них, Эдуард Дорм, попытались передать формулой – ***Я буду преследовать обрезанных словно необрезанных.***

Я напоминаю об этом только затем, чтобы вы поняли, что речь здесь все время идет о постоянных отношениях с утраченным объектом как таковым. Этот объект *а*, будучи отрезан, воплощает собою тип отношений, всегда присущих расставанию как таковому. Приведенный мной отрывок в Библии не единственный, но именно он своей крайней парадоксальностью проливает некоторый свет на то, о чем каждый раз, когда употребляются термины *обрезание* или *необрезание*, идет речь. То, о чем идет речь, отнюдь не сосредоточено в том маленьком шмотке плоти, который является предметом этого ритуала. Выражения *необрезанные устами* или *необрезанные сердцем*, рассыпанные по всему тексту как самые простые и обиходные, свидетельствуют о том, что это принципиальное расставание с частицей тела, со своего рода довеском, становится для субъекта, отныне отчужденного от себя, фундаментальным символом отношения к своему телу.

Мы попытаемся сегодня взглянуть на эти же вещи шире, сверху, более отстраненно.

Как некоторым из вас известно, я только что вернулся из путешествия, обогатившего меня опытом, в том числе очень важным – опытом встречи и знакомства с некоторыми из тех произведений искусства, без которых даже самое тщательное изучение текстов, письменности и философии – в данном случае, буддийской – неизбежно остается сухим, мертвенным, недостаточным.

Я расскажу вам немного о том, что значила для меня эта встреча, и мы посмотрим с вами, какое место теперь, когда диалектика тревоги смещается в стороны проблемы желания, может занять этот опыт в решении занимающей нас в этом году фундаментальной проблемы.

1

Именно желание является, на самом деле, основой, целью, средоточием и поверкой на практике всего того, что на наших занятиях об учении Фрейда провозглашается. Учение это несет в себе нечто абсолютно новое и существенное и путь его пролегает именно здесь, через нас. Найдется ли из вас – я надеюсь, что да – один или несколько человек, способных подхватить его и понести дальше?

Теперь, вернувшись к оставленной нами теме, время поиному мотивировать то, о чем у нас в этом году идет речь. А идет она о том, что едва уловимое место, которое мы пытаемся очертить и определить, место, чей ультра-субъективный, так сказать, ореол никому до сих пор не бросался в глаза, место, где желание сосредоточено в его чистом виде, и есть то самое место, где формируется – и я вам показываю, как именно – объект объектов, названный мной объект *a*.

Говоря об этом объекте, мы предпочитаем применять к нему термин *объектальный*, в отличие от обычного *объективный*. Напоминая вкратце разницу между ними можно сказать, что объективность является последним словом западной научной мысли, коррелятом чистого разума, который оборачивается, в конечном счете – резюмируется, артикулируется – формальной логикой. Те, кто посещали мои занятия на протяжении последних пяти-шести лет, знают, что объектальность – это нечто совсем другое. Чтобы определить ее по возможности осязательнее и создать формулу,

которая бы уравновешивала предыдущую, скажу, что объектальность представляет собой коррелят страстотерпчества, связанного с операцией выреза. Как ни парадоксально, однако, но именно в этом определении формализм, в старом значении этого слова, и приходит к своему окончательному итогу. Именно этот итог, в *Критике чистого разума* так и оставшийся нераспознанным, его, этот формализм, задним числом объясняет.

Даже Кант – я бы сказал, Кант в особенности – безнадежно увязает в понятии причинности, до конца пытаясь эту важнейшую для всего механизма нашего ментального и жизненного опыта и ни к какому *a priori* не сводимую функцию, функцию причины, как-то обосновать. Причина всегда оказывается на поверку ни к чему не сводимой, неопровержимой, неуязвимой для критики.

Что она, эта функция, собой представляет? Как объяснить сопротивление, которое оказывает она любым попыткам свести ее к чему-то другому? Можно даже сказать, что весь путь западной философии как раз и представляет собой их, попыток этих, нескончаемую и так и не завершенную череду.

Свести причину к чему-то другому невозможно оказывается прежде всего потому, что по функции своей она пересекается, идентична с тем, в чем научил я вас в этом году различать, работая с ней, ту часть нас самих, ту часть нашей плоти, которая в формальный аппарат неизбежно оказывается включена, – то, без чего логический формализм абсолютно ничего бы для нас не значил

Логический формализм не просто заявляет на нас свои права и задает нашему мышлению и трансцендентальной эстетике определенные рамки – есть место, где он буквально нас берет за живое. Мы отдаем ему не просто материю, не просто наше бытие, поскольку оно сводится к мышлению – мы отдаем ему вырванный у нас самих кусок плоти. Он-то, этот кусок, и циркулирует в выработанном нами путем использования означающего формально-логическом аппарате. И ее, эту затянутую в механизм часть, нам уже никогда не вернуть. Именно этот утраченный нами на различных уровнях телесного опыта, где делалась купюра, объект

и является для функции причины настоящим субстратом, именно на нем эта функция держится.

Эта телесная часть нас самих является по сути своей, и по своей функции, частичной. Нужно хорошо помнить, что она телесна и что сами мы объектальны, то есть что объектами желания мы служим исключительно как тела. Об этом не следует забывать уже потому, что обращение к чему-то другому, что тело бы замещало, является одной из тех областей, откуда запирательство черпает свои творческие ресурсы. Желание всегда остается в конечном счете желанием тела, желанием тела Другого, и не чем иным, как желанием его тела.

Мы то и дело слышим, конечно, как говорят – *Мне нужно лишь одно: твое сердце.* Подразумевается при этом обычно что-то духовное: любовь, сердцевина человеческого бытия. Но язык и здесь, как всегда, истину проговаривает. Мы можем согласиться, что сердце является здесь метафорой, но не надо забывать при этом, что в метафоре нет ничего, что оправдывало бы использование этого термина в учебниках по грамматике, противопоставляющих буквальное значение значению фигуральному. В разных языках и культурах сердце может иметь самый разный смысл, служить метафорой самых разных вещей. Для семитов, к примеру, сердце является седалищем разума как такового. Но вовсе не к этим нюансам хотелось бы мне привлечь ваше внимание. Дело в том, что во фразе этой, как и во всякой другой метафоре, где фигурирует орган, сердце нужно понимать в совершенно буквальном смысле. Оно функционирует здесь как часть тела, как потрох. Почему эта метафора так живуча? Мы знаем места, где она, в форме культа священного сердца, жива до сих пор.

Эта маленькая книжечка Эдуарда Дорма напоминает нам, насколько важно метафорическое употребление частей тела для понимания еврейской и аккадской литературы, где выражение *все части тела*, что интересно, отсутствовало. Я рекомендую вам всем эту книгу – ее нетрудно приобрести, так как она вышла недавно у Галлимара вторым изданием. В метафорической функции фигурируют, как вы увидите, многие части тела, в особенности половые

органы, и в первую очередь орган мужской. Однако тексты об обрезании, мужском половом органе и крайней плоти, о которых я только что говорил, в книге, как ни странно, не упомянуты – их нет даже в ее оглавлении.

Как объяснить живучесть метафорического использования этой части тела для указания на то, что лежит в желании по ту сторону видимости? Да тем, что причина уже заложена в потрохе, уже прообразована в нехватке. Мы все этим причинным потрохом одержимы.

Да и мифологические дискуссии о функции причинности тоже неизменно отсылают нас к телесному опыту – будь то в классической, или в более или менее модернизированной, как у Мен де Бирана, версии.

Пытаясь дать почувствовать хрупкое равновесие между тем, что свободно, с одной стороны, и тем, что предопределено заранее, с другой, этот последний прибегает к понятию *направленного усилия.* Что делаю я сам, когда мне нужно донести до слушателей, что я под порядком причинности имею в виду? Я обращаюсь, в конечном счете, к своей руке. Но при этом мне тут же приходится обособить ее, рассматривать как посредника между моей волей и моим поступком. На функции ее мне удается сосредоточиться лишь постольку, поскольку она остается на миг сама по себе, желая при этом, чтобы я нашел способ ее любой ценой присвоить обратно. Мне приходится немедленно справиться с тем обстоятельством, что, будучи инструментом, она, тем не менее, не свободна. Мне приходится принять какие-то меры если не против ампутации ее, то, по крайней мере, против возможности утратить за ней контроль – возможности, что ей завладеет кто-то другой, что я сам стану чьей-то правой или левой рукой, что я, наконец, просто-напросто забуду ее в метро, словно какой-нибудь вульгарный зонтик или корсет, вроде тех, что еще несколько лет назад носили столь многие, но, как кажется, можно встретить и сегодня.

Нам, аналитикам, прекрасно известно, что это значит. Опыт работы с истерическими больными успел научить нас, что сравнение руки с чем-то таким, что можно, как механический протез, забыть или потерять, – это далеко не за уши притянутая метафора. Именно поэтому, пытаясь

уверить себя, будто она мне действительно принадлежит, и прибегаю я к функции детерминизма. Даже тогда, когда я о ее работе полностью забываю, мне важно знать, что она функционирует автоматически, мне важно, чтобы существовал какой-то нижележащий уровень, где всякого рода мускульные и волевые рефлексы убеждали бы меня в том, что она, даже если я на мгновение забуду о ней, никуда не денется.

Разговор о причине заходит, следовательно, тогда, когда нечто полагается как предмет для познания. Но функция познания одушевлена не чем иным, как желанием. Каждый раз, когда о причине, пусть даже в самом традиционном регистре, заходит речь, она оказывается тенью, или коррелятом, того, что составляет в функции познания ее слепое пятно. Не нужно было дожидаться Фрейда, чтобы это сказать. Стоит ли упоминать Ницше и тех его предшественников, кто впервые задался вопросом о том, какую роль в функции познания, играет желание: чего хотел Платон, настойчиво приписывая центральную, творческую, родоначальную функцию Верховному Благу, и чего хотел Аристотель, поставив на место Анаксагорова *ума* перводвигатель – перводвигатель, который нельзя, как-никак, рассматривать как простой мотор, бесчувственный к тому, что он приводит в движение, то есть к космосу как целому? А раз таким вопросом задавшись, нельзя уже не усомниться и в том, что познание почитает за обязанность представить нам в качестве последней причины.

К чему же приводит, в конечном счете, подобная критика? К сентиментальным размышлениям на тему, которая, на первый взгляд, ничего сентиментального в себе не содержит – на тему чистого, доходящего в своих выводах до конца, познания. В результате она создает коренящийся в психологии миф. В состав его входят устремления, инстинкты, потребности – сделайте еще один шаг, добавьте сюда потребности религиозные, и уделом вашим станут те блуждания разума, те, как называл их Кант, *Schwärmerei*, от которых к фанатизму открывается прямая дорога.

В силах ли мы такой критикой удовольствоваться? Не можем ли мы сделать шаг вперед и сформулировать проблему

более строго, выйдя за пределы того психологического материала, который оказался вписан в ее структуру? Нужно ли говорить, что этим как раз мы с вами и занимаемся.

Дело не в чувстве, которое ищет себе разрешения, а в структурной необходимости. Связь субъекта с означающим требует, чтобы желание получило в фантазме структуру, а функционирование фантазма предполагает наличие в функции *а* перебоев – синкоп, имеющих временн*ы*е характеристики. Иными словами, в определенных фазах фантазматического функционирования функция *а* стирается, исчезает из виду. Этот *aphansis* маленького *а*, это исчезновение объекта, который на определенном уровне фантазм выстраивает, как раз и находит свое отражение в функции причины. Каждый раз, когда мы оказываемся перед лицом последней причины, с которой даже критика ничего не может поделать, основу и корень ее как раз и надо искать в этом скрытом временн*ы*м перебоем объекте.

Именно этот скрытый объект является источником веры в перводвигатель Аристотеля – глухой и слепой, как я уже уже говорил, к тому, что служит ему причиной. Почему доказательство бытия Божия, которое я назвал бы *сущностным* и найти которое можно не у одного Ансельма, так как прибегал к нему и Декарт; доказательство, выводящее существование идеи из ее объективного совершенства; доказательство, которое столько раз оспаривали и осмеивали, и которое действительно хрупко и смехотворно, – почему, несмотря на всю эту критику, доказательство это еще воспринимается как достоверное, почему мы, в том или ином виде, стремимся к нему вернуться? Да потому что достоверность его является тенью другой достоверности – той самой, что я уже поименовал здесь как *достоверность тревоги*.

Я уже говорил вам, что тревога, по определению, это то, что никогда не обманывает – не обманывает именно потому, что любой объект от нее ускользает. Достоверность тревоги отнюдь не двусмысленна, она имеет под собой основание. Достоверность, которую связываем мы с обращением к первопричине – лишь тень этой иной, фундаментальной достоверности. Именно будучи тенью и кажется она нам такой хрупкой. Преодолеть сомнения как раз и призвана утверди-

тельная формулировка, характерная для того, что я назвал сущностным доказательством, – формулировка, которая в принципе не убедительна, ибо достоверность эта окажется, если поискать ее настоящее основание, лишь смещенной, вторичной, по отношению к достоверности тревоги.

Что из этого следует? – Что нужно поставить функцию познания под вопрос – поставить более радикально, чем это когда-либо в западной философии до сих пор делалось.

Но приступить к этой действительно радикальной критике мы можем лишь осознав, что познание налицо уже в фантазме.

2

Какова же природа этого содержащегося уже в фантазме познания?

А заключается она вот в чем: человек, который говорит, говорящий субъект, уже самой речью этой оказывается включен в свое тело. Корень познания – и есть эта вовлеченность в тело.

Речь не идет, однако, о той вовлеченности, которую с таким интересом и столь плодотворно изучает современная феноменология, напоминая нам, что в любом восприятии задействовано функционирование и присутствие тела как целого – *структура организма*, по Гольдштейну, или *структура поведения*, по Морису Мерло-Понти. Этот путь, приносящий обильный урожай фактов, предлагает нам то, к чему мы всегда стремились – преодоление дуализма духа и тела. Тело предстает здесь, на функциональном уровне, своего рода двойником, изнанкой, всех функций духа. Но это не значит, что это решение удовлетворяет нас, ибо в нем тоже налицо определенная подтасовка.

Философские реакции фидеистического характера, которые вызвала современная феноменология у некоторых борцов за дело материализма, вполне объяснимы, ибо в том виде, в котором оно в современных феноменологических исследованиях, изгоняющих его из сферы опыта, предстает, тело становится чем-то таким, что к материальным механизмам уже не сводимо. Если раньше мы веками видели в душе своего рода одухотворенное тело, в современной

феноменологии, наоборот, тело предстает своего рода наделенной телесными чертами душой.

Что нас интересует в этом вопросе и на что диалектика причины должна быть нацелена – это вовсе не тело, участвующее в любом процессе как единое целое. Дело не в том, что для видения недостаточно, как утверждают феноменологи, одних глаз, так как реакции наши зависят, к примеру, от цветовой атмосферы, в которую может быть погружен, или нет, наш кожный покров – хотя по Гольдштейну, чьим опытным данным безусловно можно довериться, дело обстоит именно так. Когда мы говорим о функции тела, интересуют нас факты совсем иного порядка – интересует нас включенность говорящего человека в цепь означающих со всеми ее последствиями, привилегированная точка, где вспыхивает над ним тот ультра-субъективный ореол, чей отблеск отныне падает на него навсегда, где берет, одним словом, свое начало желание. О теле, которое позволяло бы объяснить все как попытку привести *Umwelt* и *Innenwelt* в гармонию друг с другом, не может быть речи, ибо в силу включения его в диалектику означающих в нем всегда есть нечто такое, с чем оно было разлучено, что было принесено в жертву, нечто инертное – книга плоти.

Заговорив об этом, нельзя не удивиться очередной раз невероятному гению человека, которого мы зовем Шекспиром – гению, побудившему его связать тематику книги плоти с фигурой венецианского купца. Ведь именно фигура купца как нельзя лучше напоминает нам то, что уже на заре семнадцатого века не было ни для кого секретом: что вес и значение закону долга и дара – этому, как назвал его впоследствии Марсель Мосс, *тотальному социальному факту* – не придает какой-то третий, внешний, вроде описанного Леви-Строссом в *Элементарных структурах* обмена женщинами и вещами, элемент, – что ставкой в сделке является и может быть лишь та самая книга плоти – плоти, вырезанной, как сказано в тексте *Купца*, вблизи сердца.

Не случайно, конечно, выстроив на этой тематике сюжет одной из наиболее захватывающих своих пьес, Шекспир, откликаясь, словно духовидец, на что-то такое, что хотя и ощущалось всегда, но в последних глубинах своих затрону-

то так и не было, связывает ее с фигурой купца по имени Шейлок, еврея. Ведь ни одна известная нам записанная история, ни одна священная книга, ни одно писание, одним словом, не сравнится с еврейской Библией в умении наделить жизнью ту священную зону, где бьет час истины, возвещая о встрече с безжалостным, злобным началом в Боге, не принимающим уплаты долга иначе, как плотью.

Эту область, мною покуда едва затронутую, время сейчас назвать своим именем. Имя, которое действительно подобает ей и которое делает столь ценными в наших глазах только что упомянутые мной библейские тексты, коррелятивно, собственно говоря, так называемым антисемитским настроениям, чьи истоки столь многие аналитики, порою не безуспешно, считали нужным найти. А искать их и нужно как раз в этой упомянутой мною священной, хотя и запретной, зоне, которая именно здесь, в Библии, не просто артикулирована яснее всего, но жива и пребывает в жизни народа и по сей день – пребывает до тех пор, пока народ этот воплощает в себе ту функцию, которой, говоря об *a*, я дал уже ее имя, имя *остатка.*

Что такое остаток? Это то, что переживает испытание, о котором я говорил – деление поле Другого присутствием субъекта. В одном месте Библии, в имени второго сына Исайи, Шеар-Ясуф, остаток этот метафорически предстает как пень сваленного дерева, откуда берет начало новый, живой его ствол. Остаток вновь налицо и в слове *shorit*, которое находим мы в одном месте у порока Исайи. Функция остатка, эта неустранимая, переживающая испытание встречей с чистым означающим функция, – это тот пункт, к которому в прошлой лекции, цитируя отрывок пророка Иеремии об обрезании, я вас вплотную уже подвел.

Я уже говорил также о христианском решении – точнее, о способе которым смягчает оно неустранимость тех отношений, которые нас с вырезанным объектом связывают. Мазохистский сценарий получает в христианстве чудесное разрешение: диалектика Искупления учит христианина отождествлять себя идеальным образом с Тем, кто с этим самым объектом, с отбросом божественного отмщения, себя идентифицировал.

И лишь постольку, поскольку решение это было пережито, оркестровано, украшено, поэтизировано, довелось мне, не далее как сорок восемь часов назад, выслушать от европейца, только что вернувшегося с Востока, потешные жалобы на тему того, насколько жители этих краев бессердечны – хитрецы, лицемеры, мошенники, торгаши, они только и думают, как бы ловчее кого-нибудь облапошить.

Человек, который все это мне рассказывал, не пользуется здесь большой известностью, хотя сам считает себя, разумеется, звездой первой величины. Он серьезно полагал, что в Японии его принимали так хорошо потому, что каждому приятно было потом похвастаться знакомством с европейской знаменитостью, чуть ли не лауреатом Гонкуровской премии. Такие вещи, говорил он, невозможны были бы у меня на родине – я умалчиваю, чтобы не выдать его, на какой именно – где люди ведут себя откровенно, не скрывают, к чему у них лежит сердце, и дипломатию разводить не привыкли.

Вот она, типичная для христианина иллюзия – он всегда считает себя сердечнее, чем другие. Но, помилуйте, с какой стати? Дело значительно прояснится, когда вы обратите внимание на тот факт, что лежащее в основе мазохизма стремление спровоцировать у Другого – в данном случае, у Бога – тревогу, стало у христианина второй натурой. Игровую и двусмысленную сторону этого лицемерия нетрудно почувствовать, когда мы сталкиваемся в аналитическом опыте с первертной позицией.

Стоит ли это лицемерие того, что представляется нашему путешественнику лицемерием, свойственным человеку восточному? Он прав, конечно, когда чувствует разницу между тем и другим. Все дело в том, что восточный человек не христианизирован – именно это обстоятельство мы и попробуем сейчас продумать поглубже.

3

Я не стану сейчас, в подражание Кайзерлингу, объяснять вам восточную психологию.

Во-первых, никакой восточной психологии не существует. В Японию можно теперь, слава Богу, легко долететь

через северный полюс, так что ее вполне можно рассматривать как оконечность Европы. Чем она, уверяю вас, и является, так что придет день, поверьте, когда найдется какой-нибудь японский Роберт Музиль, который покажет, как у нас по-настоящему обстоят дела – насколько это христианское отношение к сердцу до сих пор живо в нас, не стало ли оно ископаемым.

Но не об этом сейчас пойдет речь. Я хотел бы сделать маленькое отступление, поделиться опытом, рассказать в красках об одной встрече, которая поможет мне подвести вас к разговору о том, что живо и доныне в некоторых буддистских практиках – а именно, в дзэн-будизме.

Вы понимаете, конечно, что вот так, на бегу, рассказывать об этом нельзя. Я приведу лишь впоследствии, в связи с тем, чем нам предстоит заниматься дальше, фразу, услышанную мною от настоятеля одного из монастырей Камакура, с которым мне предоставили случай иметь беседу. Без всякого повода с моей стороны он произнес слова, которые в контексте нашего с вами предмета, отношений между субъектом и означающим, прозвучали очень уместно. Но их я приберегу под конец. Встречи, о которых я расскажу сейчас, гораздо скромней и непритязательней – из тех, что для путешествий галопом, на которые мы своим образом жизни обречены, столь типичны. Это встречи с произведениями искусства.

Вас удивит, возможно, что я называю так скульптуры культового предназначения, которые в качестве произведений искусства задуманы не были. На самом деле как по замыслу, так и по происхождению своему они всегда, безусловно, невзирая на свою религиозную функцию, воспринимались и переживались как таковые. Поэтому будет лишь справедливо, если мы подойдем к ним именно с этой стороны, надеясь почерпнуть у них если не весть, которую они несут миру, то, по крайней мере, то важное, что могут они поведать об отношениях субъекта с желанием.

Я сделал второпях, в надежде сохранить важную для меня целостность впечатления, монтаж из трех фотографий единственной статуи – одной из прекраснейших, которую в этом краю, богатом подобными произведениями, можно

встретить, и относящуюся к десятому веку. Находится она в женском монастыре, обители Тодайдзи в городе Нара, который еще до десятого века служил в течение нескольких столетий местом, откуда осуществлялось управление империей. Обращайтесь с фотографиями, пожалуйста, осторожней, так как они мне скоро понадобятся.

Мы завели, таким образом, речь о буддизме. Вам известно уже, что его цели, его догматические устои и ту аскетическую практику, которая из них следует, можно резюмировать формулой, которая вызывает у нас живейший интерес – *желание есть иллюзия.* Что это означает? Слово *иллюзия* отсылает нас здесь волей-неволей к регистру истины. Истина, о которой идет речь, не является ни в коем случае последней истиной – чтобы уяснить это, необходимо уточнить, наряду с понятием иллюзии, функцию бытия. Говоря, что желание есть иллюзия, мы утверждаем тем самым, что оно ни на чем ни основано и ведет в никуда, в ничто. Но вы о нирване, хотя бы от Фрейда, достаточно наслышаны и знаете, конечно, что она к обращению в чистое ничто не сводится. Сама форма распространенного в дзенской догматике отрицания довольно красноречива – это знак *му*, 無, означающий довольно частный вид отрицания: *не иметь.* Одно это уже должно нас насторожить.

То, о чем идет речь – во всяком случае, на срединном этапе пути к нирване – в расхожих формулировках буддийской истины предстает всегда как недвойственность. Если у твоего желания есть предмет, то это не кто иной, как ты сам. Это не является, впрочем, оригинальной чертой буддизма. Слова *тат вам аси*, в другом ты узнаешь себя самого, можно найти и в Веданте.

Не имея возможности заняться историей буддизма или его критикой, я заговорил о нем здесь исключительно для того, чтобы подвести вас кратчайшим путем к тому, для понимания чего мой опыт – весьма необычный, как вы увидите – встречи со статуей окажется небесполезен.

Для того, кто вступает на путь буддийского учения, этап за этапом – что редко случается – следуя соответствующей аскетической практике, опыт его окажется тесно связан с функцией зеркала. Сама метафора зеркала будет встречать-

ся ему на каждом шагу. Очень давно, опираясь на тогдашние мои познания в этой области, я упомянул в одном из моих текстов о зеркале без поверхности – зеркале, в котором не отражается ничего. Таково было понятие, в котором я на том этапе, в той фазе, если хотите, в определенных целях нуждался. Вы найдете его в моей статье о психической причинности. Отношения между зеркалом и изображением в нем дают гносеологии столь простую и удобную в использовании модель, что проецируя ее, нетрудно бывает впасть в заблуждение. Мы знаем, насколько легко принимают предметы окраску, а то и форму, нашей души, вплоть до того, что они являются нам в виде нашего двойника.

Но стоит нам ввести в отношения с желанием объекта *a* как существенное – противопоставление двойственности и недвойственности начинает выглядеть совсем по-иному. Ведь если то, что и есть по сути я сам, оказывается снаружи, причем не потому, что я его вовне проецировал, а потому что из меня это вырезали, то способы, которыми я постараюсь его вернуть, будут совершенно иными.

Чтобы дать функции зеркала в этой диалектике признания смысл, не сводящий ее к простому фокусу, трюку или магической операции, необходимо сделать несколько замечаний. Первое из них – не поймите его в идеалистическом смысле – состоит в том, что глаз тоже есть своего рода зеркало.

Глаз, сказал бы я, организует мир, творя из него пространство. Отражая все то, что предстоит ему как отражение в зеркале, он может, будучи достаточно острым, различить в глазе, который видит он в зеркале, отражение мира, которое носит в себе он сам. Иными словами, чтобы создать эффект бесконечного зеркального туннеля, двух зеркал вовсе не требуется. Бесконечность взаимно отраженных образов возникает всякий раз, когда имеются глаз и зеркало.

Замечание это я сделал не ради его тонкости, а ради того, чтобы подвести вас к привилегированной точке – тому узловому пункту, что содержит в зародыше изначальное противоречие арифметики, откуда берут начало единица и ноль.

Образ, формирующийся на сетчатке глаза – тот, который наблюдаете вы в зрачке, – нуждается, чтобы возникнуть, в

существовании своего коррелята – коррелята, который, со своей стороны, образом не является. Если поверхности зеркала, которая призвана образ мира поддерживать, нет налицо, то не то что ничто этот мир больше не отражает, не то что мир в отсутствии субъекта исчезает – просто никакого отражения, собственно говоря, нет. А это значит, что прежде пространства есть некое Единое, которое содержит в себе множественность как таковую и предшествует разворачиванию пространства в собственном смысле слова – пространства, которое всегда выборочно и где вещи могут располагаться рядом друг с другом при наличии для них места. Бесконечное это место, или конечное, в деле не имеет значения.

Чтобы вы поняли, что я под этим Единым, представляющим собой не *mia* а *pollè*, всегда во множественном числе, имею в виду, я просто расскажу о том, что довелось увидеть мне в Камакура. Это статуя будды, трехметрового роста, выполненная скульптором двенадцатого века, имя которого хорошо известно, и материально воспроизведенная тут же в тысяче других статуй.

Это производит сильное впечатление, тем более, что проходить мимо них приходится по относительно узкому коридору, а тысяча статуй занимают, как-никак, немало места, причем все они выполнены в человеческий рост и наделены отчетливо индивидуализированными чертами. Для завершения этой работы скульптору и его школе потребовалось сто лет. На одной фотографии вы увидите статую будды в анфас, на других, сделанных из прохода, в ракурсе.

Монотеизм противостоит политеизму не так уж отчетливо, как вы привыкли себе представлять, – ведь тысяча и одна статуя этого храма представляют собой одного и того же будду. Каждый из вас, впрочем, теоретически, тоже будда – теоретически, так как не исключено, что судьба, забросив вас в этот мир, наделила свойством, которое окажется для становления буддой более или менее непреодолимым препятствием.

Так или иначе, субъективное Единое в его множественности и бесконечном многообразии представлено здесь как тождественное последнему Единому, в котором переход

к недвойственности уже совершен – Единому, лежащему по ту сторону всех космических изменений и волнующих мир страстей. Интересует нас, однако, не столько это явление само по себе, сколько возможность приблизиться благодаря ему к пониманию связей, которые его исторические и структурные последствия для человеческого мышления позволяют продемонстрировать как нельзя лучше.

Мне придется теперь сделать несколько уточнений.

Первое состоит в том, что в силу умножения атрибутов, дополнительных рук и голов, окружающих центральную голову, которыми эти фигуры наделены, перед нами оказывается, в конечном счете, тридцать три тысячи триста тридцать три идентичных существа. Но это просто деталь.

Второе заключается в том, что перед нами, строго говоря, не божество будда. Перед нами бодхисаттва, то есть еще не вполне будда. Он был бы буддой, если бы его здесь не было, но он как раз здесь, и притом в форме множества – множества, чье видимое воспроизведение потребовало таких усилий. Эти статуи и являются, собственно говоря, образом тех усилий, которые делает он, чтобы быть здесь, оставаться с вами. Бодхисаттва – это будда, которому не удалось еще, по причине препятствий, о которых я только что говорил, утратить интерес к спасению человечества. Вот почему вы, будучи буддистом, преклоняетесь перед этим пышным собранием. Тем самым вы выражаете признательность единству, снисшедшему к такому множеству, чтобы придти вам на помощь. Все случаи, когда вы нуждаетесь в помощи, здесь иконографически перечислены.

Боддхисаттва, о котором идет речь, носит на санскрите имя *Авалокитешвара*. Это имя исключительно популярно, особенно сейчас, среди светских адептов и любителей йоги.

На первой из пущенных мною по рядам фотографий вы видите историческую аватару этого персонажа. Еще до того как я заинтересовался японским, в годы, когда психоанализ оставлял мне больше досуга, судьба свела меня с Демьевиллем, моим замечательным учителем, с которым и читали мы вместе книгу, именуемую *Лотос истинного закона* – книгу, написанную на китайском и представляющую

собой перевод с санскритского оригинала Камарадживы. Этот текст ознаменовал собой исторический поворот, на котором возникла новая аватара, произошла удивительная метаморфоза, о которой я попрошу вас помнить: Авалокитешвара, этот печальник за человечество, превращается – начиная со времени Камарадживы, который, по-моему, в какой-то степени тому способствовал – в женское божество.

Зовется это последнее – надеюсь, вы на нужную волну постепенно настраиваетесь – Гуань инь, или Гуань ши инь. Имя это имеет приблизительно тот же смысл, что Авалокитешвара: *та, что заботится, дарует, идет навстречу*. Вот это слово, *Гуань*, о котором я только что говорил. А вот это, второе, означает слезы, стенания. Что касается *ши*, то оно может иногда опускаться.

Гуань инь – женское божество. В Китае оно однозначно изображается в женском облике – на эту трансформацию я как раз и прошу вас обратить внимание: над ней стоит задуматься. В Японии те же слова читаются как *Каннон*, или *Канндзенон*, в зависимости от того, опускается или нет знак, означающий *мир*.

Каннон предстает в женском облике далеко не всегда – я сказал бы даже, что в большинстве случаев это не так. Поскольку фотографии статуй из храма, где то же самое святое существо или божество – однозначного термина здесь подыскать нельзя – представлено во множестве форм, находятся сейчас перед вами, вы сами можете убедиться, что персонажи эти наделены усами и даже небольшими, едва намеченными бородками. Они представляют, следовательно, божество в мужском облике, с положенным количеством рук и ног – в соответствии, одним словом, с канонической иконографией этого персонажа.

То же самое существо изображает и первая статуя, чьи фотографии я пустил по рядам. Облик ее отвечает особому типу изображений, именуемому *Нлирин, Каннон*, или *Канндзенон. Нлирин* означает, как и санскритский оригинал этого выражения, *колесо желаний*.

Вот такая складывается у нас картина.

На разных этажах этой иерархии располагаются, как

достоверно доказано, ряд до-буддийских божеств. Они распределены в ней по уровням, этажам, знаменуя различные формы доступа к высшему воплощению Красоты, то есть к окончательному пониманию принципиально иллюзорной природы всякого желания. И вот в сердцевине этого собирающегося к центру – центру, который по сути своей нигде – множества, оживает и зримо воплощается на наших глазах все то живое, одушевленное, реальное, человечное, трогательное, что составляло некогда суть отношений человека с божественным миром – отношений, пропитанных и пронизанных желанием во всех его формах. Святость, с большой буквы, это центральное воплощение доступа к Красоте, предстает здесь в форме женского божества, которое отождествлялось поначалу ни больше ни меньше, как с новым воплощением индийского божества Шакти, женского начала мира, его души.

На этом нам на некоторое время предстоит задержаться.

Я не знаю, сумели ли вы, рассматривая фотографии, почувствовать ту дрожь, те невидимые токи, которые в присутствии этой статуи, уверяю вас, столь явственно ощутимы. И дело не только в том, что я там побывал сам.

Случилось так, что в сопровождении моего гида – одного из тех японцев, для которого ни Мопассан, ни Мериме, да и вообще ничто из нашей литературы не представляет секрета, даже Валери, о котором только и говорят – успех этого Малларме для нуворишей вообще является в нашу эпоху одним из наиболее поразительных фактов – ну ладно, спокойствие – так вот, мы входим в маленькое помещение, где находится статуя и обнаруживаем там коленопреклоненного мужчину тридцати–тридцати пяти лет, простого работника, возможно ремесленника, жизнью, во всяком случае, порядочно уже потрепанного. Он стоял перед статуей на коленях и явно молился – занятие, в котором мы принимать участие не собирались. Помолившись, он приблизился к статуе, так как ничто не препятствует подходить к ней и справа, слева, снизу ее касаться. Он созерцал ее некоторое время – как долго, я не могу сказать, так как смотрел на статую одновременно с ним. Его взгляд буквально лучился светом, что было тем более необычно, что передо мной был

человек хотя и не дюжинный – дюжинный человек так себя никогда бы не вел – но человек, чей тяжелый, трудовой образ жизни отнюдь не предрасполагал к такого рода художественному созерцанию.

Другой стороной моего восприятия статуи я поделюсь с вами в несколько иной форме.

Когда вы рассматриваете эту статую, ее лицо, ее выражение поражает вас тем, что на нем абсолютно невозможно прочесть, обращено ли оно целиком к вам, или, наоборот, всецело внутрь себя. Я не знал тогда, что передо мной Нлирин, или Канндзенон, но о Гуань инь задолго до этого уже слышал. *Так кто же это, в конце концов* – спросил я, имея в виду эти, да и другие такие же статуи, – *мужчина, или женщина?*

Я не стану подробно рассказывать вам о спорах и обсуждениях, которые вокруг этого вопроса разгорелись – вопрос этот, я повторяю, в Японии вполне осмыслен, так как не все Канндзенон одинаковы. Проведя своего рода статистическое исследование, на манер Кинси, я получил данные, позволяющие с уверенностью заключить, что ни моему высокообразованному знатоку Мопассана и Мериме, ни его многочисленным товарищам вопрос о том, мужчину или женщину изображают подобные статуи, никогда не приходил в голову.

На мой взгляд, для понимания многообразия способов, которыми проблема объекта решается, этот факт может оказаться по-своему ключевым. Все, что я только что о моей встрече с этим объектом вам рассказал, достаточно ясно свидетельствует, на мой взгляд, о том, в какой степени является этот объект предметом желания.

Если вам нужны еще детали, обратите внимание, что у статуи этой отсутствуют глазные отверстия. Вообще-то у буддийских скульптур глаза всегда есть, причем о них не сказать, что они закрыты или полузакрыты, так как подобному взгляду нужно специально учиться: из под опущенных век проглядывает лишь узкая полоска белка глаз и самый краешек зрачка. Так сделаны все статуи будды. Иное дело наша скульптура. На месте сомкнутых ресниц у нее лишь выступающая острая кромка: свет, отражающийся от де-

ревянной поверхности, создает впечатление, что под нею прячется взгляд. На самом деле ничего подобного. Я внимательно изучил деревянную поверхность сам, расспросил знатоков, и ответ, который я получил – мне трудно судить, насколько можно ему доверять, но дал мне его один из самых серьезных специалистов в этой области, профессор Кандо – состоит в том, что со временем щелка глаз на статуе просто исчезла, поскольку монахини монастыря, где она является главной святыней, почти ежедневно полируют ее поверхность, утирая пролитые этим воплощением божественного сострадания слезы.

Не менее тщательно полируются, надо сказать, и прочие части статуи. Гладкость ее поверхности просто невероятна: на фотографии вы видите лишь ее слабый отблеск – отблеск сияния, в котором нельзя не узнать, в свою очередь, лишь отраженный отблеск того желания, которое насельницы этого монастыря столетиями лелеяли по отношению к этому существу психологически неопределенного пола.

Час уже такой поздний, что мне пора на этом остановиться. То, что я вам сегодня сказал, позволит нам несколько осветить лежащий впереди участок пути.

Итак, на оральной стадии налицо связь между требованием, с одной стороны, и скрытым желанием матери, с другой. На анальной стадии желание имеет дело с требованием матери. На стадии фаллической кастрации налицо фаллос со знаком минус: в момент возникновения в поле Другого сексуального желания как такового орудие желание оказывается поражено негативностью. Но процесс на этих трех этапах не останавливается, так как в конечном итоге мы должны обнаружить структуру *a* – объекта, с которым пришлось расстаться.

Я не случайно заговорил было с вами сегодня о зеркале – не о том, где встречает нас на зеркальной стадии нарциссическое переживание образа тела как целого, а о зеркале как том поле Другого, где должно явиться впервые если не *a*, то, во всяком случае, его место – как том радикальном средстве, что позволяет нам перейти от уровня кастрации к миражу объекта желания.

Вернемся теперь к нашей статуе, объекту, притягательному для нас уже тем, что, будучи нашим образом, она остается при этом и чем-то иным. Каким образом заявляет она о себе здесь, в образе, который в контексте определенной культуры с полом, вроде бы, никак не связан? Вот тот странный и характерный вопрос, перед которым мы в заключение оказались.

8 мая 1963 года

XVII
РОТ И ГЛАЗ

Губы, зубы, язык
Грудной младенец, паразит
Пункт тревоги и пункт желания
Тревога и оргазм
Скопическое устранение кастрации

Список объектов, которыми оперирует фрейдовская теория: оральный, анальный, фаллический – вы уже знаете, что относительно принадлежности этому ряду объекта генитального у меня есть сомнения – предстоит дополнить.

Иными словами, объект, чья роль определяется его местом как *a*, объект, функционирующий как остаток в диалектике отношений субъекта с Другим, предстоит описать теперь в поле желания и на других уровнях. Легко видеть, что в моем курсе, в особенности в курсе этого года, определенные шаги в этом направлении уже сделаны.

Я, к примеру, достаточно ясно, хотя и в общих чертах, дал вам понять, что связанное с образом желание является функцией разреза в области глаза. А вот еще пример, выводы из которого нам сделать еще предстоит: то, что казалось нам до сих пор столь загадочным в некоем императиве, именуемом категорическим – императиве, в котором мы вновь обретаем фундаментальную достоверность – ту самую, по следу которой уже шла традиционная философия и которая приняла у Канта форму морального сознания. Объект *a* дает в наше распоряжение перспективу, в которой выясняется ее настоящее место.

Выбрав в этом году в качестве отправного пункта тревогу, я сделал это лишь потому, что на этом пути оживает перед нами вся диалектика желания – только он позволяет нам пролить на функцию объекта по отношению к желанию новый свет.

На прошлом занятии я попытался наглядно вам показать, как целая область человеческого опыта, подающая себя как залог того, что она именует спасением, могла исходить из положения, гласящего что желание есть иллюзия.

Что это означает? От поспешного вывода, что *все есть*

ничто, легко отделаться простой насмешкой. Но разве не говорил я уже, что речь в буддизме идет совссем не об этом. Если утверждение, что желание есть иллюзия, имеет для нашего опыта какой-то смысл, то важно понять, что именно делает его осмысленным, точнее – где именно вкрадывается ошибка.

Я учу вас связывать желание с функцией выреза и соотносить его определенным образом с функцией остатка, который его, это желание, живит и поддерживает – остатка, который аналитическая функция частичного объекта позволяет нам обнаружить. Другое дело – нехватка, с которой связано удовлетворение.

Несовпадение этой нехватки с функцией проявляющего себя желания, функцией, чье строение детерминируется фантазмом, с одной стороны, и мерцанием спаренного с частичным объектом субъекта, с другой, дистанция между ними – вот из чего берет свое начало тревога. Тревога является тем единственным, что на истину этой нехватки нацелено. Вот почему на каждом этапе формирования желания, если мы хотим понять, что функция желания собой представляет, нам обязательно нужно отыскать то, что я назову пунктом тревоги.

Это вынудит нас слегка отступить назад. Этот шаг диктуется, в сущности, всем аналитическим опытом, ибо дело обстоит так, словно в момент, когда Фрейд оказался в тупике комплекса кастрации, аналитическая теория обратилась вспять, пытаясь обнаружить наиболее радикальные проявления влечения уже на оральном уровне. На мой взгляд, тупик этот является таковым лишь на первый взгляд, хотя выход из него так по сей день и не найден.

То, что я сегодня скажу, позволит, возможно, сделать определенные выводы в отношении того, почему комплекс кастрации показался Фрейду непреодолимым препятствием.

1

Удивительно, что психоанализ, первым обративший внимание на узловую роль, которая принадлежит в формировании желания сексуальности как таковой, в ходе своего исторического развития все чаще вынужден был именно в

оральном влечении искать источник тех нарушений, аномалий, провалов, которые могут на уровне формирования желания иметь место.

Мало того, что это влечение хронологически более раннее – нам предстоит показать, что оно первоначально и по своей структуре, что именно к нему восходит, в конечном счете, этиология всех нарушений, с которыми мы имеем дело.

Я уже, собственно, подошел вплотную к тому, что позволит нам рассмотреть вопрос о возведении сексуальности к оральной функции под новым углом. Сейчас это всего-навсего метафорический способ говорить о том, что происходит на уровне фаллического объекта, избегая тупика, обусловленного тем фактом, что Фрейдом вопрос о функционировании комплекса кастрации так, в конечном счете, и не был решен. Возведение сексуальности к оральности скрадывает этот факт и позволяет говорить о ней так, словно тупика этого просто не существует. На самом деле, если и можно здесь говорить о метафоре, начатки того, чему оральное метафорой служит, надлежит искать на этом же самом, оральном уровне.

Вот почему я уже попытался однажды к функции выреза объекта на уровне орального влечения обратиться, говоря о дизъюнкции, несовпадении между местом удовлетворения, с одной стороны, и местом тревоги, с другой. Теперь предстоит сделать следующий шаг, к которому я вас в прошлый раз вплотную подвел, и обнаружить пункт совпадения между *a*, функционирующим как ($-\phi$), то есть комплексом кастрации, и уровнем, который мы назовем визуальным или пространственным в зависимости от угла, под которым станем его рассматривать, того уровня, с которого лучше всего будет видно, что ловушка желания собой представляет.

Чтобы сделать это – а это и является целью нашего сегодняшнего занятия – нам придется поначалу отступить немного назад, вернувшись к анализу оральной функции, уточнить, где находится на этом уровне вырез.

Грудной младенец и грудь – именно вокруг них завязываются хитросплетения аналитической драматургии, именно с ними связывают происхождение первых агрессивных

влечений, их задержек и отражений, в них видят источник наиболее важных нарушений в либидинальном развитии субъекта. Обратившись к этой тематике, не следует забывать о том, что в основе ее лежит жизненно необходимый для биологического выживания субъекта, принадлежащего к классу млекопитающих, акт – акт сосания.

Какой орган в сосании участвует? Конечно, губы.

Здесь вновь, как видим, функционирует то, что, как мы уже показали, является в структуре эрогенности самым важным – перед нами опять же функция края, кромки. Сам факт, что губы являют нам форму кромки, что они являются, так сказать, воплощением выреза, дает нам понять, что мы на верном пути.

Не забудем, что и на другом уровне, на уровне означающей артикуляции, базовые, наиболее тесно связанные с вырезом фонемы, согласные элементы фонем, формируются по сути дела, в основной своей части, в районе губ. Если у нас будет время, я еще вернусь к тому, что говорил раньше, и уже не раз, о базовых словах языка и их бросающихся в глаза особенностях. *Мама* и *папа* имеют лабиальную артикуляцию, хотя можно, конечно, спорить о том, насколько общий, или универсальный, характер, носит распределение между ними согласных звуков.

С другой стороны, сам факт, что в ритуалах инициации губы выступают как орган, который можно символически протыкать, выворачивать и подвергать прочим бесчисленным операциям, дает нам понять, что перед нами живая, давно получившая признание область человеческой практики.

И это все? Ведь за губами кроется то, что Гомер называет *оградой зубов*, укус.

Существование так называемых молочных зубов, этого виртуального укуса, который, наряду с фантазматической изоляцией кончика груди, играет в тематике агрессивности орального влечения важную роль – вот то, с чем связываем мы возможность фантазма соска как обособленного объекта, объекта не просто частичного, а именно отрезанного. Именно отсюда проникает в первичные фантазмы та основополагающая функция расчленения, констатацией кото-

рой мы до сих пор довольствовались. Значит ли это, что мы можем эту позицию сохранять?

Уже на нашем занятии шестого марта я специально подчеркивал, что вся так называемая диалектика отнятия от груди должна быть заново пересмотрена – пересмотрена в свете тех откликов, тех естественных резонансов, которые позволили распространить ее в аналитическом опыте на первоначальное расставание, на расставание рождения. Именно аналитический опыт позволяет с полным правом провести аналогию между отделением от груди и отделением при рождении от материнского тела. Будучи подкреплен данными физиологии, опыт этот на многое позволяет взглянуть по-новому.

При рождении, как я вам уже говорил, разрез проходит не там, где мы полагаем. Он вовсе не обусловлен агрессией по отношению к материнскому телу. Он является внутренним по отношению к тому первоначальному единству, которое на уровне рождения имеет место. Разрез проходит, иными словами, между тем, чему предстоит стать выброшенным во внешний мир индивидом, с одной стороны, и теми покровами, которые, будучи элементами яйца, однородными организму, который в процессе овулярного развития образовался, прямым продолжением его эктодермы и эндодермы, являются частью его самого. Разделение совершается внутри единства, которое есть не что иное, как единство яйца.

Мне хочется здесь обратить внимание именно на специфику в строении организма, свойственную млекопитающим.

Специфическим в формировании яйца почти у всех разновидностей млекопитающих является существование плаценты, и притом совершенно своеобразной, которую называют хорио-алентоидной. В силу наличия такой плаценты яйцо на всех фазах внутриутробного развития ведет в организме матери наполовину паразитическое существование.

Показателен для нас тот факт, что среди млекопитающих есть два особых отряда – однопроходные и сумчатые. У сумчатых различают два вида плаценты – хорио-аленто-

идную и хорио-вителлиевую, но мы на этих нюансах задерживаться не станем. Что касается однопроходных, то вы с детства их знаете хотя бы по той картинке в *Малом Ларуссе*, где целые стада их устремляются ко входу в новый Ноев ковчег. Их там по паре каждого вида, а иногда и по одному. Есть там, в частности, изображение утконоса, а также другого, именуемого ехидной. Эти однопроходные являются млекопитающими, но яйцо у них, хотя и расположено в матке, не связано с организмом матери через плаценту. Грудные железы, впрочем, у них уже существуют.

Первоначальная функция грудных желез просматривается здесь особенно хорошо. Они представляют собой нечто промежуточное между ребенком и матерью. Приходится предположить, таким образом, что разрез проходит в данном случае между грудной железой и организмом матери.

Здесь, еще до появления на другом уровне развития организма плаценты, когда кормление вне яйца больше не происходит и младенец, оснащенный всем необходимым для дальнейшего развития багажом, не обращается к родителям в поисках пропитания, перед нами налицо отношения, которые я называю паразитарными, где главную роль как раз и играет грудная железа, этот наделенный неоднозначной функцией амбоцепторный орган.

Иными словами, отношения ребенка с грудной железой имели место до появления плаценты и это позволяет считать ее органом, по своим функциям плаценте гомологичным. Грудная железа образует с организмом ребенка единство того же типа, что и плацента. Грудная железа как бы имплантирована в организм матери, наложена на нее. Это и позволяет ей функционировать, со структурной точки зрения, на уровне *a*, то есть того, с чем ребенок внутри сферы собственного существования расстается.

Последствия связи орального влечения с этим амбоцепторным объектом станут вам в дальнейшем ясны.

Что представляет собой объект орального влечения? То, что мы называем обычно материнской грудью. Где, на этом уровне, располагается то, что я только что назвал пунктом тревоги? По ту сторону сферы, объединяющую ребенка с грудной железой. Пункт тревоги располагается на уровне

матери. Тревога ребенка о нехватке матери – это тревога об истощении материнской груди. Место пункта тревоги не совпадает с местом, где формируются отношения с объектом желания.

Это особенно хорошо видно на примере животных, которые фигурируют у меня в качестве представителей отряда однопроходных. Все происходит таким образом, словно биологическая организация была специально создана неким предусмотрительным творцом с тем расчетом, чтобы о подлинном характере оральных отношений с привилегированным органом, именуемым грудной железой, никаких сомнений не оставалось.

Не знаю, известно вам это или нет, но после рождения маленький утконос пребывает некоторое время вне клоаки, в расположенном на животе матери месте, именуемом инкубатором. На этом этапе он находится внутри твердой, как у яйца, оболочки, из которой затем выбирается с помощью специального зуба и расположенного на верхней губе мясистого образования. Эти органы, помогающие зародышу покинуть яйцо, не специфичны для них – они существовали, еще до появления млекопитающих, у рептилий. У змей имеется только зуб, тогда как другие виды, черепахи и крокодилы, обходятся мясистым наростом.

Для нас важно вот что. Похоже, что грудная железа утконоса-матери начинает функционировать лишь тогда, когда младенец стимулирует ее расположенным у него на мордочке твердым бугорком. Он делает это в течение восьми дней и работа грудной железы определяется, похоже, именно его присутствием и активностью, а не автономным функционированием материнского организма. Интересно, что эти отношения носят противоположный характер, нежели у ребенка с грудным соском. Железы утконоса представляют собой, наоборот, углубления, куда входит клюв малыша. Вы видите у меня на рисунке элементы желез, дольки, где происходит образование молока и мордочка, которая туда вставляется – она не затвердела еще, как это позже произойдет, в форме клюва.

Таким образом, в организации млекопитающих нужно изначально отметить два пункта. Во-первых, это грудная

железа как таковая. Отношения с железой остается структурообразующими для сохранения и поддержания отношений к желанию. Грудная железа станет впоследствии фантазматическим объектом. Но имеется и другой пункт, пункт тревоги, где субъект имеет дело со своей нехваткой. Этот пункт с грудной железой не совпадает. Он как бы вынесен в Другого, будучи связан, на уровне матери, с существованием ее организма.

S	A
a	Тревога

Пункт тревоги

Вот схема, которую мы можем выстроить, исходя единственно из данных физиологии. На ней видно, что *a* представляет собой объект, расстается с которым не организм матери, а организм ребенка. Отношения с матерью не совпадают с тем образующим единый организм целым, от которого обособляется, изолируется остающийся непризнанным объект *a*. Отношения с матерью, отношения, в которых мать выступает как отсутствие, как нехватка, располагаются по ту сторону уровня, где произошло выделение частичного объекта, функционирующего в отношениях субъекта с желанием.

Отношения эти, разумеется, гораздо сложнее, и, говоря о функции сосания, необходимо учитывать, наряду с губами, существование такого загадочного органа, как язык. На эту загадочность обратили внимание уже давно – вспомните хотя бы басню Эзопа.

Язык позволяет уже на оральном уровне то, что исподволь выступает в нашем анализе как нечто одновременно гомологичное фаллической функции и в то же время ей странным образом ассиметричное. С одной стороны, язык играет в сосании важную роль, сохраняя при вдохе пустоту, притягательная сила которой придает функции сосания эффективность. С другой стороны, он вызывает в воображении первичный образ, в котором сосание выдает свой глубочайший секрет – секрет, которому суждено остаться в

дальнейшем, приняв облик фантазма, в основе всего того, что мы в состоянии артикулировать в отношении фаллической функции: я имею в виду образ вывернутой наизнанку перчатки, возможность вывернуть наружу все то, что хранит потаеннейший секрет внутреннего.

Итак, пункт, где возникает тревога, лежит по ту сторону места, где закрепляется в отношениях с частичным объектом фантазм. Именно об этом говорят судьбы того принимающего образную форму фантазма, который объясняет нашу веру в существование оральных отношений совершенно особого рода – фантазма, который обнаруживает себя в облике вампиризма.

В определенном аспекте своих отношений с матерью ребенок выступает своего рода маленьким вампиром: организм его какое-то время паразитирует на материнском. Бесспорно, с другой стороны, что в полном смысле вампиром дитя не является – оно ведь не пускает в ход зубы, чтобы добраться до живого и теплого источника своей пищи, скрытого в материнском теле. И все же сама аура тревоги, которой образ вампира, пусть даже мифический, окружен, обнаруживает истинный характер оральных отношений ребенка с матерью. По ту сторону реального функционирования организма дает о себе знать и приобретает конкретные очертания измерение, в котором образ вампира выдает свой глубинный смысл – измерение, где возможна нехватка, возникающая по ту сторону таящихся в тревоге по поводу истощения материнской груди виртуальных страхов. И это заставляет задуматься о функции матери. Именно вырисовывающиеся в эмпирических образах отношения с матерью позволяют развести пункт тревоги и пункт желания. На уровне орального влечения пункт тревоги лежит в Другом – мы испытываем ее именно там.

Анатомия это судьба – говорит нам Фрейд. В свое время, как вам известно, я критиковал эту формулу, считая ее неполной. Справедливой она станет не раньше, чем мы станем понимать термин *анатомия* буквально, в этимологическом его значении: *ана-томия*, функция выреза. Все, что нам известно об анатомии, с этим эффектом расчленения непосредственно связано. Судьба, то есть отношения чело-

века с функцией, которую мы именуем желанием, обретает жизнь лишь постольку, поскольку мыслимо становится расчленение тела как такового, вырез, который становится местом важнейших моментов его функционирования.

Это фундаментальное раз-ложение – не рас-ставание, а именно раз-ложение изнутри – вот что изначально, уже на уровне орального влечения, в то, как в дальнейшем будет выстраиваться желание, оказывается вписано.

Неудивительно поэтому, что именно на оральный уровень нам пришлось опуститься, чтобы найти доступное образное воплощение для того, что в связанных с совокуплением функциях представлялось нам до сих пор почему-то парадоксальным – тому факту, что даже там, в сфере совокупления, на первом плане остается образ расставания, выреза.

2

Этот вырез мы называем, не слишком удачно, кастрацией, поскольку этот образ лишения мужественности имеет широкое хождение.

Совсем не случайно и не по неведению, конечно, обратились мы к древнейшим фантазмам, пытаясь объяснить то, чему на уровне фаллической фазы объяснения найти не сумели. Надо сказать, что именно на оральном уровне возникает впервые то, что станет для понимания все последующей диалектики надежным ориентиром.

Я только что разграничил топологически желание и тревогу. Пункт тревоги находится на уровне Другого, в материнском теле. Функционирование желания – то есть фантазма, мерцания, тесно соединяющего субъект с *a*, того, посредством чего субъект оказывается с этим остатком, *a*, увязан, отождествлен – присутствует подспудно, в скрытом, неявном виде, во всяком отношении субъекта к любому объекту вообще, и наша задача его в этом отношении обнаружить.

Все это вы видите у меня на доске. Вот уровень *S* – уровень субъекта, который в моей схеме отраженной в зеркале Другого вазы располагается по эту сторону зеркала. А здесь перед вами отношения, возникающие на уровне орального

влечения. Вырез, как я вам уже сказал, является термином, без которого в поле Другого не обойтись. Желание функционирует внутри мира, который, давно лопнув, несет на себе внутри того, что осталось, в воображаемом или виртуальном виде, от оболочки яйца, следы первоначальной своей ограды. Мы заново приходим здесь к фрейдовскому понятию аутоэротизма.

Как же обстоят дела на том уровне, где возникает комплекс кастрации? Пункт желания и пункт кастрации буквально, как видим, меняются здесь местами.

Если что-то в психоанализе действительно вошло в моду, то это, в первую очередь, одно представление, пусть недостаточно четкое, но носящее на себе черты тяжелого завоевания, которое со времен фрейдовского открытия, впервые выявившего его структуру, шаг за шагом осуществлялось. Я имею в виду представление о кастрации, то есть представление о том, что в фаллической связи отношение к объекту скрыто предполагает лишение органа. На этом уровне без Другого явно не обойтись. Не будь Другого – будь то кастрирующая мать, или налагающий первоначальный запрет отец, неважно – не было бы и кастрации.

Принципиальная связь кастрации с функцией совокупления уже навела нас на мысль – подсказанную самим Фрейдом, который предупреждает нас, не приводя, однако, никаких оснований, что мы наталкиваемся на этом уровне на некую биологическую стену – что связь эту можно представить как коренящуюся в особенности функционирования органа совокупления у человека на биологическом уровне.

На других уровнях, в других областях животного мира орган совокупления, который мы можем, по аналогии, в грубом приближении тоже назвать мужским, представляет собой, как я уже говорил, своего рода зацепку, орган фиксации. И важно не впасть в заблуждение, полагая, будто механизм тумесценции и детумесценции, одна из разновидностей функционирования пресловутого органа совокупления у так называемых высших животных, принципиально связана с оргазмом.

Мы не станем гадать о том, как мог бы оргазм выглядеть у

животных, чей механизм совокупления устроен иначе, чем у нас. Тем более что в природе можно найти немало впечатляющих вариаций на эту тему. Пойдите вечером прогуляться на берег пруда, и зрелище двух плотно сцепившихся между собой стрекоз даст вам отличное понятие о том, что мы можем представить себе как долгий оргазм – *долгоргазм*, если можно так выразиться. Недаром напомнил я вам о фантазматической фигуре вампира, этом порожденном человеческим воображением способе припасть к самому источнику жизни, который становится для субъекта-агрессора источником его наслаждения. Само то, что в совокуплении высших, наиболее сходных с человеческим, организмов участвует механизм детумесценции, ясно говорит о связи оргазма с тем, что предстает нам как образ, первичный набросок выреза, отделения, ослабления, исчезновения, *aphansis*, функции органа.

Взглянув на вещи под этим углом, мы обнаружим, что пункт тревоги занимает в этом временном такте положение прямо противоположное тому, что занимал он на уровне оральной функции. Гомологом оральной точки тревоги становится здесь сам оргазм как субъективное переживание.

Этот вывод позволяет подвести основу под то, что мы часто наблюдаем в клиническом опыте: глубинную эквивалентность между оргазмом и некоторыми формами тревоги, возможность возникновения оргазма на пике тревожной ситуации, распространенные случаи – мы слышим о них со всех сторон – когда тревожная ситуации эротизируется и субъект начинает искать ее ради нее самой.

Объясняет он и то, о чем знает на опыте все человечество и что Фрейд только лишний раз подтверждает. Когда человек такого масштаба как Фрейд решается утверждать, что большего удовлетворения, чем оргазм, человеку, в конечном счете, пережить не дано, к этому стоит прислушаться. Но если это удовлетворение превосходит все то, что способен человек испытать и должно занимать поэтому преимущественное положение, если функция оргазма получает настолько преобладающее значение, не в том ли дело, что в глубине осуществленного оргазма лежит то самое, что с тревогой нерасторжимо связано и что я назвал достовер-

ностью? Оргазм и есть, по сути дела, осуществление того самого, на что тревога, этот индикатор достоверности, ее верный ориентир, указывает. Из всех видов тревоги оргазм – тот единственный, который действительно получает свое завершение.

Именно по этой причине достичь оргазма дано не каждому. Хотя на функцию, которую он выполняет для пола, где фаллическая реальность присутствует лишь в качестве тени, мы указать можем, оргазм остается у этого пола наиболее закрытым, загадочным, и место его остается, по сути своей, неуловимым.

О чем говорит нам этот параллелизм, эта симметрия, этот круговорот пункта тревоги и пункта желания? О том, что ни в одном из обоих случаев они между собою не совпадают. Здесь-то как раз и лежит, вероятно, исток той загадки, которую фрейдовский опыт нам завещал.

Поскольку ситуация желания – ситуация, которая не просто вплетена в психоаналитический опыт, а образует самую ткань его – так и не была Фрейдом артикулирована до конца, анализ встречает в конце препятствие, упираясь в то, что передается в моей записи фаллических отношений знаком (ϕ). Функционируя в структуре как ($-\phi$), именно в этой, отрицательной форме становится он коррелятом удовлетворения.

Если в конце проведенного по правилам Фрейда анализа пациент, будь то мужчина или женщина, настойчиво требует вернуть фаллос, который мы ему, якобы, должны, значит, мы так и не сумели провести различие между отношением желания к объекту, с одной стороны, и нехваткой, на которой зиждется удовлетворение, с другой.

Почему желание иллюзорно? Потому что оно всегда обращено в сторону, к остатку, образовавшемуся в отношениях субъекта с Другим – отношениях, которые собой это желание подменяют. Не существует устойчивого и всемогущего фаллоса, способного по природе своей поставить точку примирения в диалектике отношений субъекта с Другим и с реальным. Столкнувшись с тем, что все здесь строится на обмане, должны ли мы обязательно за этот обман цепляться, признать свое бессилие, ограниченность, признать,

что есть пункт, в котором исчезла разница между конечным анализом и анализом бесконечным? По-моему, нет.

Здесь-то как раз и обнаруживается потайной нерв того, что я давно уже, говоря о стадии зеркала, давал понять и что обязывает нас к попытке связать в единый узел желание, объект, и точку тревоги – тот новый объект *a*, одним словом, к которому я вас на прошлом занятии вплотную подвел: глаз.

3

Этот частичный объект не является, конечно, в анализе чем-то новым.

Достаточно вспомнить в этой связи статью такого классического, пользующегося в психоанализе всеобщим признанием автора как Фенихель, посвященную связи скоптофилической функции с идентификацией и обнаруженным им чертам сходства между этой функцией и оральными отношениями. Тем не менее, все, что на этот счет было сказано, справедливо представляется недостаточным.

Глаз ведет свое происхождение отнюдь не от млекопитающих, позвоночных, или даже хордовых. Глаз появляется на эволюционной лестнице на уровне организмов, не имеющих с нами ничего общего. Как мне приходилось уже говорить, существует он не только на уровне богомола, но и, например, у пиявки. Причем появляется он в исключительно дифференцированной форме и анатомически во многих существенных чертах сходен с нашим.

У глаза имеется важная особенность, на которую с самого начала нужно обратить внимание – это всегда двойной орган. Функционирование его обычно подчинено хиазму – он связан, иными словами, с узлом, соединяющим две симметричные части тела. Связь глаза с симметрией – пусть поверхностной, так как ни один организм не является полностью симметричным – обязательно должна приниматься нами в расчет.

Из тех мыслей, что я развивал в прошлый раз, вы уже уяснили, что в функционировании глаза с самого начала важнейшая роль принадлежит иллюзии, миражу. Тот факт, что глаз является зеркалом, предполагает наличие в нем,

в каком-то смысле, зеркальной структуры. Та, так сказать, трансцендентальная эстетика, что лежит в основе сформированного пространства, должна уступить место другой. Мы говорим о трансцендентальной структуре пространства так, словно она является для эстетического восприятия мира последней, ни к чему не сводимой данностью. На самом деле есть нечто, что из структуры этой исключено – сам глаз, то, что он собой представляет, его функция. Следы этой исключенной функции нам предстоит найти. В феноменологии зрения легко обнаруживается гомологичность ее другой функции – функции *a*.

Нам приходится ограничиться здесь лишь наметками, подсказками, замечаниями.

Все те – я говорю о мистиках – кто держится того, что я бы назвал реализмом желания и для кого всякая попытка достичь сути вещей связана с преодолением обманчивой внешности, которая никогда не мыслится иначе как видимость, давно обратили наше внимание на один феномен, с которым в природе встречаемся мы очень часто. Я имею в виду явления так называемого миметизма – явления, возникающие на той самой ступени биологической эволюции, на которой появляется глаз. У насекомых – обладающих, как это ни удивительно, парой глаз, устроенных так же, как наши – можно отметить появление парных пятен, чья роль состоит в том, чтобы другого, будь он хищником или нет, гипнотизировать, зачаровать. Физиологи, как эволюционисты, так и их противники, до сих пор ломают себе голову над происхождением этих пятен.

Присущий функции взгляда эффект зачаровывания, введения в состояние, когда субъективное содержание словно теряется, поглощается, покидает мир, само по себе загадочно. Существует, однако, центр излучения, позволяющий то, что открывает нам функция желания в зрительном поле, подвергнуть исследованию.

Поразительно, кстати сказать, что во всех попытках постичь, продумать, логически осознать тайну глаза – попытках, предпринятых для того, чтобы эту форму пленения желания уяснить – обязательно возникает фантазм третьего глаза. Мне нет нужды говорить вам, что на изображениях

будды, о которых у нас в прошлый раз велась речь, третий глаз всегда в той или иной форме присутствует.

Этот третий глаз обнаруживается и выходит на первый план уже в самых древних магико-религиозных традициях. Представление о нем дожило до Декарта, связывающего его, что любопытно, с таким регрессивным, рудиментарным образом, как эпифиз. Можно, наверное, предположить, что на определенном этапе биологической эволюции возникло и стало действительностью нечто такое, что несет на себе следы существовавшего в прошлом механизма третьего глаза, но предположение это праздное, так как никакого свидетельства о чем-либо подобном, никакого ископаемого, это подтверждающего, у нас нет.

То, что появляется в этом новом поле отношений с желанием в качестве коррелятива маленького *а* фантазма, представляет собой нечто такое, что можно назвать *нулевой точкой* (point zero). Распространение этой нулевой точки на все поле видения как раз и становится для нас источником того умиротворения, которое мы, говоря о созерцании, обычно подразумеваем. Душевный раздор, который несет желание, переходит в состояние хрупкого равновесия – такого же непрочного, как завеса, вот-вот готовая приоткрыться над скрытой за нею тайной. Создается впечатление, что поскольку опущенные ресницы будды не дают нам попасть под очарование взгляда, на который сами же намекают, образ его как раз и влечет нас к этой нулевой точке. Фигура его, оставаясь в видимом, обращена к невидимому, избавляя нас, однако, от встречи с ним. Она, иными словами, берет точку тревоги целиком на себя, упраздняя, ничтожа на какое-то время тайну кастрации. Именно это я хотел показать вам, говоря о психологической двусмысленности этих фигур, которую мне своим опросом удалось выявить.

Значит ли это, что вверить себя этому аполлоническому ноэтическому, созерцательному полю, где желание поддерживается упразднением своего центра, отождествлением *а* с нулевой точкой, мы никак не можем? Конечно нет – ведь именно эта расположенная между глаз нулевая точка, которая и остается в наших отношениях с миром, пока мир этот носит пространственный характер, единственным источ-

ником беспокойства. Это как раз и мешает нам рассматривать иллюзорность желания как последнее слово опыта.

Точка желания и точка тревоги здесь совпадают. Но, совпадая, они между собой не смешиваются, оставляя место для того *и все же* (*pourtant*), от которого диалектика нашего восприятия мира неизменно отталкивается, того *и все же*, которое в речах наших пациентов возвращается вновь и вновь. Я выяснил, кстати сказать, как это *и все же* звучит по-еврейски – это вас позабавит.

Пункт желания и пункт тревоги здесь совпадают, *и все же* желание, сводящееся здесь к упразднению своего центрального объекта, не лишено того, другого объекта, к которому апеллирует тревога. Оно не лишено объекта. Не случайно именно это *не без* (*pas sans*) выступает у меня как формула, в которой идентификация с желанием артикулируется.

Именно по ту сторону этого *оно не без объекта* и встает для нас вопрос о том, где именно можно тупик, барьер комплекса кастрации преодолеть.

Этим мы в следующий раз и займемся.

15 мая 1963 года

XVIII
ГОЛОС ЯГВЕ

Райк и использование символа
Звук шофара
Чтобы Бог помнил
Функция родинки
То, что на нас глядит

Чтобы хоть приблизительно сориентировать тех, кто, возможно, пришел сюда в первый раз, скажу, что мы пытаемся дополнить гамму объектных отношений, выстроив ее до конца.

То, что узнаем в психоаналитическом опыте о тревоге, понуждает нас к объектам анальному, оральному и фаллическому, каждый из которых порождает определенный тип тревоги и соотнесен с ним, добавить еще два уровня объектов, доведя, таким образом, их общее число до пяти.

Два последних занятия я посвятил уровню глаза. Сегодня я вновь воспользуюсь им как путевой вехой, чтобы перейти к следующему уровню, который и будет нас теперь занимать – уровню уха.

Представлять вещи таким образом можно, как я только что сказал, лишь в первом приближении. Абсурдно было бы полагать, что это действительно так и есть, не наделяя эти слова темным, эзотерическим смыслом. На самом деле нам важно установить, какова на каждом из этих уровней функция желания – все они отзываются друг в друге и от резонансов этих нам нельзя абстрагироваться. Все они интимным образом между собой связаны – в основе всех их лежит укорененность субъекта в Другом посредством означающего и возникновение остатка, вокруг которого разыгрывается драма желания, драма, которая так и осталась бы для нас непроницаемой, если бы не тревога, позволившая нам приподнять завесу над ее смыслом.

Все это и заставляет меня пускаться нередко в те ученые экскурсы, которые многих в моих занятиях так очаровывают – или разочаровывают. Поверьте мне, я прибегаю к ним поневоле. Метод, которым я веду занятия, станет когда-нибудь предметом для изучения. Не мне растолковывать вам его строгость. Его принципы будут однажды изложены в

зафиксированных, доступных передаче и пониманию текстах и тогда ясно станет, что метод этот не отличается, по сути своей, от самого предмета исследования.

Метод этот продиктован необходимостью. Истина психоанализа познается, по крайней мере отчасти, только в аналитическом опыте. С другой стороны, делая ее предметом публичных занятий мы, очевидно, предполагаем, что передать ее можно и иным образом. Но это еще ничего не решает, так как психоаналитический опыт должен сам быть сориентирован – в противном случае он собъется с пути. А сбивается он с пути тогда, когда, увлекаясь частностями, забывает о целом. Происходило это, как я с первого семинара не уставал твердить, в те моменты развития психоанализа, когда вместо углубления и дополнения того нового, что дало учение позднего Фрейда для исследования происхождения и статуса собственного я, вместо продолжения этой работы, произошло искажение, сокращение самого поля психоаналитического опыта, его извращение. Объясняется это, без сомнения, тем, что характерные для первых десятилетий развития фредовского учения, для исследователей первого поколения, яркость мысли и стилистический блеск сменились периодом своего рода отвердевания, закоснения.

Я обращусь сегодня к одному из представителей этого первого поколения – к здравствующему, надеюсь, и ныне Теодору Райку. Среди его многочисленных посвященных техническим и клиническим проблемам работ нас будут в первую очередь интересовать некоторые из тех, что несправедливо относят к области прикладного психоанализа – те, где он пишет о ритуалах.

Речь пойдет, собственно, о статье, опубликованной в восьмом номере *Imago* – я забыл захватить ее сегодня с собой – и посвященной предмету, название которого я написал еврейскими буквами на доске – *шофару*, שופר.

1

Яркость и плодотворность этой блестящей работы Райка очень характерны для стиля той многообещающей, но неожиданно пришедшей к концу эпохи.

Ничего равного тому, что тогда было написано, так боль-

ше и не появилось, и о причинах этого упадка не худо задуматься.

Однако по прочтении этой статьи вы убедитесь, что несмотря на похвалы, которых проницательность и глубокомыслие автора безусловно заслуживают, в ней максимально дает о себе знать та путаница, то отсутствие точки опоры, что находит свое наиболее ощутимое и яркое выражение в том, что я назвал бы чисто аналогическим использованием символа.

Сначала нужно пояснить, что шофар собой представляет, так не все, я подозреваю, знают, о чем идет речь. Это объект, который поможет мне осязаемо представить вам то, что представляет собой функция *a* на этом, последнем уровне – на уровне, где с его помощью можно продемонстрировать ту функцию поддержки, что связывает желание с тревогой в окончательный узел. Вы поймете в дальнейшем, почему вместо того, чтобы прямо сказать, в каком виде *a* на этом уровне выступает – а к тому, что заслоняет тревогу в связанном с Другим желании оно здесь отнюдь не сводится – я ищу к нему ключ в определенном объекте, в материальном предмете.

Что представляет собой шофар? Это рог. Это рог, в который надо трубить, чтобы извлечь из него звук. Тем, кому не доводилось никогда его слышать, могу посоветовать отправиться в синагогу в те дни, когда там совершаются ритуалы иудейских праздников, следующих за *Рош Гашана*, Новым Годом, и завершающихся Днем Прощения, *Йом Киппур*. Именно там услышат они трижды повторяющийся звук шофара.

Как правило, хотя не всегда, это рог барана, по-немецки *Widderhorn*, по-еврейски *Queren ha yobel*. Три из них, наиболее ценные и известные, приведены на репродукциях в статье Райка – они находятся в синагогах Лондона и Амстердама. Все они более или менее одинаковой формы. Классический шофар выглядит так:

Из чего сделан тот, что здесь нарисован, не очень понятно.

Еврейские авторы, интересовавшиеся этим предметом и составившие каталог его разнообразных форм, упоминают о шофаре, сделанном из рога дикого козла. Предмет такой формы, как у меня на доске, представляет собой, скорее всего, рог козла, но уже обработанный, измененный, укороченный – впрочем, кто знает: на самом деле он довольно длинный, длиннее, чем у меня на рисунке – и приспособленный для извлечения звука.

Те из вас, кто слышали или услышат этот звук в дальнейшем, согласятся, я думаю – не будем слишком вдаваться в лирику – что он их глубоко трогает и волнует. Даже если отвлечься от атмосферы сосредоточенности, покаяния, веры, с которой он обыкновенно ассоциируется, нельзя не признать, что каждый, чьего уха когда-либо он коснулся, охвачен бывает сильнейшей эмоцией, возникающей путем чисто слухового воздействия.

Читая работу Райка, не устаешь поражаться характерной для эпохи, когда она была написана, тонкости, глубине, проницательности, изобилию мысли. Они не просто рассыпаны в ней – создается впечатление, что все они исходят из единого центра, одной, все пронизывающей интуиции. С тех пор своего рода пресыщение, чувство, что методы, которыми мы пользуемся, себя исчерпали, успели притупить восприятие того, что рождается на наших глазах в этих первых статьях. Но в сравнении с другими учеными трудами своего времени – поверьте мне: вы знаете ведь, что за всем, что я здесь говорю, стоят горы, которые многим из вас могут показаться излишними, исследованного материала – подход Райка к изучению библейских текстов, соотносящих шофар с важнейшими событиями данного Израилю откровения, оказывается гораздо масштабнее. Хотя исходит он из позиции, которая – в принципе, по крайней мере – отвергает традиционные ориентиры и является если не скептической, то, во всяком случае, радикально критической, нельзя не поразиться тому, насколько глубже, чем прочие, на первый взгляд куда более основательные, благочестивые, бережно к смыслу текстов относящиеся коммента-

торы, умеет он проникнуть в суть дела: его мысль с самого начала устремляется к истине исторического события, о котором повествуют не раз цитированные мной библейские тексты.

Не менее удивительно наблюдать, как под конец Райк, не располагая теми теоретическими устоями, которые позволили бы его методу положить себе внутренние пределы, безнадежно запутывается. Шофар и тот голос, чьим носителем он является, преподносятся им как аналоги фаллической функции. Почему бы и нет? Но этого недостаточно: как и на каком уровне? – вот в чем главный вопрос. Но на него как раз мы и не получаем ответа. Дойдя до определенной границы, аналогическое, интуитивное манипулирование символом лишает комментатора каких бы то ни было критериев и в результате все безнадежно смешивается, все сливается воедино. Чтобы это лучше объяснить, я обращу ваше внимание на некоторые частности.

Рог барана действительно указывает на связь, а равно – почему бы и нет – на конфликт с той тотемической социальной структурой, внутри которой историческая авантюра Израиля была укоренена. Почему ничего не остановило Райка и не помешало ему идентифицировать в итоге с золотым тельцом самого Ягве?

Моисей, нисходящий с Синая в ореоле возвышенной Отцовской любви, его, этого Отца, уже убил. Доказательство этому сама ярость, с которой низвергнет он золотого тельца, чтобы отдать его, обратив в прах, на снедение соплеменикам. Черты тотемического пиршества здесь налицо. Но самое странное, что поскольку доказательство требует идентификации Ягве не с тельцом, а с быком, телец, о котором идет речь, неизбежно оказывается представителем сыновнего божества рядом с божеством отцовским. История с тельцом придумана, чтобы сбить нас со следа, заставив забыть, что был еще и бык. Что же тогда Моисей, этот отцеубийца, уничтожил в лице золотого тельца? Прослеживая, в отсутствии компаса, способного нас хоть как-то сориентировать, ряд смещений, автор приходит к выводу, что телец знаменует самого Моисея. Все оборачивается, таким образом, тотальным саморазрушением.

Я указываю лишь на узловые пункты, демонстрирующие, насколько далеко определенная форма анализа может зайти. Что касается нас, то мы ограничимся тем, что заслуживает внимания в связи с собственными нашими изысканиями.

Изыскания эти обязаны строго следовать принципам, изложенным в тексте, на идеях которого зиждется основанное мною Психоаналитическое общество – то самое, что дает мне основание вести с вами сегодня эти занятия. В этом тексте сформулировано к анализу определенное требование: чтобы занять в ряду прочих наук подобающее ему место, анализ должен поверить свою технику тем, что он предлагает и осуществляет поистине.

Я вправе вспомнить сегодня об этом тексте: мне ведь пришлось всерьез отстаивать и защищать его, в то время как многие из вас, вступив, волею судьбы, в это общество, не видели, возможно, в нем ничего, кроме пустых слов. Текст этот я считаю фундаментальным, ибо то, что психоаналитическая техника предполагает и осуществляет в качестве истины, является единственной точкой опоры, вокруг которой должны мы наши построения, сколь угодно структурированные, возводить. И если мы не поймем, что техника наша, основанная на манипулировании желанием, взаимодействии с ним и даже, в предельных случаях, на его исправлении, оставляет, тем не менее, понятие желания открытым и снова и снова ставит его под вопрос, то мы либо заплутаем в бесконечной сети означающих, либо вернемся бесславно на пути традиционного психоанализа.

Обратимся, однако, к выводам Райка, которыми сам он, не зная, что с ними делать, не может воспользоваться.

Возвращаясь к его анализу библейских текстов, я назову лишь те, что претендуют на изложение событий, связанных с Откровением. Это Исход, главы XIX и XX, стихи, соответственно, 16-19 в девятнадцатой и 18 в двадцатой.

В первый раз шофар упоминается в беседе Господа с Моисеем – беседе, происходящей, загадочным образом, в условиях оглушительного шума и грохота.

Часть этого стиха дает понять, что хотя подходить к окруженному громами и молниями кругу, где проходит бесе-

да, не только человеку, но и любому живому существу, строго запрещено, по звуку шофара народ может на гору подняться. Место настолько противоречивое и загадочное, что в переводе смысл изменен и сказано, что взойти могут лишь некоторые. Кто же именно? Вопрос остается без ответа.

Шофар вновь упоминается далее, где говорится, что народ, собравшийся, по-видимому, вокруг места события, слышит звук шофара.

Чтобы подвести под свой анализ основу, Райк не находит для его характеристики ничего лучше, как указать на то, что аналитическое исследование заключается в поисках истины в деталях. Характеристика правильная и вполне уместная, но это лишь внешний критерий: говоря о стиле исследования, он не дает в наше распоряжение критического подхода, который позволял бы установить, какая именно деталь заслуживает внимания. Давно известно, конечно, что деталь, способная послужить путеводной нитью, может ускользать от самого автора и, оставаясь для него невидимой, в его замысел не входить, но важно найти среди множества таких деталей критерий, вносящий в них если не иерархию, то, по крайней мере, какой-то порядок, позволяющий установить степень их важности. Но как бы то ни было, мы не можем не почувствовать, что зерно истины в анализе Райка все-таки есть.

Вернемся к библейским текстам. Наряду с Исходом, это шестая глава второй книги Самуила и тринадцатая глава первой книги Царств, где шофар упоминается всякий раз, когда речь идет об обновлении, в какой-то новой встрече, завета с Богом – будь это событие историческим или ритуальным.

Говорится в этих текстах и о других случаях использования этого музыкального инструмента. Во-первых, он звучит в дни ежегодных праздников, когда предметом торжеств как раз и служит воспоминание о Завете, его повторение. Во-вторых, он используется в таких исключительных случаях, как, например, церемония отлучения – того, например, которому, как вы знаете, двадцать седьмого июля 1656 года был подвергнут Спиноза. Он был отлучен от общины по всем правилом, включающим, наряду с проклятием, которое произносит первосвященник, и звуки шофара.

В свете сказанного, сопоставляя те ситуации, где это музыкальное орудие упоминается и в которых оно реально используется, Райк и приходит к выводу, что шофар есть не что иное, как голос Ягве, голос самого Бога.

2

При беглом прочтении покажется, что формула эта психоанализу вряд ли особенно пригодится, но в перспективе уроков, которые я вам даю, она становится очень важна.

Одно дело ввести тот или иной более или менее строго определенный критерий, и совсем другое – когда критерии эти, с их эффективностью и новизной, складываются в то, что называется профессиональным формированием и что на самом деле есть не что иное, как реформирование – реформация возможностей духа.

Нас с вами эта формула не может не привлекать – ведь она обращает наше внимание на то, что доводит отношения субъекта с означающим до конца, завершая их тем, что в первом приближении можно назвать его отыгрыванием (passage à l'acte).

Сейчас в аудитории, слева с самого краю, сидит человек, которого то, о чем я сказал, не может не заинтересовать. Это Конрад Стайн – и я не могу, воспользовавшись его присутствием, не признаться в том, насколько рад я был, когда обнаружил, что проделанный им анализ *Тотема и табу* привел его к идее того, что он назвал *первичными означающими* – означающими, неотделимыми от того, что он также называет действием (acte), то есть того, что происходит, когда означающее не просто артикулируется, то есть соединяется, сочленяется с другими в одну цепочку, а именно вокализуется, произносится вслух. Я, со своей стороны, был бы очень осторожен, пользуясь в этом контексте без комментариев таким термином как *действие*. Мне важно сейчас обратить внимание лишь на то, что мы оказываемся здесь перед определенной формой – но не формой действия, а формой объекта *a*.

То, что является носителем этого *a*, не имеет отношения к фонемизации. Мы знаем, благодаря лингвистической выучке, что фонемы представляют собой всего-навсего сис-

тему оппозиций – систему, благодаря которой возможны становятся замещение и смещение, метафора и метонимия. Система эта допускает реализацию в любом материале, где каждый элемент может быть четко противопоставлен всем остальным. Когда что-то из этой системы озвучивается, возникает новое, совершенно независимое, в себе пребывающее измерение – измерение вокальное.

В чем получает это потенциальное измерение свое телесное воплощение? Вот здесь-то, как вы, наверное, уже догадались, и преподносит нам свой урок тот объект, образцом которого послужил на сей раз шофар.

Это, как вы прекрасно понимаете, не единственный пример, которым я мог бы воспользоваться – я выбрал его потому, что он вам доступен, что он восходит, если верить тому, что о нем рассказывают, к самым истокам нашей традиции, что среди наших предшественников по аналитическому высказыванию уже был человек, который им занимался и его значение успел оценить. Есть ведь еще туба, рожок, и множество других инструментов, так как инструмент вовсе не обязательно должен быть духовым, хотя первый попавшийся тоже, разумеется, не подойдет. В абиссинской, скажем, традиции это барабан. Продолжи я рассказ о своей поездке в Японию, я рассказал бы вам о роли, которую в японском театре, для этой страны наиболее характерном, в театре Но, играют специальные, связанные с узловыми моментами пьесы, хлопки, указывающие на близость сюжетного поворота или развязки. Я мог бы также, обратившись к этнографическим данным, напомнить вам о так называемом *bullroarer*, инструменте, очень похожем на музыкальный волчок, хотя и совершенно иначе устроенном, который используется в ритуалах некоторых австралийских племен и издает хриплый звук, который само название инструмента сравнивает ни с чем иным, как с ревом быка. Райк сближает его в своей работе со звуком шофара, поскольку тот тоже является звуковым эквивалентом того, что в других местах библейского текста именуется *ревом Бога*.

Объект этот интересен тем, что голос предстает в нем как нечто такое, что может быть выделено, изолировано. И это позволяет нам поставить ряд вопросов, которые никог-

да прежде не возникали. О каком голосе идет речь? Не будем спешить с ответом. Смысл и место этого вопроса прояснится тогда, когда мы обратимся к топографии отношений с большим Другим.

Шофар используется в периодически наступающие моменты, которые знаменуют собой обновление заключенного с Богом Завета. То, что лежит в основе Завета, заповеди, шофар никак не артикулирует, но при этом он явно предстает как нечто такое, что призвано напоминать об этом Завете вплоть до догматических его деталей. Об этой функции напоминания, *Zakhor*, זכר, говорит и название момента, когда звучит этот ритуальный рог – того центрального среди трех торжественных звучаний шофара в конце постных дней Рош га-Шана момента, что именуется *Zikkaron*. Своего рода тремоло, характерное для определенного способа трубить в шофар, называется *Zikkron teru ah*. Сам звук шофара, *Zikkronot*, есть не что иное, как связанное с этим звуком припоминание. Припоминание того самого, без сомнения, над чем размышляют в предшествующий момент, *Aquedah*, тот момент жертвоприношения Авраама, когда Господь останавливает его уже готовую повиноваться руку и заменяет жертву, Исаака, тем агнцем, о котором вы все уже знаете, или думаете, будто знаете.

Значит ли это, что момент заключения союза включен в звук шофара без остатка? Воспоминание о звуке шофара, звук шофара как опора воспоминанию – да, но кто, собственно, призван вспомнить? Верные? Но ведь они и явились на праздник, чтобы на этом воспоминании на какое-то время спокойно сосредоточиться.

Вопрос это очень важный, так как, задавая его, мы встаем на почву, где вспыхнула у Фрейда мысль о повторении – повторении и той функции, которое оно выполняет. Является ли эта функция просто-напросто автоматической, связанной исключительно с повторением, с коловращением элементов означающей батареи? Или есть у нее еще одно измерение? Мне кажется, что если мы хотим аналитический опыт как-то осмыслить, измерение это необходимо найти. Это то самое измерение, что наделяет смыслом вопрошание, имеющее место в Другом. Не является ли, од-

ним словом, тот, чье воспоминание необходимо в данном случае пробудить, кого нужно заставить вспомнить, самим Богом?

Таков вывод, к которому приводит нас – я не скажу, этот простой музыкальный инструмент, нет, ибо само существование и функция такого орудия поневоле вызывает у каждого из нас глубокое изумление – но сама встреча с ним на нашем пути.

Нам важно понять теперь, куда этот выделенный нами объект внедряется, с какой областью нам надлежит его связывать – не внутри противоположности внешнего и внутреннего, недостаточность которой вы для себя уже уяснили, а по отношению к Другому, к стадиям возникновения и постепенного становления того поля загадок, которым является для субъекта его Другой. В какой момент может подобный объект выступить, наконец, открыто, в допускающей обособление форме?

О каком объекте идет речь? О том, что именуется голосом.

Мы прекрасно знаем его, или думаем, что знаем – это его останки различаем мы в мертвой листве блуждающих голосов психоза, это он паразитирует на субъекте в форме прерванных императивов сверх-я.

Именно сейчас и предстоит нам определить место этого нового объекта, который я, наглядности ради, попытался представить вам в удобной и, надеюсь, показательной форме.

Чтобы лучше сориентироваться, нам придется сначала соотнести его со ступенью, описанной выше, с функцией, которую в структуре желания несет глаз.

Все, что в новом измерении открывается, было, похоже, на предыдущей ступени завуалировано. К ней-то и предстоит нам ненадолго вернуться, чтобы выпукло обрисовалось то новое, что возникает на уровне, где *a* выступает в особой форме – в форме, именуемой голосом.

3

Вернемся к уровню глаза, который является в то же время и уровнем пространства.

Пространство, о котором идет речь, это не то простран-

ство, которое мы исследуем в качестве категории трансцендентальной эстетики, хотя помнить о вкладе, который сделал в понимание пространства Кант, стоит, даже если прямой пользы это не принесет – это пространство, взятое под углом зрения его отношений с желанием. В основе функции желания лежит все тот же центральный объект, объект *a*. О стиле и форме его каждый раз нужно говорить особо, но так или иначе он всегда обособлен и подвергнут элизии – там, где он поддерживает желание, его нет, но он сохраняет с желанием глубокую связь. Элизия эта нигде не заметна так хорошо, как на уровне функционирования глаза. Вот почему фантазм, являющийся для функции желания самой подходящей опорой, всегда имеет черты родства с визуальными моделями, согласно которым он, как правило, функционирует и которые, если можно так выразиться, задают нашим желаниям тон.

В пространстве, однако – и в этом *однако* (*pourtant*) вся соль моего замечания – ничто по видимости не отделено друг от друга. Пространство однородно, когда мы мыслим в терминах пространства, в том числе тело, наше собственное, где функция пространства берет начало. Это вовсе не идеализм. Это не происходит от того, что пространство является, будто бы, функцией духа. Здесь нет ничего, что оправдывало бы берклеанство в какой бы то ни было форме. Пространство не является идеей. Определенная связь тут налицо, но не с духом, а с глазом. Пространство к этому телу как бы привешено.

Как только мы начинаем мыслить пространство, нам приходится некоторым образом нейтрализовать тело, локализуя его. Подумайте о том, как физик описывает на грифельной доске положение тела в пространстве. Тело – это все, что угодно, и в то же время ничто – это точка. Однако это, как-никак, нечто такое, что локализуется в пространстве посредством чего-то, что пространственному измерению совершенно чуждо и порождает, разве что, неразрешимые вопросы, связанные с проблемой индивидуации – вопросы, которые, как вы знаете, у меня ничего, кроме смеха, не вызывают.

Тело в пространстве – это, по меньшей мере, нечто такое,

что предстает как непроницаемое. Реализм определенного рода в понимании пространства откровенно неприемлем. Я не стану перечислять вам здесь связанные с ним антиномии, но само использование функции пространства предполагает наличие той неделимой и точечной, одновременно необходимой и немыслимой единицы, которую именуют атомом. Речь не идет, конечно, о том, что обозначают этим термином физики, и ничего *атомного* в нем нет – в том смысле, что неделимым он отнюдь не является.

Пространство как раз и интересно нам лишь постольку, поскольку предполагает непреодолимое сопротивление бесконечному делению – реально пользоваться им можно лишь в том случае, если оно прерывно, то есть если действующая в его стихии частица не может располагаться в двух точках одновременно. Но если эту пространственную единицу, эту точку, приходится признать неотчуждаемой – что это для нас будет значить? Да то, что она ни в коем случае не может быть пресловутым *а*.

К чему я все это говорю? Мне просто хочется, чтобы вы скорее затвердили то, о чем ранее уже слышали. Я клоню к тому, что в форме своего образа, *i(a)*, я присутствую в Другом без остатка. То, что при этом утрачивается, остается для меня невидимым. В этом и есть смысл стадии зеркала. Нарисованная на доске схема призвана обосновать функционирование идеального Я и идеала собственного Я, а также продемонстрировать способ функционирования связи субъекта с другим в условиях, когда связь эта носит зеркальный характер, когда определяет ее собой то, что называю я в этом случае зеркалом большого Другого.

Образ в форме *i(a)*, зеркальное отражение, и есть объект, характерный для стадии зеркала. Заманчивость его связана не только со структурой каждого из субъектов, но и с самой функцией познания. Образ этот закрыт, замкнут и представляет собой гештальт, то есть отмечен господством так называемой хорошей формы. Уже одно это должно настораживать нас – ведь функция гештальта, основанная на характерном для этой области опыте встречи с *хорошей формой*, содержит, как известно, в себе ловушку.

Чтобы вскрыть кажущийся характер удовлетворения,

приносимого формой как таковой, а тем более укорененной в визуальном *эйдосе* идеей, чтобы разорвать покров иллюзии, достаточно ввести в визуальное поле пятно и посмотреть, куда острие желания в действительности направлено. Позволяя себе обыграть, чтобы лучше донести свою мысль, одно обиходное выражение, могу сказать, что любое пятно немедленно становится родимым, родинкой, украшением.

Именно родинки, эти *зернышки красоты*, и указывают на место, где находится *a* – *a*, сведенное в данном случае к той нулевой точке, о функции которого я вам говорил в прошлый раз. Глядит на меня не столько форма, сколько лежащее на ней пятно родинки. Именно этим взглядом оно парадоксально притягивает меня – притягивает больше порой, чем взгляд партнера или партнерши, и понятно, почему: ведь этот последний отражает меня и, следовательно, является всего-навсего моим собственным отражением, парами воображения. Чтобы сделать в*и*дение невидящим, в затвердевании кристаллика под действием катаракты нет нужды – к кастрации, которая на уровне спроецированного в образ желания всегда подвергается элизии, оно и так слепо.

Что же глядит на нас? Белок незрячего глаза, например. Можно воспользоваться и другим образом, который напомнит вам, наверное, один из прошлых наших семинаров. В одном из последних, призрачных кадров *La Dolce Vita* герой его, легкомысленный прожигатель жизни, выбегая из соснового леса, на фоне которого все четче вырисовывается его мелькающая между стволов фигура, оказывается на пляже, где взору его открывается неподвижный взгляд морского чудовища, которое рыбаки собираются извлечь на берег. Вот что глядит на нас в первую очередь, вот что показывает, каким образом всплывает в поле нашего видения, там, где находится послушное объекту *a* желание, тревога.

Таково же и свойство татуировки. Мне нет нужды напоминать вам о том замечательном месте у Леви-Стросса, где он рассказывает о неудержимом желании, которое охватывает изголодавшихся по любви поселенцев, когда он добираются до долины Параны, где их ожидают жены, чьи тела переливаются красочными цветами самых разнообразных татуировок.

С другой стороны, поскольку говорить о возникновении форм мне свойственно скорее в креационистском, нежели в эволюционистском стиле, хотелось бы упомянуть и о механизме видения как таковом, который первоначально возникает у пластинчатожаберных в виде расположенных на бахроме пигментных пятен – именно здесь впервые дифференцируется орган, обладающий уже зрительной, в полном смысле этого слова, чувствительностью. Но что может быть слепее пятна? А упомянув здесь о мушке-родинке, нельзя не вспомнить и то, что по-французски называют *летающей мушкой* – те черные точки перед глазами, что за порогом пятидесятилетия становятся первым сигналом грозящей зренью опасности.

Нулевой уровень *a* – вот чем маскирует порой визуальное желание тревогу, которая связана с тем, чего желанию принципиально не достает. Это и есть то самое, что велит вам рассматривать всякое оказавшееся в поле чисто зрительного сигнала живое существо не иначе как то, что в этологии именуется *domi*, как чистую видимость, куклу.

Объект *a* – это то, чего не хватает, он не имеет зеркального отражения и в образе остается неуловим. Я уже говорил вам, что образом открытого и в то же время безнадежно сокрытого скоптофилического желания является глазное бельмо слепца. Глаз самого зрителя является в Другом таким, каков он на самом деле и есть – бессильным. Именно это и позволяет нашей цивилизации прятать собственные устои в надежный сейф – в разных формах, сходных порой с дивидендами и находящимися в ее распоряжении валютными фондами.

Связь желания с тревогой предстает на этом уровне в радикально завуалированной, связанными с самыми обманчивыми функциями структуры желания форме. Этой последней нам предстоит противопоставить сейчас иную, открытую форму – форму, сообщаемую ей особой функцией, для описания которой я воспользовался сегодня, и не случайно, пресловутым шофаром.

Элементарные основы нашей традиции, заложенные Фрейдом уже с первых шагов, велят нам это, иное, измерение, четко различать. И здесь я вновь хочу воздать должное

нашему другу Штайну, который в своем докладе сумел это замечательно сформулировать. *Если желание* – говорит он, и я под его формулировкой готов подписаться, находя ее блестящей – *было изначальным, если первоначальное преступление действительно было обусловлено желанием матери, мы остаемся на почве водевиля.*

В начале, самым серьезным образом говорит Фрейд – стоит нам забыть о его словах, как вся цепь немедленно рассыпается, и именно не сумев первое звено цепи закрепить, анализ переживает, похоже, как в теории, так и на практике, период распада настолько явного, что непонятно порою, что вообще могло бы связать его воедино – в начале, говорит он, было убийство отца и все, что из него вытекает.

Следуя тому, что является, будем надеяться, в устах Райка только метафорой, – именно его рев, рев закалаемого быка, слышен нам до сих пор в звуках шофара. Проще говоря, именно первоначальный, принявший форму мифа факт убийства отца лег в основу явления, чью роль в икономии желания нам предстоит теперь уяснить – запрета, который наложен на то, что представляет собой, в своей наиболее фундаментальной форме, изначальное желание, и переступить через который нельзя. И все же факт этот вторичен по отношению к измерению, которое нам предстоит теперь рассмотреть – измерению, где возникает связь с важнейшим функционирующим в качестве *a* объектом: голосом. Эта функция голоса вносит в отношения между желанием и тревогой ряд новых для нас аспектов.

Так постепенно выяснится для нас значение функций желания, объекта и тревоги на всех уровнях, начиная с уровня их происхождения.

Чтобы предвосхитить ваши вопросы и дать понять тем, у кого они могли возникнуть, что я не забываю о бороздах, которые мне в нашем поле, для полноты картины, предстоит проложить, я сразу признаюсь, что с самого начала этого года не говорил ничего об объекте анальном, равно как и об анальной стадии.

Дело в том, что говорить о них, собственно, вообще невозможно, не пересмотрев целиком функцию желания ис-

ходя из точки, которая, оказавшись в моем изложении на последнем месте, является на самом деле первоначальной – из объекта голоса.

С этого я в следующий раз и начну.

22 мая 1963 года

XIX
ИСЧЕЗАЮЩИЙ ФАЛЛОС

От тревоги перед кастрацией к оргазму

Педагогика кастрации
Наслаждение в фантазме
Дефекация человека-волка
Вечно слишком рано
Тупики желания

Листая некоторые последние работы, посвященные связи между языком и мышлением, я мало-помалу стал представлять себе, что именно мне каждый раз хотелось бы поставить для себя под вопрос – под каким углом, иначе говоря, и каким образом пытаюсь я здесь подступиться к чему-то такому, что лежит, так или иначе – и с этим ничего не поделать – на пороге вашего понимания.

А иначе о чем было бы мне с вами здесь говорить?

1

Препятствие, о котором идет речь, объективно никакой особой трудности не представляет – прогресс любой науки ограничивает возможности речевого манипулирования ее понятиями и широту применения его в ничуть не меньшей, если не в большей степени. Однако помехи, которые возникают здесь, в психоаналитической области, заслуживает особенного внимания.

Избавиться от них не так просто, как от препятствий, возникающих при переходе от одной концептуальной системы в другую, к примеру, из Коперниковой в Эйнштейнову – переходе, который у людей, достаточно сведущих в математике, много сил и времени не отнимет. Очень быстро обнаруживается, что Эйнштейновы уравнения справедливы и включают им предшествовавшие как частные случаи, что проблему целиком снимает. Это не значит, как показывает история, что момент сопротивления полностью отсутствует, но продолжается он недолго.

В психоанализе, в психоаналитической технике, с которой все мы, в большей или меньшей степени, даже просто интересуясь анализом, имеем дело, разработка концептов

наталкивается на то же препятствие, что полагает границы аналитическому опыту как таковому, – на тревогу, связанную с кастрацией.

Прислушавшись к откликам собственного голоса, которые до меня с разных сторон доносятся – не обязательно, чтобы мне ответить, но, так или иначе, раздаются они всегда, из той или иной зоны, мне в ответ – создается впечатление, что все происходит так, будто в определенный момент происходит кристаллизация целого ряда точек зрения на психоаналитическую технику – точек зрения, строго соответствующих тому, что я назвал бы границами понимания. Все происходит, далее, так, словно в попытке эти границы преодолеть я выбрал для себя голос, следуя позиции определенной педагогической школы, по-своему ставящей проблемы соотношения между школьным преподаванием и созреванием мышления ребенка, словно я являюсь ее, этой школы, последователем.

Я действительно являюсь сторонником педагогического метода, который попробую сейчас определить и артикулировать. Судя по современным дебатам в области педагогики, различные школы далеки от согласия в отношении обсуждаемой темы – те из вас, чьи интересы лежат близко к этой области, смогут это без труда констатировать.

Для одной школы – той, к примеру, в основе которой лежат теории Штайнера, психолога, чьи работы, пользующиеся всемирным признанием, большинство из сидящих здесь даже не открывало – все определяется автономным созреванием интеллекта и в обучении остается лишь ориентироваться на возраст. Для другой – скажем, школы Пиаже – между тем, что мысль ребенка способна сформировать самостоятельно, и тем, к чему приобщает его научный метод, лежит пропасть. Эффективность собственно обучения сводится в обоих случаях, если присмотреться, к нулю.

Но обучение, как-никак, существует.

Если столь многие могут в научную эпоху этот факт игнорировать, то лишь потому, что с момента, когда мы оказываемся в поле научного знания, создается впечатление, что всем, имеющим отношение к собственно обучению – в смысле, о котором я скажу дальше – можно теперь пренеб-

речь. Когда определенный порог математического понимания оказывается преодолен, пути к этому достижению оказываются уже не важны. Для тех, кто принадлежит к поколению, которому понимание это с самого начало сообщалось в этом, формализованном виде, оно ни малейших трудностей не вызывает. Понятия, которые на предыдущем этапе развития математики показались бы чрезвычайно сложными, молодежью нового поколения воспринимаются почти беспрепятственно. В посредниках уже нет нужды.

Ясно, что в школьном возрасте дело обстоит не так. Весь интерес школьной педагогики как раз в том, чтобы ухватить этот живой момент и поставить ребенка с его умственными возможностями перед проблемами, которые слегка опережают его. Помогая ребенку подступиться к этим проблемам, просто помогая ему, мы делаем нечто такое, что не просто подстегивает, ускоряет его умственное созревание, но, в определенные периоды, которые психологи назвали чувствительными – те, кто хоть немного понимают в этом, смогут без труда за моей мыслью следовать, так как важно здесь, что я говорю, а не на что я опираюсь и с чем, возможно, они не знакомы – открывает дорогу к подлинному раскрепощению. Существуют области, где определенные формирующие восприятие практики приносят необычайно плодотворные результаты.

Именно такие результаты и могут, мне кажется, быть получены в области, которую мы здесь вместе с вами исследуем. Ввиду специфики этого поля, речь идет о вещах, в которых педагогам надлежит хорошенько разобраться.

Начало этой работе уже положено трудами авторов, свидетельство которых тем для нас интереснее, что сами они понятия не имеют о том, чем наработанный ими опыт может нам оказаться полезен. Я говорю о тех экспериментаторах, которые ничего не знают, да и знать не хотят, о психоанализе. Сформулированный таким педагогом тезис, согласно которому настоящее понимание понятий возможно лишь по достижении половозрелого возраста, заслуживает того, чтобы мы заинтересовались им и хорошенько к нему присмотрелись. Множество явных признаков указывает на то, что момент, когда понятие действительно начинает

функционировать, момент, чье название, *комплексуальный пограничный момент*, омонимичен у этих авторов привычному для нас термину *комплекс*, можно рассматривать в других координатах, связав его с созреванием в пубертатном возрасте объекта *a*, в том его понимании, которое я здесь предложил.

2

Позиция *a* в момент прохода его через то, что символически обозначено у меня как (-ϕ) – вот один из моментов, которые я ставлю своей целью в этом году прояснить.

Момент, характеризуемый записью (-ϕ), момент тревоги перед кастрацией, не может быть полноценно описан и воспринят на слух иначе, как посредством подхода, который заставит нас несколько отступить от темы.

Дело в том, что тревога эта не может быть предъявлена как таковая – можно лишь указать ее место, описывая вокруг нее концентрические круги. Вот почему в прошлый раз перешел я от оральной стадии к тому, что мы называем голосом, представив вам его в обособленной, материализованной форме объекта, ритуального рога. Позвольте мне сегодня оставить этот объект на время в стороне и вернуться к центральному пункту, о котором я, когда речь шла о кастрации, уже говорил.

Как в действительности соотносится тревога с кастрацией? Мы знаем, конечно, что переживание это относится к завершающей – хотя завершающая она, или нет, это еще вопрос – фазе анализа, но для понимания его сути этого далеко недостаточно.

Предваряя то, что сейчас выяснится в подробностях, скажу сразу, что функция фаллоса, воображаемого фаллоса, работает везде, на всех уровнях, где налицо определенные отношения между субъектом и *a*. Фаллос, в роли посредника, функционирует везде, где угодно – только не там, где его ждут, в фаллической стадии. Именно пропажа, к нашему вящему изумлению, вездесущего фаллоса на этой стадии, именно исчезновение фаллической функции на уровне, где фаллос должен, по идее, работать, и лежит в основе тревоги перед кастрацией. Отсюда и запись (-ϕ), которая эту пози-

тивную, так сказать, недостачу призвана регистрировать. Не сформулировав ее в этом виде, нельзя было бы сделать из нее подобающих выводов.

Чтобы справедливость этой формулы стала для вас ощутимой, я стану кружить вокруг нее в разных направлениях. Поскольку в прошлый раз я уже напомнил вам о характерной для визуального поля структуре, о том, что объект *a* в этом поле одновременно поддерживается и скрывается, мне остается лишь вернуться к сказанному, поскольку именно в этом поле фаллическое присутствие дает о себе знать в первую очередь, и притом способом, как известно, весьма травматичным – я имею в виду так называемую первичную сцену.

Всем известно, что несмотря на видимое присутствие фаллоса в этом поле в качестве функционирующего пениса, каждый раз, когда о фантазматической форме первичной сцены упоминают как о чем-то реальном, присутствие это неизбежно отмечено бывает некой двусмысленностью. Сколько раз можно прочесть, к примеру, о том, что его вдруг не оказывалось на месте! Порой травматический эффект сцены и обусловлен, в первую очередь, формами его внезапной пропажи, исчезновения. Достаточно вспомнить первичную сцену и сопровождающую ее тревогу в ее классической форме, описанной в случае человека-волка.

Нам приходилось слышать, что в самом факте нашего постоянного возвращения к связанным с фрейдовым открытием первичным примерам налицо определенная одержимость. Но примеры эти не просто иллюстрации, не просто метафоры – мы прикасаемся в них к самой сути того, с чем в аналитическом опыте имеем дело.

Что в откровении человека-волка, в образе – предвосхищающем то, о чем я говорю, как о функции – провала и рамки открытого окна, в чьей форме угадывается функция фантазма в самой тревожной его форме, является самым существенным. Суть, ясное дело, не в том, чтобы разглядеть, где здесь находится фаллос. Он здесь, можно сказать, везде, он идентичен кататонии, так сказать, дерева и сидящих на нем волков, которые – вспомните-ка: о чем-то подобном говорил я вам в прошлый раз – устремляют на него неподвиж-

ный взгляд. Искать фаллос в волчьем меху, в пять раз повторяющейся фигуре хвоста, нет нужды. Он налицо в самом отраженном образе, наделяя его кататонией самого субъекта – ребенка, ошеломленного, оцепеневшего, парализованного увиденным до такой степени, что ясно становится: то разлитое повсюду невидимое, что глядит на него в этой сцене, есть не что иное, как транспонировка его собственного застывшего тела, претворенного здесь в усаженное волками, что и отражено в названии знаменитого случая, дерево.

То, что речь идет о чем-то таком, что связано с переживанием полюса, который мы определили как наслаждение, не вызывает сомнений. Наслаждение это – родственное тому кошмарному наслаждению, которое переживает, не подозревая о нем, в другом случае Фрейда человек-крыса, наслаждение, выходящее за рамки любых находящихся в распоряжении субъекта ориентиров – как раз и предъявляется здесь в этой эрегированной форме. В этом оцепенении, которое делает субъект фаллосом, неподвижно фиксирует его, обращая в дерево, он сам становится не чем иным, как эрекцией.

На уровне симптоматического развития последствий этой сцены происходит в этот момент нечто очень важное. Фрейд утверждает, что элемент этот реконструирован не был, но он настолько принципиален, что все построение анализа рушится, если мы его не признаем. Элемент этот остается единственным, который так и не был интегрирован субъектом до самого конца – в нем налицо в данном случае то самое, что артикулирует впоследствии Фрейд, говоря о реконструкции как таковой. Элемент, о котором я говорю – это ответ субъекта на травматическую сцену путем дефекации.

Впервые столкнувшись с экскрементальным объектом – может быть, не совсем впервые, но именно теперь вынужден он появление этого момента в критический момент как-то объяснить – Фрейд связывает его с функцией, которой трудно подобрать лучшее имя, нежели то, что мы сочли в свое время подходящим для генитальной стадии – с функцией пожертвования. Это дар – говорит Фрейд. Он, как известно, с самого начала подчеркивает, что в случаях, когда ребенок опорожняет свой кишечник несвоевременно,

действие носит с его стороны характер подарка. Позвольте мне, надеясь, что вы помните о данных мною ранее ориентирах, без лишних комментариев описать эти действия как отыгрывание.

В тексте случая человека-волка Фрейд идет еще дальше, возвращая тому, что мы, говоря о жертвенности, предпочитаем стыдливо затушевывать, его подлинный смысл. Фрейд говорит в этой связи о жертвоприношении. Зная, что он интересовался этой темой, что, говоря о жертвоприношении, он читал, на пример, Робертсона Смита, есть основание думать, что в его устах это не пустопорожняя болтовня, не расплывчатая моральная аналогия. Если Фрейд говорит в связи с появлением в этом поле экскрементального объекта о жертвоприношении, это, как-никак, что-нибудь да значит.

Настала пора посмотреть, как обстоит дело на уровне нормального, если хотите, акта – того, что, справедливо или нет, характеризуют как зрелый.

3

На предпоследнем Семинаре я счел возможным, говоря об оргазме, описать его как эквивалент тревоги.

Я поместил его во внутреннее поле субъекта, оставив временно за кастрацией единственное обозначение: $(-\phi)$. Совершенно очевидно, что знак этот неотделим от вмешательства Другого, выступающего как угроза кастрации – характеристика, которая ему всегда, с самого начала, усваивалась.

Я заметил в этой связи, что приравнивая оргазм к тревоге мы возвращаемся к представлению о тревоге как ориентиру, как сигналу о единственных отношениях, которые нас не обманывают: именно в этом нужно искать основание того удовлетворения, которое мы в оргазме испытываем. Функцию оргазма и, в частности, характер удовлетворения, которое он приносит, можно понять лишь в той перспективе, где очевидно становится, что тревога объекта не лишена.

Я полагал было, что меня поняли и что возвращаться к этому нет нужды, но до меня докатились слухи, скажем так, о некоторых недоумениях, которыми поделились между собой два лица из числа, как я полагаю, наиболее осведом-

ленных моих слушателей, так что тем более удивительно, что у них возникли вопросы относительно того, в каком смысле надо слово *удовлетворение* в данном случае понимать. Может быть, речь идет все-таки о наслаждении – засомневались они. Не возврат ли это к тому смехотворному абсолюту, что грезится многим в пресловутом слиянии полов? Речь, к тому же, шла о точке тревоги – сколь бы скользкое значение в этот термин не вкладывать. Но если оргазм и тревога целиком совпадают, никакой тревоги нет вовсе. Что касается точки желания, чьей приметой является отсутствие объекта *a* в точке $(-\phi)$, то как соотносится она с точкой тревоги у женщины?

Отвечаю. Я вовсе не утверждал, будто удовлетворение в оргазме идентично тому, чему я дал определение в Семинаре об этике, говоря о *месте наслаждения*. В том, как мало удовлетворения оргазм, хотя мы им вполне довольствуемся, приносит, обнаруживается даже, похоже, некоторая ирония. Почему эта толика удовлетворения должна совпадать с той, и возникать в той же точке, что та, другая толика, которая является в совокуплении, даже удачном, уделом женщины? Вот что нам следует самым точным образом выяснить.

Нельзя же ограничиться туманным заявлением, будто удовлетворение в оргазме сравнимо, мол, с тем, что я назвал, в оральном плане, сокрушением требования путем удовлетворения потребности. На оральном уровне различие между потребностью и требованием поддержать нетрудно, но в других случаях различие это ставит вопрос о местонахождении влечения. Если на оральном уровне еще можно, прибегнув к некоторым ухищрениям, играть на том изначальном, что несет в себе укорененность влечения в требовании, то делать это на генитальном уровне мы не имеем права. Как раз там, где мы имеем, казалось бы, дело с самым примитивным из инстинктов, с инстинктом сексуальным, справедлива, более чем где либо, становится наша формула ($\$\Diamond D$) – формула, в которой структура требования зиждется на связи между требованием и желанием.

Что же, и от кого, на генитальном уровне требуется?

Тот факт, что совокупление представляет собой у людей

нечто трансцендентное их индивидуальному существованию, известен всем на опыте настолько хорошо, что сама очевидность эта мешает обратить на него должное внимание. Нам потребовался развернутый экскурс в биологию, чтобы убедиться в существовании строгого соответствия между появлением разделения на два пола, с одной стороны, и возникновением функции, которую несет индивидуальная смерть, с другой. В конечном счете, однако, мы догадывались об этом всегда. То, что приходится назвать выживанием разделенной на два пола породы, тесно соединяется в половом акте с чем-то таким, что не может, если слова наши имеют смысл, не затрагивать то, что мы определили, в конечном счете, как влечение к смерти.

Почему, в конце концов, должны мы закрывать глаза на то, о чем непреложно свидетельствуют всем хорошо известные факты и что в повседневном словоупотреблении давно зафиксировано? Чего же именно – я не спрашиваю пока, у кого, но поскольку требовать всегда так или иначе приходится у кого-то, этот кто-то оказывается нашим партнером, а впрочем, может быть, и кем-то другим, но это мы рассмотрим во втором такте – итак, чего же мы требуем? Удовлетворения, имеющего определенное отношение к смерти. Далеко наше требование, естественно, не заходит, это всего лишь так называемая «малая смерть», но, так или иначе, ясно, что мы ее требуем и что влечение самым тесным образом связано здесь с требованием заняться любовью. Нам требуется не что иное, как умереть, причем умереть от смеха – я не случайно всегда подчеркивал, что любовь спряжена с тем, что я называю чувством комического. Именно здесь, в любом случае, должна крыться причина того облегчения, которое человек после оргазма испытывает. Если удовлетворенным оказывается требование смерти – что ж, можно считать, что мы вышли из воды сухими.

Достоинство этой концепции состоит в том, что она объясняет появление тревоги при некоторых способах достичь оргазма. Тревога появляется – впервые Фрейд отметил ее появление в случаях *coitus interuptus* – по мере того, как оргазм отделяется от области обращенного к Другому требования. Появляясь, так сказать, на полях, где значение

утрачено, она продолжает, тем не менее, указывать на нечто такое, что нацелено на определенные отношения с Другим.

Я не собираюсь утверждать, будто тревога перед кастрацией – это тревога перед лицом смерти. Это тревога, соприкасающаяся с той областью, где смерть тесно связана с обновлением жизни. То, что анализ локализовал ее в этой точке кастрации, позволяет понять, что ее можно с равным успехом интерпретировать как то, в качестве чего она фигурирует в последних построениях Фрейда – как сигнал угрозы оберегаемому статусу *я*. Тревога перед лицом кастрации связана с тем, что находится по ту сторону этого оберегаемого *я*, с тем зовом наслаждения, который выходит за наши пределы, поскольку Другой привлекается здесь в регистре того реального, посредством чего передается и поддерживается определенная форма жизни.

Назовите это как хотите – Богом или гением рода – я, по-моему, достаточно ясно дал вам понять, что ни на какие метафизические высоты мы здесь не посягаем. Речь идет о реальном – реальном, лежащем в основе того, что Фрейд, говоря о принципе нирваны, охарактеризовал как то свойство жизни, в силу которого ей приходится, прежде чем достичь смерти, пройти через формы, воспроизводящие те, что дали индивидуальной форме возможность появиться на свет в результате слияния двух половых клеток.

Какой вывод можно сделать отсюда в отношении того, что происходит на уровне объекта? – Что результат этот, полученный, как я сказал, малой кровью, достигается таким удовлетворительным образом лишь в ходе автоматически протекающего циклического процесса, характер которого нам предстоит еще определить, а происходит это именно потому, что орган навряд ли способен следовать зову наслаждения слишком долго. До цели, именуемой наслаждением, до предела, всегда трагического, к достижению которого Другой призывает, амбоцепторный орган вечно, можно сказать, не дотягивает. В момент, когда у него появляется шанс быть принесенным, так сказать, в жертву, его, как правило, уже нет, он давно, как выясняется, сошел со сцены. Теперь это лишь жалкий лоскут, остающийся для партнера свидетельством, напоминанием о былой ласке.

Вот о чем идет речь, когда говорят о комплексе кастрации. Другими словами, драмой это становится лишь постольку, поскольку вопрос о желании поднимается и рассматривается с точки зрения, где ни малейших сомнений не возникает в том, что именно генитальная фаза является высшей и завершающей.

Но если мы откажемся рассматривать генитальную фазу как завершение и венец отношений между полами, обратив внимание на то обманчивое, что в ее структуре, к счастью, содержится, то не исключено, что соотношение между связанной с кастрацией тревогой, с одной стороны, и ее символическим объектом, с другой, окажется куда более гибкой и, следовательно, открытой объектам совершенно иного уровня. Вывод этот заключен, впрочем, уже в самих предпосылках фрейдовой теории, которая недаром, исследуя, как желание строится, помещает его в совершенно иной контекст, нежели пресловутые естественные отношения с так называемым естественным партнером.

Чтобы лучше дать вам понять, о чем идет речь, я хотел бы напомнить вам, как обстоит дело с отношениями между мужчиной и женщиной в их, так сказать, первозданном виде. В конечном счете, в соответствии с тем, что вы от меня о связи между тревогой и желанием Другого уже слышали, женщина никогда не знает, с кем она имеет дело – встречаясь с мужчиной, она не может сказать заранее, насколько далеко на пути желания он зайдет, и это беспокоит ее. Когда мужчина, как и полагается, занялся с ней любовью и оказалось, после его окончательного разоружения, что женщина, как, вы знаете, это часто бывает, ничего ощутимого от любви этой не получила, в каком-то смысле она все-таки в выигрыше – отныне относительно намерений своего партнера она спокойна.

В той же главе *Бесплодной земли*, где Элиот дает слово Тиресию – я однажды уже ссылался на нее, поверяя нашим опытом представления древних о превосходстве женского наслаждения над мужским, – мы находим стихи, заключающие в себе иронию, которая, с самого начала полагал я, сыграет рано или поздно нам в наших рассуждениях на руку. После того, как молодой прыщавый франт, мелкий служа-

щий агентства недвижимости, уходит, сделав свое дело, от своей подруги-машинистки, чья обстановка в поэме детально описывается, Элиот продолжает повествование так:

When lovely woman stoops to folly and paces about her room alone
She smoothes her hair with automatic hand and puts the record
[on the gramophone.

When lovely woman stoops to folly – это не переводится, это цитата из *Вэкфилдского священника.* Скажем так: *Когда хорошенькая женщина позволяет себе поступить безрассудно – stoops* не означает *позволяет себе*, скорее: *опускается до – то потом, оставшись одна, она бродит по комнате автоматически поправляя прическу и меняет на граммофоне пластинку.* Считаете, что это ответ на вопрос некоторых моих учеников относительно желания женщины.

Вопрос о желании женщины тоже связан с вопросом о ее наслаждении. Что она не только гораздо ближе к наслаждению, чем мужчина, но и вдвойне зависима от него – об этом аналитическая теория знала всегда. Что место этого наслаждения связано с загадочным характером ее не поддающегося локализации оргазма – это факт, анализируя который, мы пришли к выводу, что место это представляет собой точку достаточно архаичную, чтобы быть древнее по происхождению своему, нежели нынешние отделы клоаки. Что и было, в известной аналитической перспективе, одним известным аналитиком – кстати, женского пола – превосходно продемонстрировано. То, что желание – которое наслаждением ни в коем случае не является – оказывается у женщины естественным образом там, где оно по природе и должно быть, в фаллопиевых трубах – это как раз черта, характерная для желания тех, кого мы зовем истеричками. И если нам пришлось рассматривать этих женщин как истерических больных, это ничего не меняет в том факте, что желание, локализованное таким образом, находится в своем истинном, согласно органическому строению, месте.

Но именно потому, что этой точки острие мужского желания никогда не достигнет, и можно сказать, что наслаждение женщины и наслаждение мужчины никогда органически не сопрягаются. Именно неудача мужского желания

и приводит женщину нормальным, так сказать, образом, к мысли об обладании органом мужчины как подлинным амбоцептором – именно это и называется фаллосом. Тот факт, что фаллос если и позволяет желаниям встретиться, то лишь ценой собственного исчезновения, и делает его общим для обоих полов местом тревоги.

То, чего женщина требует у аналитика в конце проводимого по рецептам Фрейда анализа – это, конечно, пенис, *Penisneid*: получив его, она-то уж справится с делом лучше мужчины. Есть кое-что – да что там, много чего, тысячи фактов, которые подтверждают это. Но если мы предположим, что *Penisneid* всегда у женщины в скрытом виде присутствует, то как она без анализа с этой завистью справляется? Ответ хорошо известен, и это один из самых распространенных способов соблазнения – предложить желанию мужчины объект фаллических притязаний, объект, не знающий детумесценции, который способен его желание поддержать – обратить, иными словами, свои женские атрибуты в знаки мужского всемогущества.

О важности всего этого я уже говорил – отсылаю вас к ранним моим Семинарам – обращая вслед за Хоаном Ривьером ваше внимание на особую функцию так называемого женского маскарада. Вот только с наслаждением своим женщине считаться в этом случае не приходится. Предоставив ей следовать этим путем, мы обрекаем ее на возобновление фаллических притязаний, которые становятся не столько компенсацией, сколько залогом того, что от нее требуют и что сводится, в сущности, к принятию на себя ответственности за неудачу Другого.

Таковы пути осуществления генитальной реализации, которая способна была бы положить конец тому, что мы зовем тупиками желания, если бы не зияние тревоги.

Отправляясь от точки, к которой я вас сегодня подвел, мы с вами убедимся в следующий раз в том, о чем весь аналитический опыт неопровержимо свидетельствует – именно в силу того, что фаллос, призванный выступить в безысходном соединении в качестве искупительной жертвы, оказывается в нужный момент отсутствующим, и порождает

он кастрацию как таковую: как неминуемый момент в отношениях субъекта с Другим и как момент, где тревога, с ним функционально связанная, может получить разрешение.

29 мая 1963 года

XX
ТО, ЧТО ВХОДИТ ЧЕРЕЗ УХО

Обманчивое фаллическое могущество
Монолог ребенка
Креветка Исаковера
Инкорпорация голоса
Боги в ловушке желания

То, что я вам сказал в прошлый раз, было встречено, знаменательно, как я полагаю, молчанием. Оно то и стало ответом на мою речь, поскольку на то, чтобы увенчать ее легкими аплодисментами, хладнокровия, похоже, ни у кого не хватило.

Либо я ошибаюсь, либо у меня есть основание усматривать в этом результат того, о чем, начиная наш разговор, я заявил открыто: о том, что нельзя приблизиться к фронту тревоги перед кастрацией, не спровоцировав тем самым определенную реакцию.

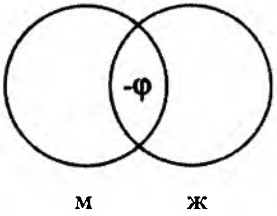
В конце концов, ничего чрезмерного в этих претензиях нет, поскольку в отношении единства между мужчиной и женщиной, то есть проблемы, которая, как-никак, аналитиков с самого начала, и по праву, серьезно занимала и которая, надеюсь, не перестанет их занимать и в дальнейшем, мои предсказания нельзя назвать слишком обнадеживающими.

Вокруг этой проблемы долго кружил Джонс – она воплощалась для него в том, что в фаллической перспективе молчаливо подразумевается: в изначальном неведении как мужчины, так и женщины относительно места их соединения, то есть влагалища. Закоулки мысли, которые Джонс на этом пути, порой плодотворно, хотя и не до конца, исследовал, обнаруживают свою точку схода, когда он ссылается на знаменитую, хотя и двусмысленную фразу Писания: *мужа и жену сотвори их.*

Но как бы то ни было, продумывая эту фразу, к еврейскому тексту Бытия 1.27 Джонс явно не обращался.

1

Как бы то ни было, попробуем увязать то, что я вам в прошлый раз говорил, с моей маленькой, построенной на использовании кругов Эйлера, схемой.



Нехватка опосредования

Область, где круги мужчины и женщины, символизируя то, что Библия именует ***познанием***, друг на друга накладываются, является для них общей всего лишь постольку, поскольку в зоне, куда устремлены их желания и где они могли бы действительно пересечься, принципиально отсутствует то, что должно, казалось бы, стать между ними посредником. Фаллос оказывается на деле тем, что, будучи достигнуто, их друг от друга, наоборот, отчуждает.

Что до мужчины с его желанием фаллического всемогущества, то женщина, безусловно, может быть его символом – может ровно постольку, поскольку она больше уже не женщина. Что же касается женщины, то за термином *Penisneid* скрывается, как мы показали, тот факт, что она неизбежно принимает фаллос за то, чем тот не является – либо за *a*, объект, либо за свой собственный маленький *фи*, способный принести ей лишь некое подобие наслаждения, которое воображение ее приписывает Другому, наслаждения, которое она может, конечно, в своих фантазиях разделять, но лишь ценой заблуждения относительно иного наслаждения, ее собственного. Другими словами, наслаждаться этим (ϕ) ей дано лишь постольку, поскольку на положенном месте, на месте ее наслаждения, на месте, где ее наслаждение может реализоваться, его не оказывается.

Я приведу вам одну маленькую, немного косвенную, но актуальную иллюстрацию.

Кто в такой аудитории, как эта, не сталкивался со случа-

ями, постоянными в нашей практике, когда женщины желают проходить анализ вместе со своими мужьями, причем зачастую у того же самого аналитика? На что они тем самым рассчитывают? На то, что смогут разделить увенчанное, как они полагают, успехом, желание своего мужа. *Минус*-фи *на минус*-фи, - (-ϕ), репозитивация *фи*, которая происходит, по их мнению, в психоаналитическом поле – вот чего они рассчитывают достичь.

Там, где фаллоса ожидают и требуют, в плоскости генитального посредничества, его не оказывается – вот почему истиной сексуальности, тем, что каждый раз обнаруживается на песке во время ее отлива, является тревога. Выстраивается эта структура ценой кастрации – именно она заступает место упомянутой истины. На самом деле, однако, игра эта иллюзорна. Никакой кастрации нет, поскольку там, где она должна, в принципе, иметь место, кастрировать нечего. Для этого надо, чтобы там был фаллос, но если он там и есть, то лишь для того, чтобы не возникла тревога. Там, где фаллос призван стать посредником между полами, он всегда обнаруживается исключительно как нехватка – в этом и состоит его связь с тревогой.

Все это означает, что фаллос призван функционировать как инструмент могущества. Говоря в анализе о могуществе, мы немного путаем карты, так как имеем в виду всемогущество, хотя на самом деле речь идет не об этом. Всемогущество – это всегда увертка, уклонение от того пункта, где любое могущество терпит крах. От могущества не требуется быть везде, от него требуется быть где положено – и лишь когда в ожидаемом месте его не оказывается, начинаем мы лелеять мысль о всемогуществе. Иными словами, фаллос присутствует – присутствует везде, где ему делать нечего.

Вот взгляд на вещи, позволяющий нам рассеять иллюзорные претензии, порожденные кастрацией, за которой на самом деле стоит тревога – тревога, которая обнаруживает свое присутствие в любой актуализации наслаждения. Иллюзия эта связана с неумением отличить наслаждение от орудий могущества. По мере развития общественного механизма бессилие из жалкого человеческого удела складывается постепенно в профессию. Профессию в самом ши-

роком этимологическом смысле этого слова – от исповедания веры до профессионального идеала. За исполненным достоинства фасадом любой профессии всегда кроется все та же центральная нехватка: бессилие. Бессилие, в самой общей своей форме, обрекает человека на неспособность наслаждаться ничем, кроме собственной опоры на (+ϕ), на это обманчивое могущество.

Напоминая вам, что структура эта вытекает из того, что я в прошлый раз вам сказал, я хотел привести вам несколько замечательных фактов, которыми можно артикулированную таким образом структуру поверить.

Гомосексуальность, которая в нашей, фрейдовой, теории выступает как главная цементирующая общество сила, является мужской привилегией. Фрейд, обратите внимание, всегда характеризовал ее таким образом и ни малейших сомнений на этот счет у него не найти и следа. Этот либидинальный цемент социальных связей действует только в мужском сообществе, ибо связан он с той разновидностью сексуальной неудачи, которая, в силу факта кастрации, является уделом мужчины.

Так называемая женская гомосексуальность имеет, возможно, большее значение для культуры, но зато полностью лишена социальной ценности, поскольку касается области сексуального соперничества – области, где у женщины было бы мало шансов на успех, не обладай в нем преимуществом как раз те, у кого фаллоса нет. Всемогущество и наиболее пылкие желания присущи так называемой уранической любви, чью радикальную близость к женской гомосексуальности я в свое время уже отмечал.

В идеалистичной любви фаллическое опосредование предстает в форме (-ϕ). Собственно, (ϕ) – это то, что желанно мне у обоих полов, но дается оно мне исключительно в качестве (-ϕ). Он, этот вычет, и оказывается универсальным посредником в связях между полами.

Вычет этот, дорогой Ребул, не является гегелевским – в нем нет взаимности. Он организует поле Другого таким образом, что Другой в нем предстает как нехватка. И достичь его можно лишь пойдя тем же самым путем, то есть примирившись с тем, что в результате вычета я исчезаю. А обретаю

я себя в том, что Гегель, безусловно, заметил, но чье возникновение с этим интервалом не связывает, – в обобщенном *а*, в идее вычета, имеющего место повсюду, то есть нигде.

Желание не призвано поддерживать соединение полов, так как в этой, обобщенной, форме оно видит во мне уже не мужчину *или* женщину, а то *и* другое. Функция очерченного на этой схеме поля соединения полов ставит каждый из полов перед выбором – или Другой, или фаллос: одно исключает другое. Поле это пусто. Но стоит мне наполнить его положительным содержанием, как *или* приобретет иной смысл – оно станет означать, что в любой момент одно и другое взаимозаменяемы.

Именно это и дало мне основание, ссылаясь на те существа и, одновременно, образы, которыми на определенном, буддийском, пути спасения человек руководствуется, говорить о поле скрытого за пространственной вселенной глаза. Чем в большей степени Авалокитешвара, фигура в сексуальном отношении крайне двусмысленная, предстает как мужчина, тем больше в нем обнаруживается женских черт. Если это вам интересно, я принесу вам в следующий раз образчики тибетской скульптуры и живописи – им нет числа – где черта, о которой я говорю, выступает совершенно явно.

Сегодня нам предстоит понять, каким образом может альтернатива желания и наслаждения разрешиться.

Разница между диалектической мыслью и нашим опытом состоит в том, что в возможность синтеза мы не верим. Если после схлопывания антиномии из нее остается выход, значит он существовал до того, как она успела сформироваться.

2

Чтобы объект *а*, в котором воплощена невозможность доступа желания к вещи, это желание пропустил, необходимо вернуться к его началу.

Если бы до того, как желание оказалось пленено в зеркальном пространстве, этот проход подготовлен не был, положение действительно было бы безвыходным.

Не забудем, на самом деле, что сама возможность воз-

никновения тупика связана с моментом, который предвосхищает и обусловливает собой все то, что оборачивается для человека сексуальной неудачей. Это тот самый момент, когда возникновение зеркального напряжения глубоко и преждевременно эротизирует поле *insight*'а.

Мы прекрасно знаем теперь, что уже у антропоидов поле это начинает играть роль своего рода проводника: наблюдения над обезьянами показали, что они не лишены разума и способны на многое, при условии, что цель свою, то, чего они стремятся достичь, они видят. Я уже дал понять вчера вечером, что все дело именно в этом – не в том, что приматы менее нас способны к речи, а в том, что они не могут ввести эту речь в поле своей деятельности.

В этом не единственное их отличие. Есть и другое, и связано оно с тем, что животные не знают стадии зеркала и, следовательно, нарциссизм – это изъятие вездесущего либидо и введение его в поле *insight*'а, чья форма задана зеркальным видением – у них не имеет места. Но форма эта маскирует для нас феномен сокрытия глаза, который должен теперь, по идее, разглядывать того, кто мы суть, отовсюду, поместить его в поле тотальной видимости.

Известно, что такое может произойти. Именно это и называется *unheimlich*, но для встречи с ним нужны особые обстоятельства. Зеркальная форма оттого и устраивает нас, что маскирует возможность подобной встречи. Иными словами, отношения, которые глаз устанавливает с Другим, для субъекта принципиально желательны, ибо легко позволяют ему игнорировать то, что за желанным скрывается тот, кто желает.

Подумайте, насколько емкой является эта формула – из всего, что я о появлении *unheimlich* когда-либо говорил, она представляется мне наиболее общей. Представьте себе, что желанное предстоит вам в самой безмятежной, умиротворяющей форме, какую можно вообразить, в форме божественной, и только божественной статуи, и статуя эта вдруг оживает, то есть сама оказывается желающей – не это ли верх *unheimlich*?

Наша основополагающая гипотеза о происхождении *a* состоит в том, что рождается оно в другом месте, задолго до

своего пленения и сокрытия. Гипотеза эта основана на нашей практике, которая и позволила мне ее сформулировать.

Одно из двух: или практика наша обманчива, то есть обманывается относительно себя самой, или она признает, что поле, с которым она имеет дело – это поле желания и что желание это порождается отношениями между *S* и *A*. С отношениями этими мы не можем в своей практике не столкнуться, поскольку воспроизводим в ней их условия. Что порождает наша практика? Она порождает мир, лучшим символом которого и является как раз пресловутое разделение, проводящее нас через три временн*ых* такта, в ходе которых *S*, еще неизвестному субъекту, предстоит сформироваться в Другом и где, в качестве остатка этой операции, обнаруживается *a*.

Замечу по ходу дела, что сформулированная мною альтернатива: ***наша практика либо ошибочна, либо признает это***, не является эксклюзивной. Наша практика может позволить себе отчасти ошибаться относительно самой себя, она допускает, чтобы был остаток – ведь именно это как раз ею и предусмотрено. Мы можем, следовательно, предположить – отважное предположение! – что предпринимая формализацию, которая нам представляется необходимой, мы рискуем немногим. Нужно лишь помнить при этом, что отношения между *S* и *A*, сколь бы простыми и фундаментальными они ни были, далеко превосходят по своей сложности все построения, которые те, от кого унаследовали мы определение означающего, сочли нужным положить в основу объяснения той организованной означающими игры, что носит имя коммуникации, общения.

Общение как таковое не является чем-то первичным – ведь поначалу субъекту, *S*, сообщать попросту нечего – нечего по той простой причине, что все средства коммуникации находятся с другой стороны, в поле Другого, от которого субъекту и предстоит их еще получить. Отсюда следует, как я всегда говорил, что именно от Другого получает субъект свое собственное сообщение. Первое появление этого последнего, вписанное в эту таблицу, это всего лишь *Кто я?* – бессознательное, ибо формулировке не поддающееся. Ответом на него, до того, как оно окажется сформулирова-

но, станет *Ты еси*. Иными словами, субъект получает поначалу собственное свое сообщение в обращенной форме.

Все это я уже давно говорил. Сегодня я лишь добавлю – постарайтесь это понять – что получает он его поначалу в прерванной форме. То, что он поначалу слышит – это *Ты еси*, без всякого атрибута. Но, будучи прервано и уже поэтому неудовлетворительно, оно отнюдь не бесформенно – ведь язык существует в реальном, он имеет хождение, циркулирует, и многие касающиеся его, *S*, вещи, которые озвучены в его первичном, казалось бы, вопрошании, в языке этом давно уже установлены, отрегулированы.

Возвращаясь к фразе, которую я только что произнес, замечу, что мое определение отношений между *S* и *A* было не просто гипотезой, ибо гипотеза эта основана на нашей практике, более того, она этой практике идентична и границы их совпадают. Существует, к тому же, доступный наблюдению, хотя и редко отмечаемый, факт, подтверждающий предполагаемое моей схемой автономное функционирование речи. Здесь достаточно, полагаю, матерей, которые не страдают от глухоты и прекрасно знают, что в возрасте, когда стадия зеркала далеко не завершена, ребенок, успевший запомнить несколько слов, разговаривает перед тем, как заснуть, сам с собой. Время не позволяет мне зачесть вам один такой записанный монолог. Обещаю вам, что вы не пожалеете, когда я впоследствии это сделаю.

Мой друг Роман Якобсон десять лет уговаривал своих учеников установить в детской магнитофон. Два или три года назад они, к счастью, вняли его словам: теперь один из этих первых детских монологов опубликован и находится в нашем распоряжении. Если я заставляю вас ждать, то лишь потому, что сегодня своевременно было бы поговорить, кроме этого, и о многих других вещах.

Тот факт, что мне приходится ссылаться на вещи, не зная толком, насколько хорошо они вам знакомы, уже сам по себе говорит о том, что нам приходится работать в области, где ваше образование, сколько бы времени нашего курса мы на его расширение ни потратили, оставляет, как ни крути, желать лучшего.

Как бы то ни было, некоторые из вас слышали, навер-

ное, о том, что Пиаже называет *эгоцентрическим языком* и о связанных с этим понятием представлениях – оправданных, быть может, но дающих повод к самым многочисленным недоразумениям. Выражение относится на самом деле к тем монологам, которые ребенок начинает проговаривать вслух, когда занят с другими детьми каким-нибудь общим делом. Монолог, обращенный к самому себе, произносится, однако, лишь в каком-то окружении. Это не мешает называть его эгоцентричным – нужно лишь смысл этого слова несколько уточнить. Поразительно, с другой стороны, что в монологе, который именуется эгоцентричным, субъект высказывания столь часто оказывается опущен.

Я напоминаю об этом, чтобы вы заинтересовались этим описанным в текстах Пиаже явлением – это пойдет во всех отношениях вам на пользу. Но кроме этого я хочу указать тем самым на другую проблему: как соотносится это явление с зарегистрированным учениками Якобсона так называемым *гипнопомпическим монологом* – монологом, имеющим место на значительно ранней стадии?

Обращаю ваше внимание на то, что известный граф, разговоры о котором навязли за эти годы у вас в ушах, получает теперь в связи с проблемами генезиса и развития дополнительное значение. Как бы то ни было, монолог, о котором я только что говорил, никогда не имеет место в чьем-то присутствии. Если в комнате есть еще кто-то – брат или другой *baby* – ребенок с собой говорить не станет. Есть и много других черт, указывающих на то, что происходящее на этом уровне – а оно обнаруживает чрезвычайно ранний характер тенденций, о которых говорят в психоанализе как о первичных – аналогично во всех отношениях функции сновидений. Все происходит здесь на Другой сцене – с той смысловой нагрузкой, которую несет у меня этот термин.

Не воспользоваться ли нам той же дверцей – она проверенная – через которую мы смогли к этой проблематике подойти? Я имею в виду формирование *а* как остатка. Так или иначе, феномен этот, если условия эксперимента именно таковы, как я их описываю, доступен нам лишь в форме остатка, магнитофонной записи. В противном случае, до нас доносится лишь невнятный, замирающий при нашем

приближении шепот. Не дает ли это повод задуматься? Не подсказывает ли это, что когда мы имеем дело с формированием субъекта, именно в голосе, отделенном от своего носителя, должны мы искать пресловутый остаток?

Будьте внимательны. Поспешность здесь неуместна.

3

Все, что субъект получает от Другого посредством языка, получает он, как свидетельствует о том повседневный опыт, в вокальной форме. Однако в психоаналитическом опыте, несмотря на такие разительные примеры, как случай Элен Келлер, нередко обнаруживается, что язык усваивается иными, не голосовыми средствами. Язык не сводится к голосу. Возьмите хотя бы глухих.

Я полагаю, однако, что мы сделаем шаг вперед, признав, что связь языка со звучанием не простая случайность. А если мы попытаемся артикулировать эту связь более четко, охарактеризовав, к примеру, это звучание как инструментальное, создастся впечатление, что мы, похоже, на верном пути. Физиология действительно может здесь послужить путеводной нитью.

О том, как работает наше ухо, мы знаем далеко не все, но известно, по крайней мере, что ушная улитка исполняет роль резонатора. Резонатор это сложный, сборный, если хотите, но любой сборный резонатор легко разобрать на несколько элементарных. Это наводит на мысль, что в резонансе главная роль, по сути дела, принадлежит аппарату. Аппарат резонирует не на все подряд. Чтобы не усложнять дело, можно, если хотите, сказать, что отзывается он только на свою ноту, на свою собственную частоту.

В строении датчика, который представляет собой наше ухо, мы имеем дело с резонатором совершенно определенного типа – с резонатором трубчатым. Отдача вибрации от ушного отверстия к барабанной перепонке и преддверию четко связана с длиною пространства, пробегаемого звуком в замкнутом проводящем канале, работающем как трубка флейты или, скажем, органа. Устройство явно сложное – на наши музыкальные инструменты аппарат совсем не похож. Трубка его представляет собой, так сказать, труб-

ку с клавишами, в том смысле, что она есть не что иное как камера, расположенная как струна, но функционирующая совершенно иным образом – камера, улавливающая отдачу волны и предназначенная отмечать нужный резонанс.

Я извиняюсь за это отступление – тем более что разгадку надо искать в совершенно другом направлении. Напоминание это призвано, однако, актуализировать тот факт, что в самой органической форме заложено нечто такое, что явно сродни тем первичным топологическим, транс-пространственным данным, которые как раз и вызвали у нас интерес к самой элементарной форме образования и сотворения пустоты. Форма нашла у меня образное воплощение в горшке – ведь горшок тоже своего рода труба, а значит, и резонатор.

Мы говорили, что десять совершенно одинаковых горшков остаются все же для нас разными горшками. Вопрос в том, что происходит, когда мы помещаем один горшок на место другого: остается ли пустота, которую они поочередно содержали в себе, той же самой? Ведь пустота, которая содержится в акустической трубке, диктует свою волю той резонирующей в ней реальности – реальности, определить которую не так то просто и которая открывается нам лишь одним шагом позже, – что мы именуем голосом. И в самом деле: флейта, определенное отверстие которой оказалось затронуто, сообщает любому возможному выдоху одну и ту же вибрацию. Даже не являясь в наших глазах законом, воля эта указывает, однако, на то, что *а*, о котором у нас идет речь, функционирует здесь в реальной роли посредника.

Так вот, не будем поддаваться этой иллюзии. Все это интересно лишь в качестве метафоры. Значение голоса, как мы его понимаем, вовсе не в том, чтобы резонировать в каком-то пустом пространстве. Малейшее вторжение голоса в область того, что именуется в лингвистике фатической функцией – и ошибочно рассматривается как простое установление контакта, хотя на самом деле здесь происходит нечто совершенно иное, – резонирует в пустоте, представляющей собой пустоту Другого как такового, *ex nihilo* в собственном смысле слова. Голос отвечает на то, что говорится, но отвечать *за* это он не может. Другими словами, чтобы голос мог

дать ответ, мы должны включить его в свое тело как инаковость того, что говорится.

Именно по этой причине, и не по какой иной, звук собственного голоса представляется нам чужим. Другой, в силу самой структуры своей, формирует определенную пустоту, пустоту отсутствия гарантии. Истина входит в мир вместе с означающим – прежде, чем кто-либо ее успевает проконтролировать. Она поверяет себя и отсылает себя к себе самой лишь посредством тех откликов, что порождает она в реальном. Именно в этой пустоте и возникает голос как нечто отличное от звучания как такового – он не модулируется, а артикулируется. Голос, о котором идет речь, это голос повелительный – он требует повиновения и убеждения. И ориентирован он не на музыкальное звучание, а на слово.

Что касается неузнавания человеком своего собственного голоса, когда он слышит его в записи, интересно было бы посмотреть, насколько по-разному происходит это у ораторов и певцов. Я предлагаю добровольцам провести такое исследование самостоятельно, так как у меня на это не хватит времени.

Именно здесь, мне кажется, прикасаемся мы к той форме идентификации, к которой нам в прошлом году не удалось подойти и чьей первичной моделью служит как раз идентификация голоса. Ведь в разных случаях речь может идти о разных способах идентификации – мы говорим порой, скажем, об инкорпорации, воплощении, *Einverleibung*. Психоаналитики лучших времен обратили, конечно, на это внимание – уже в двадцатых годах Исаковер опубликовал в *International Journal* статью, интересную как раз тем поразительным образом, который он оказался вынужден для этого особого типа идентификации подыскать.

Причем образ этот он нашел в области, которая с феноменом идентификации, о котором идет речь, имеет мало общего. Он обращается к существу, которое зоологи именуют дафнией – это не совсем креветка, но нечто весьма на нее похожее. Как бы то ни было, поведение этого животного, обитающего в соленой воде, имеет одну любопытную особенность: в определенный момент переживаемых им превращений оно затыкает свою ракушку мелкими пес-

чинками, вводя их в имеющееся у него подобие стато-акустического механизма, иными словами – в вестибулярную часть, лишенную у него той чудесной ушной улитки, которой располагаем мы с вами. Как только эти частицы песка оказываются введены внутрь – само животное их, ясное дело, не вырабатывает – вестибулярная часть закрывается и внутри дафнии оказывается маленькая, необходимая для поддержания равновесия погремушка, которая позаимствована ею из внешнего мира.

Согласитесь, что связь этого явления с образованием сверх-я представляется весьма отдаленной. Любопытно, однако, что Исаковер не нашел ничего лучшего, чем сравнить это последнее с операцией, о которой, вспомнив уроки физиологии, вы должны были, наверное, подумать и сами. Состоит эта проведенная коварными экспериментаторами операция в подмене песчинок тонкими металлическими опилками – после чего можно, воспользовавшись магнитом, неплохо с дафнией позабавиться.

Итак, голос не ассимилируется, он инкорпорируется. Именно это позволяет ему нашу пустоту моделировать. Мы вновь возвращаемся здесь к ритуальному рогу, к музыке синагогального шофара. Но является ли музыкой эта дистанцированная от музыкального ряда элементарная квинта? Нельзя ли предположить, что перед нами, скорее, нечто такое, что мы можем на мгновение представить себе в роли заместителя слова, что мощно отторгает наш слух от привычных ему музыкальных гармоний? Звук этот моделирует место нашей тревоги – но не раньше, обратите внимание, чем желание Другого приняло повелительную форму, форму заповеди. Именно поэтому и способен он выполнить предназначенную ему роль – ввести тот иной порядок, в котором тревога может разрешиться виновностью или прощением.

Желание – это нехватка, недостача. Дайте ей содержание – не будем пока говорить, как можно это содержание артикулировать, – назовите ее недостатком, и связь рождения тревоги с чувством вины получит свое объяснение.

Чтобы понять, что с этим можно поделать, я должен перейти в область, которая лежит от темы нынешнего года несколько в стороне, но затронуть ее все равно придется. Я не

знал, как уже говорил, в какой мере в звуках шофара – этом провозглашении вины – получает артикуляцию маскирующий вину Другой. Если наша формула справедлива, нечто вроде желания Другого обязательно здесь должно быть затронуто.

Мне нужно еще три минуты, чтобы сказать кое о чем, что позволит нам в следующий раз пойти дальше.

На что здесь уместно пролить некоторый свет, и что сможет просветить нас самих – это понятие жертвы.

Понять, что в представлении о жертве заключено, пытались до меня уже многие. Скажу лишь кратко, что назначение жертвы не в приношении или даре – они лежат в совсем ином измерении – а в поимке Другого в сети желания.

В этическом плане это всегда дает себя знать. Каждый из нас, кто бы он ни был, на собственном опыте убедился, что мы не способны жить, не принося при этом непрерывно жертву какому-то неизвестному божеству, не нанося небольших увечий – порой чувствительных – собственному желанию.

То, что эта операция подразумевает, не всегда бросается в глаза. Что речь идет о чем-то таком, что соотносится с *а* как полюсом нашего желания, не вызывает сомнений. Но вам придется дождаться следующего занятия, когда я покажу вам, что необходимо еще одно условие – необходимо, чтобы *а* было чем-то уже освященным. А это, в свою очередь, нельзя представить себе, не обратившись к первоначальной форме того, о чем в жертвоприношении идет речь. Я надеюсь, что встреча состоится при большом стечении страдающих неврозом навязчивости.

Что до нас, то мы утратили, конечно, на ярмарке цивилизации своих богов, но довольно продолжительный начальный период в истории многих народов свидетельствует о том, что с богами они, как с реальными людьми, чего-то не поделили. То не были всемогущие боги, но там, где они были, боги эти обладали определенным могуществом. Весь вопрос в том, действительно ли эти боги чего-то желали? Приносить им жертвы означало поступать так, как если бы они желали наподобие нас, а если они желают, как мы, *а* имеет у нас и у них одну и ту же структуру. Это не значит,

будто они действительно пожирают принесенную жертву, ни даже, будто она способна чем-то им послужить – важно, что они желают ее и, скажу больше, что она не вызывает у них тревоги.

В жертвоприношениях есть черта, которую до сих пор никто, насколько мне известно, удовлетворительно не объяснил – приносимое в жертву должно быть незапятнано.

Вспомните, что говорил я вам о роли пятна в зрительном поле. Пятно знаменует возможность появления в поле желания того, что за ним скрывается – глаза. Глаза, чья связь с полем желания должна быть изъята, чтобы желание могло в нем остаться, сохраняя тем самым всегдашнюю, хотя и непредсказуемую, возможность избавиться от тревоги.

Заманивая богов в ловушку желания, очень важно не пробудить в них тревогу.

Время понуждает меня на этом закончить. Вы сами увидите, как это столь лирическое на вид отступление послужит нам путеводной нитью в куда более прозаической реальности нашего опыта.

5 июня 1963 года

XXI
КРАН ПИАЖЕ

Категория причины
Оформление симптома
История понимания
Вода и желания
Пять уровней формирования а

Корни тревоги нужно искать в принципиальной связи субъекта с тем, что я называл до сих пор желанием Другого.

Целью анализа всегда было и остается открытие желания. Вы сами понимаете, что артикулируя эту мысль алгебраическими, так сказать, средствами, где интересующая нас функция обнаруживается в неком зиянии, *gap*, остатке означающей операции, я делаю это по какой-то причине структурного характера. Но вместе с тем я неизменно, мазок за мазком, иллюстрировал ее примерами. Этим мы с вами сегодня как раз и займемся.

Каждый раз, когда *а* выходит на сцену как таковое, возникающая при этом тревога обнаруживает свою связь с желанием Другого. Но как соотносится она с желанием субъекта? Ответить на этот вопрос помогает предложенная мной в свое время формула, гласящая, что *а* является не объектом желания, который мы пытаемся в анализе выявить, а его причиной.

Это имеет принципиальное значение. Если тревога свидетельствует о зависимости любого формирования субъекта от *А*, то желание субъекта находит себе в этом отношении место посредством сформированного на более раннем этапе *а*. Поэтому не лишним будет напомнить вам, каким образом это присутствие *а* в качестве причины желания уже с первых шагов аналитического исследования дает себя знать. Оно заявляет о себе, в более или менее завуалированной форме, в функции причины.

Функция эта обнаруживается в поле исследования – то есть в поле симптома – уже с первых шагов. Измерение это бросается в глаза в любом симптоме, поскольку интересующий нас элемент – элемент, носящий имя причины – в нем налицо. Сегодня я и попробую как раз с этим измерением поработать.

1

Для пущей ясности я воспользуюсь в качестве отправной точки симптомом, который является, как вы впоследствии убедитесь, в этом отношении образцовым, – симптомом навязчивости.

Сразу скажу, почему я выбрал именно этот тип симптома – именно в нем уже при первом подходе к симптоматическому материалу ясно становится, что функция *а* действует в измерении причины.

Что скрывается за патогномонической формой позиции невротика? Одержимость или принуждение, артикулированные на его внутреннем языке как некое побуждение к действию – *Иди сделай то или это, Проверь, закрыта ли дверь*, или *кран*, к которому мы, кстати, скоро вернемся. Что происходит с невротиком, если он не слушается этого голоса? Непослушание ему влечет за собой тревогу. Сам феномен симптома, как видите, говорит о том, что мы находимся на уровне, где связь *а* с отношениями желания, с одной стороны, и тревоги, с другой, проследить оказывается проще всего.

Тревога обнаруживает себя вместе с желанием. Исторически, до фрейдовых исследований, прежде аналитической практики, желание оставалось скрытым – вы сами знаете, как трудно, если вообще возможно, сорвать с него маску.

Здесь стоит прислушаться к данным психоаналитического опыта, которые налицо уже в первых наблюдениях Фрейда и, даже не будучи должным образом оценены, являются в понимании невроза навязчивости самым существенным, быть может, шагом вперед. Фрейд убедился, да и мы убеждаемся в этом на опыте каждый день, что аналитик отправляется здесь не от изложения симптома в том виде, в котором я только что его описал, то есть в классической, давно известной форме внутреннего принуждения и противления ему, сопровождающегося тревогой, а от признания, что *это происходит именно так*.

Субъект должен отдать себе отчет в том, что *это происходит именно так*. Признание это не является эпифеноменом, побочным по отношению к функционированию симптома эффектом. Симптом вообще складывается не раньше,

чем субъект отдает себе в этом отчет: мы на опыте знаем о существовании форм отмеченного одержимостью поведения, когда субъект не просто не видит владеющих им навязчивых идей, а еще не сформировал их как таковые. Первый шаг анализа должен в этом случае состоять в том – вспомните знаменитые высказывания Фрейда на этот счет – чтобы помочь субъекту выстроить симптом в его классической форме. Иначе от симптома избавиться не удастся, так как о нем просто нельзя будет говорить, его нельзя будет ухватить за хвост. О каком хвосте речь? О том, что в симптоме не было, так сказать, субъектом ассимилировано.

Чтобы симптом вышел из состояния так и не сформулированной загадки, формулировать его на первых порах вовсе не обязательно – важно, чтобы в субъекте обрело очертания нечто такое, что заронило бы в него мысль: *на это, наверное, есть причина.*

Первичное измерение – вот оно. Оно приняло здесь форму определенного феномена – позже я покажу вам, где еще можно с ним столкнуться. Только таким образом удается дистанцировать субъекта от собственного поведения, а именно она, дистанция эта, является условием, без которого мы не можем к симптому подобраться. Это не просто шаг в том, что можно назвать пониманием ситуации – это нечто большее, без чего лечить невроз навязчивости нельзя.

Все это не удастся увязать вместе, не уяснив себе, что функция *а*, причины желания, неразрывным образом связано с ментальным измерением понятия причины. Об этом я мимоходом не раз говорил на лекциях. Эту же мысль вы найдете в одном месте, которое я могу указать, моей статьи *Кант с Садом*, опубликованной в апрельском номере журнала *Critique*. На нее-то и буду я главным образом в сегодняшних рассуждениях опираться.

Вы видите теперь, почему нам так важно доказать правдоподобие того факта, что измерение причины является единственным, где уже с первых шагов анализа страдающего одержимостью выходит на поверхность то *а*, вокруг которого любой анализ переноса, если он не хочет ходить по кругу, должен вращаться. Круг, конечно, это тоже не так уж плохо – ведь при этом пробегается замкнутый контур.

Но встает проблема окончания анализа – проблема, которая не мной была сформулирована. И связана она с неустранимым неврозом переноса. Невроз переноса в анализе – является ли он тем самым, который наблюдался в начале анализа, или чем-то другим? Порой он кажется нам тупиком, порой приводит в отношениях между пациентом и аналитиком к полной стагнации, но от аналогичных ему проявлений невроза в начале анализа он отличается лишь одним – он весь собран воедино, весь налицо.

Этой загадочной дверью входят в анализ все – ведь невроз переноса налицо у каждого, даже у такого свободного существа, каким был Алкивиад. Любит он Агафона. Это и есть перенос, его очевидный случай – то, что мы слишком часто называем побочным переносом, хотя любовь эта на самом деле вполне реальна. Удивительно то, что мы все-таки входим в анализ – входим, несмотря на все то, что удерживает нас в переносе, функционирующем как реальное.

Но удивительнее всего в замкнутом контуре анализа другое – каким образом можно, войдя в него вопреки неврозу переноса, тот же самый невроз переноса получить на выходе? Дело, очевидно, в каких-то недоразумениях, касающихся анализа переноса. В противном случае не приходилось бы слышать от некоторых психоаналитиков, что они довольны, когда им удается этот невроз переноса оформить – это, мол, не полный успех, но все же кое-какой результат. И они правы. Это, конечно же, результат, но результат этот сам по себе озадачивает.

Если я говорю, что путь ведет через *а*, единственный объект, который может быть анализу переноса предложен, это не значит, что все проблемы таким образом решены. Нас поджидает на этом пути, как вы увидите, еще одна. Именно в этой ее выделенности и обнаруживается главное измерение давно поставленного, но, судя по всему, так и не разрешенного – несостоятельность ответов бросается в глаза – вопроса: вопроса о желании аналитика.

Теперь, сказав об этом, чтобы дать понять, о каких важных вещах идет речь, напомнив вкратце об этом, вернемся к *а*.

Маленькое *а* – это причина, причина желания. Я уже говорил, что проще всего понять это, вернувшись к загадке,

которую функционирование категории причины нам задает, так как ясно, что какую бы критику, какую бы редукцию, будь то феноменологическую или какую иную, мы к ней ни применяли, категория эта работает, причем не только в качестве архаического этапа нашего развития. Я попытаюсь перевести эту категорию из области, которою назову, вслед за Кантом, трансцендентальной эстетикой, в ту, что я назову, если не возражаете, моей трансцендентальной этикой.

Я вступаю здесь на территорию, вглубь которой мне не проникнуть – в лучшем случае я сумею нашарить своим прожектором ее границы. Хорошо бы философы взялись за дело и решились выработать формулировку, которая позволила бы дать точное определение операции, которую я имею в виду, говоря, что извлекаю функцию причины из кантовского поля, поля трансцендентальной эстетики. Не мне объяснять вам, что извлечение это носит характер отнюдь не педагогический, что есть много другого, что предстоит еще из этой трансцендентальной эстетики извлечь.

Здесь следует остановиться хотя бы на том, что в последний раз, говоря о зрительном поле желания, мне искусно удалось от вас скрыть. Теперь мне деваться некуда и прежде, чем мы двинемся дальше, мне придется сознаться, что, говоря в прошлый раз о пространстве, я вовсе не имел в виду априорную категорию чувственной интуиции.

Удивительно, что на этапе развития науки, где мы с вами находимся, никто так и не решился прямо сформулировать истину, которая буквально напрашивается: пространство не является элементом нашей субъективной конструкции, за которой мы вольны расположить, так сказать, вещь в себе – пространство является частью реального.

В топологических фигурах, которые я здесь в прошлом году рисовал на доске, многие эту ноту почувствовали. Топологическое измерение, символическая манипуляция которым выходит за пределы пространства, напомнила многим из вас формы, знакомые нам по схемам развития эмбриона – формы, чей своеобразный и неповторимый *гештальт* столь далек от так называемой хорошей формы. Глядя на эти общие для всех видов формы, создается впечатление, что только с помощью этого выверта удается жи-

вому организму уложиться в реальное пространство.

Во всем, о чем я вам в прошлом, да и в этом году говорил, это скручивание налицо. Именно в местах этого скручивания и возникают на самом деле те разрывы, чью роль в нашей собственной топологии, топологии *S*, большого *A* и *a* маленького, я вам неоднократно пытался продемонстрировать. Продемонстрировать способом, который описывает их функции вернее и действеннее, нежели все, что можно найти об этом в учении Фрейда, чьи колебания уже сами по себе говорят, насколько то, чем я здесь занимаюсь, необходимо. Я имею в виду те колебания, например, что связаны у него с двусмысленными отношениями между я и не-я, содержимым и содержащим, я и внешним миром. Бросается в глаза, что эти оппозиции взаимно не перекрываются. Почему? Чтобы ответить на это, нужно понять сначала, о чем в топологии идет речь и найти в исследуемой нами субъективной топологии другие ориентиры.

Я заканчиваю это отступление, значение которого хотя бы некоторым из вас стало, надеюсь, понятно. Важно уловить природу реальности пространства как пространства трехмерного – только тогда удастся определить форму, которую принимает на зрительной ступени присутствие желания в качестве фантазма. Функция кадра, или окна, которую я, говоря о структуре фантазма, обрисовал, не является, иными словами, метафорой. Если кадр существует, то именно потому, что пространство – реально.

Что касается причины, то попробуем продраться сквозь неразбериху понятий, которая осталась у вас в головах после дискуссий на школьных занятиях по так называемой философии.

По крайней мере одно ясное указание на происхождение функции причины мы можем почерпнуть из истории критики этой функции. Критика эта строится на утверждении, что причина неуловима, что *propter hoc* обязательно сводится, так или иначе, к *post hoc* – а к чему еще, собственно, можно вообще это загадочное *propter hoc* свести? – без которого мы вообще не способны что-то на этот счет сформулировать. Критика эта оказалось, однако, как показала история, плодотворной. Чем более суровой критике подвер-

галось понятие причины, тем более строгие ограничения накладывал на мысль так называемый детерминизм. Чем неуловимее становилась причина, тем строже представлялась причинная обусловленность всего на свете, вплоть до так называемого смысла истории.

Итак, пришла пора сказать без обиняков, что мы о ней, об этой функции причины, думаем.

Эта функция, которая дает себя знать в нашем мышлении повсюду, представляется нам – скажу поначалу образно, чтобы было понятнее – своего рода тенью или, лучше, метафорой той первичной причины, которой является *a* – *a*, предшествующее любой феноменологии, *a*, которое мы определили как тот остаток, который при формировании субъекта в месте Другого неизбежно образуется, так как формируется субъект в качестве загражденного, похеренного.

Если симптом действительно представляет собой то, о чем мы говорим, то есть является последствием формирования субъекта, обусловленным тем, что формироваться ему приходится в месте Другого, то подразумеваемая причина составляет законную часть любых явлений симптоматического характера. Это значит, что предполагаемая симптомом – как вопросом – причина, находится, если хотите, под вопросом сама, но симптом при это не является ее следствием (effet). Он является ее результатом. Следствие – это желание. Но следствие это совершенно необычное и своеобразное – именно благодаря ему мы можем если не объяснить, то хотя бы осознать все трудности, связанные для мышления с взаимоотношениями причины и следствия. Дело в том, что первичное следствие причины, именуемой *a*, следствие, что зовется желанием, заключается в том, что из причины этой ничего, собственно, не воспоследовало.

Желание предстает в этой перспективе не чем иным, как нехваткой следствия. И если причина, по сути своей, предполагает следствия, то получается, что в следствии-то ей как раз изначально отказано. Любое феноменологическое исследование причины подтвердит этот вывод. По мере того, как промежуток, *gap*, между причиной и следствием заполняется – а это и есть то самое, что предстает в опре-

деленной перспективе как развитие науки, – функция причины стушевывается, исчезая окончательно там, где этот промежуток оказывается сомкнут.

Так что по мере своего завершения любое объяснение сводится к состоящим из означающих формулам – то, что поначалу одушевляло его, побуждая к поискам не поддававшегося пониманию, зияния как такового, из него окончательно улетучивается. Нет причины, которая бы наличия такого зияния не подразумевала.

Все это может вам показаться лишним. Именно это, однако, помогает разоблачить наивность – скажем так – исследований, проводимых такими психологами, как Пиаже.

2

В этом году нам случилось уже упомянуть по ходу дела о том, что Пиаже называет эгоцентрическим языком. Поскольку он его таковым признает, его идея наблюдаемого в детской речи эгоцентризма опирается на предположение, что дети не понимают друг друга, что они говорят для себя. И он считает, что ему удалось это доказать.

Предпосылки, на которые это мнение опирается, не столь уж неисчерпаемы – главную из них легко можно выделить. Это чрезвычайно распространенное убеждение, будто речь предназначена для коммуникации. На самом деле это не так. Пиаже не видит тот *gap*, на который сам же указывает – тем его исследования и интересны.

Возьмите в руки *Язык и мышление у ребенка* – эту восхитительную, в конечном счете, работу. В ней на каждом шагу видно, как факты, которые Пиаже, исходящий из ошибочных предпосылок, приводит, демонстрируют совершенно не то, что он полагает. Поскольку он, естественно, далеко не глуп, его собственные замечания свидетельствуют о том же самом.

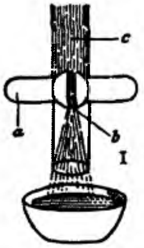
Как узнать, например, почему язык субъекта создан, по сути дела, для него самого? Прошу вас, прочтите соответствующие страницы у Пиаже сами, потому что мне здесь исчерпывающе их изложить не удастся. Вы сами и увидите, как на каждом шагу мысль незаметно соскальзывает к такой постановке вопроса, которая явление, само по себе вполне

ясное, ухитряется завуалировать. Суть ошибки состоит в убеждении, будто речь по сути своей создана для коммуникации, тогда как на самом деле означающее призвано открыть в субъекте измерение означаемого. Если понадобится, я к этому еще вернусь.

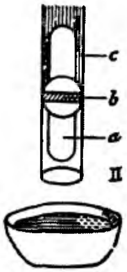
Говоря о социализации языка, Пиаже описывает отношение к другому как ключ к пониманию того поворотного пункта, когда эгоцентрический язык переходит в язык, функционирующий полноценно. Этот поворотный пункт не является, строго говоря, точкой, где дает себя знать эффект какого-то активного воздействия, – его лучше назвать желанием коммуникации. Педагогика Пиаже потому и возводит здесь, кстати, свои конструкции и воздушные замки, что желание это оказывается обмануто. Задетый тем, что ребенок, как ему кажется, понимает его лишь наполовину, он утешает себя тем, что и между собой у них тоже понимания нет. Но разве вопрос в этом?

Из его текста ясно видно, что нет. Видно уже из того, как описывает Пиаже то, что он называет взаимопониманием между детьми.

Рассуждает он следующим образом. Начинает он с того, что показывает ребенку картинку, на которую затем опирается в своих объяснениях. Это схема крана. Выглядит он примерно вот так.



Показав ребенку этот рисунок, ему говорят затем, столько раз, сколько потребуется, примерно следующее – *Вот здесь трубка, она закупорена, так что вода не может пройти через нее и вытечь через выходное отверстие.* И так далее. Дается и другая схема.



Вот она, если вы хотите проверить сами. Автор счел нужным зачем-то дополнить ее тазиком, который ни в одном из семи пунктов его объяснений не фигурирует. Он выражает удивление тем, что все эти пункты ребенок способен за ним повторить. Для него, Пиаже, это означает, само собой, что ребенок его объяснения понял. Я не утверждаю, что он ошибается – я просто хочу отметить, что у него на этот счет даже не возникает сомнений.

Затем Пиаже воспользуется услугами первого ребенка, чтобы объяснить функционирование крана второму, которого он не очень удачно зовет репродуктором. Сделав это, он не без удивления отмечает, что объяснения, которые ребенок сумел ему, Пиаже, без сучка и задоринки повторить, с теми, которые он дает другому ребенку, не совпадают. Отсюда Пиаже справедливо делает вывод, что ребенок опускает в своих объяснениях именно то, что он понял – не замечая при этом, что из этого следует. А из этого следует, что давая эти объяснения, ребенок, если он действительно, как говорит Пиаже, понял все, ничего ровным счетом не объясняет. На самом деле, он, как и любой другой, понял, конечно, далеко не все.

Примеры эти взяты из области, которую Пиаже называет областью объяснений. Но наряду с ней есть и другая область – область историй.

В историях все происходит совершенно иначе. Но что Пиаже называет историями? То, как он пересказывает историю Ниобы – это стыд и позор. Ему и в голову не приходит, что он имеет дело с мифом, что стоит упомянуть имя Ниобы, как у его истории тут же возникает мифическое измерение, превращая которое в сладкую водичку – откройте текст, вы глазам своим не поверите – он предлагает ребенку

стряпню, которую тот переварить не в силах и которая свидетельствует, к тому же, о глубоком невежестве экспериментатора, то есть самого Пиаже, в отношении функций языка. Если рассказываешь миф, так пусть это будет миф, а не коротенькая невнятная история, вроде вот этой – *жила-была дама по имени Ниоба, у которой было двенадцать сыновей и двенадцать дочерей. Однажды она встретила фею, у которой был лишь один сын, а дочерей не было вовсе. Ниоба стала насмехаться над феей за то, что у той только один мальчик. Фея обиделась и привязала Ниобу к скале. Та проплакала десять лет и, наконец, сама обратилась в скалу. А слезы ее образовали ручей, который течет из скалы и по сей день.*

Сравниться с этим могут разве что две другие истории самого Пиаже – рассказ о негритенке, который, уходя, ломает пирожное, а возвращаясь, растапливает кусок масла, и другой, еще хуже, о детях, которые, превратившись в лебедей, прожили всю жизнь в разлуке с родителями, а вернувшись к ним и обретя прежний облик, не только нашли родителей уже мертвыми, но и сами оказались уже стариками. Не знаю, найдется ли хоть один миф, где герои старели бы, находясь в чужом облике. По правде говоря, истории Пиаже очень напоминают те, что рассказывает Бине – и те, и другие свидетельствуют о том, насколько любая педагогика злонамеренна.

Я приношу извинения за это долгое отступление. По крайней мере, оно дало вам представление об отмеченной Пиаже энтропии понимания, которое неизбежно ухудшается. Пиаже сам, к собственному изумлению, констатирует, что существует резкий контраст между объяснениями, с одной стороны, и так называемыми «историями», с другой. Не исключено, что если истории и подтверждают его теорию энтропии понимания, то лишь потому, что это не истории вовсе – будь они действительно историями, подлинными мифами, никакой потери, возможно, не было бы.

Так или иначе, вот одна характерная маленькая деталь. Повторяя историю Ниобы, один из детей, дойдя до места, где дама у Пиаже оказывается привязана (attachée) к скале – никогда, ни в какой форме, в мифе о Ниобе такой эпизод не

встречается – упоминает о наличии на скале пятна (tache). В его рассказе, таким образом, возникает черта, отмеченная мной на прошлом занятии, где речь шла о том, что существо, приносимое в жертву, должно быть незапятнанным. Ну, это легко объяснить – скажут мне – это просто слово было плохо расслышано, а вы на этом сыграли. Да, но почему именно это слово? Ладно, оставим это. То, что я говорю, конечно, не доказательство – всего лишь предположение.

Я возвращаюсь к своим объяснениям и к словам Пиаже, заметившего, что хотя объясняющий объясняет плохо, тот, кому объяснения адресованы, понимает гораздо лучше, чем сам объясняющий, судя по его объяснениям, понял до этого. Естественно – говорят нам – ведь ему приходится додумывать самому. И в самом деле, как определяет Пиаже уровень понимания в разговоре между детьми?

$$\frac{\text{то, что понял воспроизводящий (репродуктор)}}{\text{то, что понял объясняющий (экспликатор)}}$$

Я не знаю, заметили ли вы, что есть кое-что, о чем речь никогда не заходит – о том, что понял сам Пиаже. А это очень важно – ведь мы не позволяем детям пользоваться языком спонтанно, чтобы посмотреть, что они понимают, когда один из них делает что-то вместо другого.

Так вот, Пиаже не заметил, похоже, что с точки зрения постороннего, третьего лица, его собственное объяснение абсолютно невразумительно. Если перекрытая на этой схеме трубка будет – путем операции, которой Пиаже придает такое большое значение, движением поворачивающих кран пальцев – открыта для прохода воды, значит ли это, что вода действительно потечет? Ни малейших пояснений у Пиаже на этот счет не найти. Он знает, конечно, что если в трубе нет давления, манипуляции краником ничего не дадут, но считает возможным не говорить об этом, нисходя, как он считает, на уровень мышления ребенка.

Позвольте мне немного продолжить. Вам это может показаться глупостями, но вы сами увидите, в чем тут дело. Смысл этой затеи станет ясен не из моих спекуляций, а из самого опыта. Я не считаю, иными словами, будто все понимаю сам.

Ясно одно – если кран выступает в роли причины, объяснение, что кран, мол, может открываться и закрываться, будет неудачным. Кран нужен для того, чтобы закрывать воду. Достаточно однажды, когда воды нет и вы не знаете, когда ее дадут снова, оставить кран открытым, чтобы понять, сколько это может доставить хлопот, и в дальнейшем, когда нет подачи воды, кран закрывать.

Так что же при передаче объяснения одним ребенком, «эксплицирующим», другому, «репродуцирующему», оказывается упущено? Не хватает важной детали, об отсутствии которой и сокрушается Пиаже. Дело в том, что ни двумя отсеками трубки, ни операциями пальцев и их последствиями, «репродуцирующий» ребенок совершенно не интересуется – несмотря на то, как отмечает Пиаже, что первый ребенок ему об этом многое рассказал. Потери в понимании кажутся Пиаже огромными. Но я уверяю вас, что прочитав объяснения третьего «репродуцирующего», маленького Риба, вам бросится в глаза, что он уделяет главное внимание двум вещам – действию крана как механизма перекрытия трубки и результату этого перекрытия: с помощью крана можно наполнить тазик, не позволяя воде вылиться через край. Кран в качестве причины оказывается здесь на первом плане.

Почему же Пиаже проходит мимо того, что происходит у него прямо перед глазами? Да потому что не понимает самого главного – в кране как причине ребенка интересуют, в первую очередь, те желания, которые вызывает этот краник у него самого. Ему хочется, например, писать, как это случается каждый раз, когда он оказывается в присутствии воды, когда он оказывается, по отношению к этой воде, в роли сообщающегося сосуда. Не случайно именно эту метафору выбрал я в свое время, говоря вам о либидо и о том, что происходит между субъектом и его зеркальным образом. Если человек склонен забывать о том, что в присутствии воды он превращается в сообщающийся сосуд, то носик крана для умывания ему об этом в детстве непременно напомнит. У детей в возрасте, о котором пишет Пиаже, возникает в присутствии краника непреодолимый позыв к *acting out* – позыв, толкающий его на что-то такое, что рискует привести к его, этого краника, разборке, демонтажу. В силу чего краник

снова оказывается на месте причины – на этот раз на уровне фаллических отношений. На самом деле, как показывает история маленького Ганса, краник обязательно выступает в качестве чего-то такого, что можно развинтить, заменить, демонтировать, что находится, одним словом, в компетенции водопроводчика. Одним словом, в качестве (-ϕ).

Дело не в том, что Пиаже упускает из виду эти элементы опыта, о которых он, будучи сведущ в анализе, хорошо знает, – дело в том, что он не видит связи между отношениями, которые мы, аналитики, связываем с определенным комплексом, и тем, как функция причины, которую он пытается исследовать, в любом случае изначально выстраивается.

Вернемся теперь к языку ребенка.

Я уже говорил вам в последний раз, что пионерские работы в этой области, появившиеся, как это ни странно, совсем недавно, позволили нам уловить *in statu nascendi* игру означающих, имеющую место в гипнопомпических монологах совсем маленького, самое большое, двухлетнего ребенка и обнаружить, что в ней уже артикулирован, в поистине захватывающей форме, эдипов комплекс. Тем самым получило экспериментальное подтверждение давно высказанная мной идея о том, что бессознательное является, по сути своей, эффектом означающего.

В завершение разговора о позиции, которую занимают психологи, скажу, что предисловие к работе, на которую я здесь все время ссылаюсь, тоже написано психологом, чье мнение, кстати, мне симпатично: он признает, что психологи никогда не интересуются на самом деле подобными функциями, поскольку осваивание субъектом языковых игр интересует их – ценное свидетельство со стороны психолога – исключительно в связи с задачами обучения. Он прав, конечно – языку нужно учиться. Понадобилась, в лице Якобсона, подсказка лингвиста, чтобы пробудить у психологов интерес к языку и тому, что он делает, безотносительно к учебным задачам.

Нам представляется, что здесь наш психолог самокритичен, поскольку высказывается он об этом недочете психологических исследований с нескрываемым юмором.

Ан нет – под конец предисловия он делает-таки два заме-

чания, из которых явствует, до какой степени закоснел он в свойственных психологам предрассудках.

Поскольку книга представляет собой том в три сотни страниц, где собраны и выложены полностью в хронологической последовательности монологи ребенка, записывавшиеся в течение месяца, можно представить себе, сколько времени на изучение всего этого может уйти! Это его первое замечание.

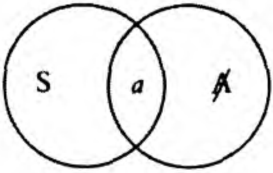
Второе еще более замечательно. Записывать все, что произносит ребенок, разумеется, интересно – говорит этот психолог, по имени Джордж Мюллер – но что действительно интересно, так это понять, *what of that he knows*, то есть что он, ребенок, знает из того, что он вам говорит? Но ведь вся штука и состоит как раз в том, что он не знает, что говорит, и очень важно отметить, что он, и не зная, все равно говорит это. Уже сейчас он выговаривает все то, что ему суждено, или не суждено, узнать позже – элементы своего эдипова комплекса.

3

Уже десять минут третьего. В дальнейшем я буду говорить о неврозе навязчивых состояний и мне хотелось бы теперь же то, что я скажу, схематически пояснить. Предварительно то, как обстоит дело, можно за пять минут сформулировать так.

Речь идет о пяти уровнях, так сказать, формирования *a* в отношениях между *S* и *A*. Определить эти пять уровней можно так, как я сейчас вам покажу – все это прямо следует из того, что говорил я на предыдущих занятиях.

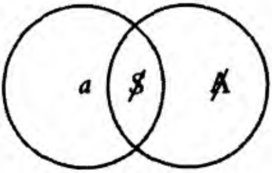
Вот первая операция.



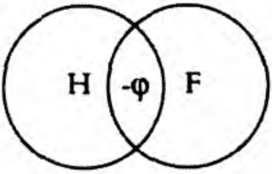
Второй этап операции понять нетрудно, учитывая разделение, которому подвергается у меня Другой. Преобразование субъекта *S* в *$”S”$* при переходе его из левой части первой схемы в среднюю, общую часть второй, ос-

тается от этого разделения в отдалении – функцию круга Эйлера здесь следует, разумеется, уточнить.

На уровне отношений с оральным объектом налицо, скажем сразу, для пущей ясности, не потребность *другого* – двусмысленность родительного падежа таит в себе огромные возможности, которыми мы не прочь, конечно, воспользоваться – а потребность *в* Другом, *на уровне* Другого. Именно на фоне зависимости от материнского существа происходит дизъюнкция, отъединение субъекта от *a*, соска – операция, чье значение не станет вам вполне ясно, пока вы не поймете, что сосок является не частью материнского тела, а частью внутреннего мира субъекта.

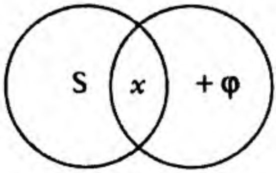


На втором уровне, на уровне анального объекта, мы имеем требование в Другом. Это требование, будучи связано с анальным объектом, имеет характер по преимуществу воспитательный. Вы ни за что не поймете, какова настоящая функция анального объекта, пока не почувствуете, что он представляет собой остаток требования Другого, которое я называю здесь, для пущей ясности, требованием в Другом.



Теперь третий уровень, фаллос. Здесь налицо вся диалектика, связанная, как я учил вас, с функцией (-*ϕ*), функцией, которая среди прочих функций *a* уникальна в том отношении, что задается она нехваткой, нехваткой объекта. Нехватка эта выступает здесь как таковая, она выходит на первый план – это как раз и оправдывает фокусирование анализа на сексуальности. Мы назовем ее здесь наслаждением в Другом. Связь этого наслаждения в Другом с введением того отсутствующего инструмента, который обозначен у нас символом

(-ϕ) – это связь обратно пропорциональная. Именно об этом говорил я на двух последних занятиях, именно здесь заложена солидная база для любой эффективной работы с тем, что мы назвали тревогой перед кастрацией.



На зрительном уровне, который и является, собственно, уровнем фантазма, мы имеем дело с могуществом в Другом – миражом, за которым гонится человеческое желание. В созерцательном обладании, этой главной форме любого обладания вообще, субъект обречен оставаться в неведении о том, что перед ним лишь мираж могущества.

Я, как видите, продвигаюсь довольно быстро. Что же происходит на пятом, последнем уровне?

Скажем предварительно, что именно там должно заявить о себе, в чистой форме, желание в Другом. В примере, из которого мы исходили, у страдающего неврозом навязчивости, сигналом его появления служит то, что в феноменологии случая на первое место выступает тревога. Факт структуры, в котором мы, и только мы, отдаем себе покуда отчет, состоит в том, что вплоть до определенного момента анализа что бы страдающий неврозом навязчивости ни делал, сколь бы утонченные фантазмы и ритуалы он ни выстраивал, ему всегда мерещится при этом живущее в Другом желание. В справедливости этой формы вы можете убедиться сами. В симптоматологии одержимого неврозом навязчивости, и прежде всего в симптомах, где измерение причины дает о себе знать как *Angst,* все определяется возвращением этого желания в Другом, которое у такого невротика в принципе вытеснено.

Решение нам тоже по собственным наблюдениям хорошо известно. Чтобы от желания Другого себя заслонить, путь у одержимого неврозом навязчивости только один – он прибегает за помощью к требованию. Посмотрите на поведение такого невротика в жизни, понаблюдайте за тем, что я только что охарактеризовал как попытки перейти на

лицевую стороны желания. Какими бы смелыми, сложными, утонченными, многообразными, извращенными эти потуги ни были, они заранее обречены на неудачу. Ему всегда нужно на них получить позволение. Ему нужно, чтобы Другой этого от него потребовал.

Вот где лежат истоки явления, возникающего у такого невротика в определенный, поворотный для анализа момент. Пока аналитик поддерживает измерение, аналогичное измерению требования, отдельные элементы этого способа отделаться от Другого сохраняются в анализе вплоть до самых поздних его этапов – неизвестно, могут ли они исчезнуть вообще. Посмотрите теперь, какие отсюда вытекают последствия. Поскольку невротик, стремясь ускользнуть от Другого, пытается заслониться от желания в Другом требованием в Другом, постольку *а*, объект его причины, располагается там, где господствует именно требование, на анальной стадии – стадии, где *а* является не экскрементом в чистом виде, а экскрементом, поскольку он оказался затребован.

Никто пока не исследовал отношения с анальным объектом в этих координатах – они-то как раз его настоящими координатами и являются – с целью понять истоки так называемой анальной тревоги – тревоги, которая в анализе одержимого навязчивостью, доведенном до этого пункта, чего никогда не бывает, непременно должна обнаружиться. В пункте, который следует рассматривать как конечный, тревога обнаруживается в виде неустранимого ядра, доминанты, с которой в определенных случаях не удается справиться.

Это то, к чему нам в следующий раз предстоит вернуться и из чего можно легко вывести результат отношений анального объекта с требованием, которое его взыскует – требованием, которое с заданной этой причиной разновидностью желания не имеет ничего общего.

12 июня 1963 года

XXII
ОТ АНАЛЬНОГО К ИДЕАЛЬНОМУ

Циркулярное формирование объекта
Происхождение причины
Джонс и непорочное зачатие
Любить по ту сторону фаллоса
Желание богов

Определение функции объекта *a*, которое я пытаюсь в этом году здесь вывести, противостоит, как заметил кто-то после моей прошлой лекции, концепции Абрагама – я имею в виду психоаналитика Абрагама – связывающей объект и его мутации с определенными стадиями.

Определение это описывает формирование объекта как процесс, если можно так выразиться, круговой.

На всех уровнях этого формирования объект тяготеет к себе самому в качестве объекта *a*. В каких бы формах он ни проявлялся, речь все время идет об одной и той же функции и о том, каким образом связан объект с формированием субъекта в месте Другого и его, этот субъект, представляет.

Формы объекта на различных стадиях его формирования

На уровне фаллической стадии, которая является по отношению к другим стадиям объекта центральной и которую мы условно назовем стадией 3, функция *a* представлена нехваткой, то есть неимением фаллоса – дизъюнкцией, которая соединяет желание с наслаждением.

Стадия эта занимает здесь верхнюю позицию. Что касается стадий 4 и 5, то они знаменуют собой возврат на нижние уровни, что позволяет поставить их в соответствие со стадиями, соответственно, 1 и 2.

Всем известно – моя схема просто лишний раз напоминает об этом – что оральная стадия и ее объект связаны с первичными манифестациями сверх-я. Напоминая вам об очевидной близости этого последнего с объектом *а*, выступающим в форме голоса, я уже указывал вам на факт, который ни одна серьезная аналитическая концепция сверх-я не должна упускать из виду: в самой глубокой своей фазе сверх-я само является одной из форм объекта *а*. С другой стороны, давно замечена связь анальной стадии со скоптофилией.

Несмотря на парное соответствие форм, наблюдаемых на стадиях 1 и 2, с формами на стадиях 4 и 5, целое явно ориентировано в направлении, указанном восходящим к вершине и затем вновь нисходящим вектором. Этот вектор говорит о том, что во всякой аналитической фазе, где восстанавливаются путем регрессии данные вытесненного желания, есть и другая, прогрессивная сторона, и что, наоборот, во всяком прогрессивном приближении к стадии, которая в моей схеме предстоит как высшая, одновременно присутствует и регрессия.

Напомнив вам о вещах, которые в течение сегодняшнего занятия следует постоянно держать в уме, я иду дальше.

1

Как я вам в прошлый раз уже говорил, нам предстоит выяснить функцию, которую выполняет в формировании анального желания определенный объект, именуемый, называя вещи своими именами, дерьмом.

Объект неприятный, но именно аналитикам выпала в истории мысли честь первыми обнаружить его решающую роль в икономии желания.

Я заметил в последний раз, что по отношению к желанию объект *а* всегда выступает в роли причины и что для нас он является, возможно – вы следите за моей мыслью – тем корневищем, из которого берет начало в субъекте функция причины. Первоначальная форма причины – это причина желания.

Чтобы причина продолжала сохранять свою ментальную функцию, между ней и ее следствием обязательно дол-

жен быть разрыв, зияние. Зияние это необходимо настолько, что если мы хотим мыслить причину там, где оно рискует исчезнуть, нам поневоле приходится те связи, посредством которых причина действует, их узкий детерминизм, утаивать. Именно это мой давешний пример с краником и призван был пояснить.

Кому, как мы видели, открылась суть функции краника как причины, то есть как концепции краника? Единственному ребенку, который не удержался на уровне того, что Пиаже назвал пониманием, а то и просто без этого понимания обошелся, и о котором мы узнаем, что он игнорировал, так и не поняв его, жесткий механизм, предъявленный ему в виде схемы краника в продольном разрезе.

Необходимость, связывающая поддержание причины с зиянием, коренится в том, что причина в своей первичной форме – это причина желания, то есть того, что в принципе не осуществлено. Поэтому мы и не можем ни в коем случае смешивать анальное желание с тем, что матери, как и сторонники катарсиса, могли бы назвать последствиями – в том смысле, в котором мы спрашиваем порой, *имело ли это последствия?* Экскремент не является следствием того, что мы описываем как анальное желание, он является, напротив, его причиной.

На этом единственном в своем роде объекте мы останавливаемся не только в связи с важностью его функции, которая всегда, и в первую очередь, как вы знаете, у навязчивого невротика, бросается в глаза, но, откровенно говоря, еще и потому, что объект этот лишний раз демонстрирует нам, как следует понимать тот факт, что объект *a* существует под различными видами.

На самом деле, анальный объект стоит среди этих видов несколько особняком.

Молочные железы, фаллическое функционирование органа совокупления, облегчающая воспроизведение звуков податливость гортани и другие анатомические факты, способствующие тому, что зеркальный образ предвосхищает формирование нервной системы у новорожденного – факты, которые я в последнее время один за другим приводил вам, чтобы показать связь их с функцией *a* и само перечис-

ление которых говорит о том, насколько различные места на древе органических закономерностей они занимают – так вот, факты эти играют для человека, как говорил Фрейд, судьбоносную роль лишь постольку, поскольку блокируют место на той своего рода шахматной доске, структура которой определяется субъективирующим построением, обусловленным преимуществом говорящего субъекта перед субъектом понимающим, субъектом так называемого *инсайта*.

Ограниченность этого последнего на примере шимпанзе хорошо изучена. Что бы о пресловутом превосходстве человека над обезьяной ни говорили, все его практические преимущества связаны в первую очередь с тем, что доминирующим в нем становится говорящий субъект. Тот факт, что он говорит, дает ему основание полагать, что он возвысился до понятия, то есть стал способным улавливать реально существующее с помощью означающего, правящего этим реальным в соответствии с его интимными причинными связями.

Поле отношений между субъектами, которое психологам, похоже, заботы не доставляет, для нас является головной болью. Стоит нам попытаться отдать себе отчет в том, как функция означающего впервые в эти отношения вмешивается, как перед нами встают трудности настолько большие, что они дают основания для новой критики разума. Было бы, впрочем, типично школярской глупостью видеть в этой последней его, разума, частичное поражение. Критика эта просто-напросто демонстрирует, что разум вплетен в жизнь субъекта уже на самом непрозрачном уровне его динамики – там, где то, что субъект испытывает как потребность, принимает форму желаний, которые по отношению к тому, что представляется нам естественным, всегда оказываются более или менее парадоксальными.

Новая критика разума, о которой я говорю, удостоверяется, таким образом, тем, что является, как я только что показал, причиной желания. Не слишком ли дорогой ценой мы за это откровение платим, оказываясь вынужденными признать, что и понятие причины обнаруживает здесь свое происхождение? Не впадаем ли мы в психологизм с его абсурдными выводами, ставящими законность разума под

сомнение? Нет, ничего подобного мы не делаем, так как субъективация, о которой у нас идет речь, не является психологической и с процессами органического развития никак не связана. Все случайные перипетии этого процесса, все особенности анатомического строения человека, которые я только что перечислял, обязательно сопровождаются у него эффектом означающего, трансцендентность которого пресловутому развитию совершенно очевидна.

Я сказал: трансцендентность. Ну и что? Пугаться тут нечего. Трансцендентность налицо здесь ни больше ни меньше, нежели в любом другом столкновении с тем реальным, которое биологи называют *Umwelt*, в любой попытке это реальное приручить. Само наличие у животных тревоги снимает с меня обвинения в спиритуализме, который безосновательно вменяется мне под тем предлогом, что означающее оказывается у меня, будто бы, трансцендентным. На самом деле в тревоге, наблюдаемой у животных, речь действительно идет о чем-то таком, что находится по ту сторону пресловутого *Umwelt*. Смятение связано у животного с пониманием того, что какая-то природная или климатическая катастрофа, землетрясение например, поколебало его *Umwelt* в самых его основах.

Это лишний раз доказывает, что тревога, по определению, никогда не обманывает. Недаром, будучи в местности, где подобные явления наблюдаются часто, вы правы будете, увидев, что животные начали волноваться, заключить, что бедствие неотвратимо. Для них, как и для нас, место Другого заявляет о себе таким образом. Здесь обнаруживает себя Другая вещь как таковая.

Это не значит, как я уже замечал в прошлый раз, что вне реального пространства этому месту Другого некуда деться.

2

Обратимся теперь к конкретному случаю, где в момент, когда субъекту предстоит оформиться в качестве означающего, экскремент берет на себя определенные функции.

Вопрос это очень важный, так как именно в нем чаще всего царит путаница. Считается, что говоря об анальном объекте, мы приближаемся, так сказать, к материи, к конк-

ретному, демонстрируя тем самым, что мы не отворачиваемся даже от самых неприглядных сторон жизни. Мы поздравляем себя с тем, что именно здесь, а не где-нибудь в эмпиреях, ищем мы причины вещей. Эта забавная тематика хорошо прослеживается в тезисах, которыми предваряет Джонс одну из своих вошедших в сборник *Selected Papers* статей, прочесть которую я горячо вам рекомендую – она этого более чем достойна.

Статья эта озаглавлена *Madonna's Conception through Ears*, непорочное зачатие через ухо. Протестантская закваска автора-валлийца дает-таки в ней себя знать, хотя сюжет он рассматривает с живейшей симпатией. Текст написан в 1914 году, когда Джонс был под свежим впечатлением наблюдений над несколькими тяжелыми случаями невроза навязчивости, где выяснилось, что именно анальная функция оказывается у этих пациентов на первом плане. Наблюдения эти, ставшие для него подлинным откровением, были сделаны через несколько лет после того, как с аналогичными пациентами столкнулся Фрейд. Записи их я отыскал в первых двух номерах пятого тома *Jahrbuch*, вышедших в свет незадолго до статьи о Мадонне. Это случаи действительно сенсационные, хотя с тех пор им подобных мы встречали немало.

В статье о Мадонне Джонс сразу берет быка за рога. Да, пишет он, оплодотворяющее дыхание – это тема, следы которой мы находим повсюду: в мифах, легендах, поэзии. Что может быть прекраснее библейского сказания о пробуждении бытия дыханием Всевышнего? Но он, Джонс, может поведать об этом кое-что новое. Наука его, разумеется, еще молода, но зато энтузиазма ее адепту не занимать. Он покажет нам, о каком дыхании, о каких ветрах идет речь. Речь идет о ветрах анальных.

Аналитический опыт, утверждает Джонс, обнаруживает, что субъект проявляет к своим экскрементам, к произведенному им дерьму, живой биологический интерес – гораздо более очевидный, настойчивый и непосредственный, нежели к дыханию, которое, казалось бы, должно занимать его больше, но о котором он, похоже, никогда не задумывается. Почему? Потому что дыхание – это что-то привычное.

Аргумент, надо признаться, слабый. Особенно в дисциплине, от которой не могло укрыться, в какой степени функция тревоги связана изначально с трудностями дыхания, с опасностью задохнуться. Утверждение, будто живое существо, даже если это человек, не отдает себе отчета в важности дыхательной функции, представляется поразительно неосновательным, тем более что в это время уже были известны факты, свидетельствующие о связи дыхательной функции с моментом оплодотворения в половом акте. Тяжелое, затрудненное дыхание отца или матери, входит в феноменологию первичной травматической сцены и имеет все шансы стать частью той детской теории половых отношений, которая из этой сцены берет начало.

Я не утверждаю, будто весь дальнейший ход мыслей Джонса неверен – напротив, как в мифологической литературе, так и в самых различных разделах антропологии можно найти множество соответствий, говорящих в его пользу. Пресловутые ветры, *апана*, фигурируют, к примеру, еще в Упанишадах, где именно с их помощью порождает Брама человеческий род. Обратившись к этой статье, вы убедитесь, на самом деле, что само разнообразие приводимых свидетельств настолько размывает картину, что она оказывается, в конечном счете, не слишком-то убедительной.

Для нас, однако, это лишний повод спросить себя, почему в субъективном образовании, именуемом нами анальным желанием, главная роль принадлежит именно экскрементам. Решить этот вопрос можно лишь дав структурное, то есть соответствующее духу нашего исследования, объяснение того, почему экскремент занимает здесь место *а*.

По отношению к необязательным деталям, которые я только что перечислил, от анатомической роли соска до податливости гортани, включая связанный с соответствием органа совокупления относительно высокому уровню эволюционного развития зеркальный образ кастрации, экскремент предстает как нечто изначальные – мы находим его еще на уровне бластопоров, где рот и анус не дифференцированы.

Однако в соответствии с нашим биологическим, пусть не вполне адекватным, представлением о взаимосвязи меж-

ду живым организмом и его средой, экскремент выступает как отброс и попадает, следовательно, в категорию вещей, которыми живое существо не питает, как правило, интереса. Его интересует то, что в него входит. Структура организма такова, что выходящее он, как правило, удержать не стремится. Исходя из этих биологических соображений можно, следовательно, спросить себя, как именно получает экскремент то субъективированное значение, которое ему на человеческом уровне придается.

Изучая взаимодействие живого организма с его средой, легко констатировать, что и в среде экскременты продолжают оставаться заметным фактором. В определенных условиях они настолько насыщают ее, что она делается непригодной для жизни. В других случаях, у других организмов, они становятся, напротив, поддерживающим жизнь элементом среды. Возникает целое экскрементальное хозяйство, как внутри живого существа, так и во взаимодействиях между ними.

Сходные процессы происходят и в человеческом обществе. Мне так и не удалось найти дома – она потерялась, как экскремент – замечательную, как и многие другие сочинения моего друга Олдоса Хаксли, книжечку под названием *Адонис и алфавит*. Под этим многообещающим титулом скрывается превосходная статья об организации промышленного использования экскрементов в одном из городов на западе США.

Это всего лишь пример, ибо нечто подобное происходит повсюду, а не только в индустриальной Америке. Вы не представляете себе, сколько всего ценного можно получить из массы человеческих экскрементов!

Не лишне, кстати, напомнить здесь и о том прогрессе в межчеловеческих отношениях, какого во время пресловутой последней войны достигли, столь модные по ее окончанию, *human relations* в деле сведения целых человеческих масс до функции экскрементов. Превращение многочисленных представителей народа, призванного быть избранным среди других, с помощью газовых печей, в нечто такое, что в конечном счете, как то представляется, расходилось по *Mitteleuropa* в виде кусочков мыла, также показывает

нам, что в*и*дение человека как чего-то сводимого к экскрементам экономическому обороту отнюдь не чуждо.

Но то, что нас, аналитиков, занимает – это вопрос о субъективации.

3

Каким образом экскремент субъективируется?

Субъективируется он посредством требования Другого, представленного в данном случае матерью. На материале анализа это становится очевидным, или, по крайней мере на первых порах, представляется таковым.

Обнаружив это, мы удовлетворены – наши данные вполне соответствуют картине воспитания в детях пресловутой чистоплотности: их сызмальства учат сдерживать свои позывы. Само собой это не происходит. Кому не знакомы те парадигматичные сцены, которые в семьях при этом обыкновенно разыгрываются – мы не собираемся здесь ни критиковать эту практику, ни сдерживать ее, ни, боже упаси, давать родителям какие-то рекомендации. Попытки обучения родителей, ставшие ныне обычным делом, ни к чему хорошему в этой области покуда не приводили.

От ребенка требуют, чтобы он сдерживал свой позыв. Ему приходится долгое время сдерживаться, пытаться вновь ввести экскременты в область, принадлежащую телу, сделать из них неотчуждаемую, хотя бы на время, часть тела. После этого ему велят, опять же по требованию, опорожниться. Требование играет решающую роль и здесь. Часть тела, с которой субъект расставаться, как-никак, несколько опасается, получает на какое-то время признание. Ей придается особая ценность – ценность, которая, не говоря уже о сопровождающих испражнение процедурах, обусловлена тем, что она удовлетворяет требование Другого. Другой не просто проявляет к экскрементам внимание, не просто относится к ним одобрительно, но и проделывает с ними иные, дополнительные манипуляции, о которых вы сами хорошо знаете и которые, иди речь о чем-то другом, напоминали бы эксперимент из занимательной физики – нюхает, подтирает их. То, что они оказывают эрогенное действие, не вызывает сомнений – это

особенно очевидно, когда мама продолжает подтирать ребенку попу до двенадцатилетнего возраста. А такое встречается сплошь и рядом.

Все это говорит о том, что мой первоначальный вопрос не так важен и что прекрасно видно, каким образом какашка берет на себя роль того, что я некогда назвал *агалмой*. То, что *агалма* перешла здесь в разряд тошнотворного, следует из дисциплинарного режима, интегральной частью которого она является. Все это не позволяет нам, тем не менее, дать себе удовлетворительный отчет во всей полноте последствий агалматического отношение матери к экскрементам ребенка, пока мы не поставим эти факты в связь с другими формами *а*. Вне связи с фаллосом, с его отсутствием, с фаллической тревогой как таковой, *агалма* просто немыслима.

Иными словами, экскрементальное *а* попадает в поле нашего внимания лишь постольку, поскольку оно символизирует собой кастрацию.

Мы не поймем в столь важной для нас феноменологии невроза навязчивости ровно ничего, пока не уясним себе более убедительным, внутренне обоснованным, правильным образом связь экскрементов не просто с (-ϕ) фаллоса, но и с другими формами *а*, которые налицо в нашей стадиальной, так сказать, классификационной таблице.

Начнем с наиболее регрессивной фазы – с той уже сделанной мной оговоркой, что у регрессии всегда есть прогрессивная сторона.

На уровне оральной стадии, где в роли объекта *а* выступает грудь, или сосок, как хотите, речь идет о следующем. Субъект, чье начало и конец связаны с велениями, которые подает голос, не знает и не может знать, действительно ли он, тот паразит, чей ворс еще недавно погружен был в слизистое вещество утробы, именуемое плацентой, является тем существом, что прилеплено к груди матери в форме соска. Он не знает, да и не может знать, что и грудь, и плацента представляют собой реальные формы того предела, которым является по отношению к Другому *а*. Он полагает, что *а* – это и есть Другой, и что имея дело с *а*, он имеет дело с Другим, с большим Другим, с матерью.

Зато на анальном уровне он впервые получает возмож-

ность узнать себя в определенном объекте. Но не будем забегать вперед.

Что-то в объекте этом поворачивается то так, то эдак. Речь идет о требовании матери. Оно меняется: *Держи. Дай. – А если я дам, что с ним будет?* Тем, у кого есть хоть небольшой аналитический опыт, нет надобности напоминать, насколько оба такта требования существенны. Другим, кто знаком о предмете только по книгам, достаточно заглянуть в то, что я назвал некогда *psycho-analytical dunghill*, в аналитическую литературу. *Dunghill* означает *кучка дерьма.*

Чем оба такта нам так важны? Все дело в том, что пресловутая кучка делается по требованию и вызывает, к тому же, реакцию восхищения – *Какая чудесная какашка!* Но второй такт требования тут же дезавуирует, так сказать, эту оценку, так как оказывается, что от чудесной какашки этой лучше держаться подальше, ограничиваясь известными – для анализа они тоже секрета не составляют – сублимированными способами удовлетворения. Если ребенок мажется ей – все знают, что такое бывает – ему тут же дают понять, что для этого есть другие вещи, – пластилин, например, которым пользуются детские психоаналитики в своих кабинетах, или специальные краски, которые не так дурно пахнут. В этой первой встрече с требованием Другого ребенок оказывается на уровне, где признание неоднозначно. То, что находится перед ним – это одновременно и он, и им быть не должно, и далее – это вообще не его.

Мы двигаемся вперед, вырисовываются постепенно способы удовлетворения, и происхождение типичной для невроза навязчивых состояний неопределенности становится все яснее. Мы можем выразить ее формулой ($a \lozenge \$$), где *a* является причиной этой неопределенности, этого да-и-нет. Он мой, этот симптом, но в то же время не мой. То дурное, что я о вас, своем аналитике, думаю, я от вас не скрываю, но сказать, будто я считаю вас полным дерьмом, тоже, в общем, нельзя. Перед нами вырисовывается, таким образом, определенный причинный строй.

Мы не можем, правда, немедленно признать в этой причинности причинность желания, но это, так или иначе, результат – в последний раз, говоря о симптоме, я это в общей

форме уже сформулировал. На этом уровне вырисовывается определенная структура, которая, как кажется, непосредственно обнаруживает структуру симптома – в его функции результата. Лишь обращу ваше внимание, что вне этой основанной на требовании структуры остается все то, что должно нас, если моя теория правильна, в первую очередь интересовать – связь с желанием. Может показаться, что введение иного, внешнего, чуждого измерения, измерения желания, и притом желания сексуального, позволит перейти во вторую плоскость, покончить с отношениями, способствовавшими формированию субъекта расщепленного, амбивалентного – субъекта, зависимого от требования Другого.

Мы уже знаем, почему сексуальное желание упразднить эти отношения не в силах. Дело в том, что объект, в силу двойственности своей, прекрасно может символизировать, по крайней мере в одном из этих тактов, то самое, чем знаменуется наступление фаллической стадии – он может символизировать фаллос. И делать это он может постольку, поскольку именно исчезновение фаллоса, его – пользуясь выражением Джонса, который применяет его к желанию, хотя применимо оно исключительно к фаллосу – *афанисис*, опосредует у человека отношения между полами. Опорожнение кишечника от результата анальной функции по велению Другого вполне обнаружит свое значение на фаллическом уровне, оказавшись прообразом утраты фаллоса.

Все это, разумеется, получает смысл лишь в контексте того, что я сказал раньше. Понимая, что некоторые из вас могли отсутствовать и не понимают поэтому, о чем я говорю, считаю долгом напомнить еще раз, в чем заключается суть фазы (-ϕ) – фазы, занимающей центральное место на этой таблице.

5. голос	*a*	желание Другого
4. образ	могущество Другого	
3. желание	тревога (-ϕ)	наслаждение Другого
2. след	требование Другого	
1. тревога	*a*	желание *x* Другого

Таблица (-ϕ)

Прошу вас запомнить эти формулы.

На основании $(-\phi)$, момент наступления наслаждения, наслаждения Другого в его движении навстречу наслаждения Другого, предполагает, в качестве залога их встречи, совершение кастрации.

Иными словами, из того факта, что мужское желание переживает спад *до* того, как начинает испытывать наслаждение женский партнер, не говоря уже о том, что наслаждение женщины удушается – слово, заимствованное из феноменологии грудного кормления – фаллической ностальгией, следует, что женщина вынуждена и, я сказал бы даже, обречена любить Другого мужского пола лишь в точке, расположенной по ту сторону того предела, на котором она тоже в своем желании останавливается – по ту сторону фаллоса.

Именно на это потустороннее любовь и нацелена. Оно либо искалечено кастрацией, либо преобразовано в терминах могущества. Другой мужского пола – это не Другой в смысле того Другого, с которым предполагается соединиться. Наслаждение женщины в ней самой. С другим она никоим образом не сопрягается.

Вы можете, конечно, назвать эту центральную функцию препятствием, но на самом деле она совсем не препятствие – она лишь место той вызванной неполноценностью органа тревоги, благодаря которой каждый из партнеров отдает себе, по-своему, отчет в том, что можно назвать ненасытностью желания.

Только памятуя об этом можем мы увидеть необходимость символических построений, которые обнаруживаем мы у истериков, с одной стороны, и у страдающих неврозом навязчивости, с другой. Сегодня нас будут интересовать именно эти последние.

В силу упомянутой мной структуры, мужчина присутствует в женщине лишь через представительство в форме неполноценного органа – органа, который подвергается в половом акте, и посредством его, кастрации.

Речь о даре будет здесь всего лишь метафорой. Мужчина – это слишком очевидно – ничего не дает. Ничего не дает и женщина. Но в отношениях с Другим без символики дара не обойтись. Дар, как кем-то уже говорилось, это высший, и

даже тотальный, социальный акт.

Аналитический опыт с самого начала наглядно продемонстрировал, что метафора дара позаимствована из анальной сферы. Люди давно заметили, что кал – будем употреблять пристойные выражения – является для ребенка подарком по преимуществу, даром любви. На этот счет замечено и многое другое, в том числе давно известное полиции и учебникам судебной медицины явление, которое называется *подписью*. Речь идет о том странном факте, что взломщик, который оперирует отмычкой, чтобы открыть ваш сейф, всегда испытывает в этот момент позыв к испражнению.

Вернемся теперь в связи с этим на уровень специфики млекопитающих.

Этология животных свидетельствует о том, что именно на уровне млекопитающих мы сталкиваемся с функцией фекального следа – точнее, с фекалиями как следом. След и здесь тесно связан с местом, которое субъект в качестве организма стремится себе обеспечить – с владениями, территорий, безопасностью полового общения. Широко известен, к примеру, тот факт, что гиппопотам – то же самое наблюдается и, скажем, у малиновки, просто у млекопитающих этот феномен ярче выражен – чувствует себя на своей территории непобедимым, но стоит ему перейти границу, как его, словно по щелчку невидимого переключателя, одолевает робость. Связь этой границы с фекальным следом у млекопитающих давно отмечена и мы не можем не видеть в этом предвосхищение, на чисто биологическом уровне, той функции представителя субъекта, которую выполняет объект *а* в облике анального плода.

Можем ли мы этим довольствоваться? Единственный ли это вывод, к которому можно придти, изучая связь функции *а* с определенным типом желания – с желанием навязчивого невротика?

До сих пор мы рассматривали исключительно то, что движет субъектом, заключенным в свои границы и в большей или меньшей степени расщепленным.

Именно эти границы и делают его таким, каким он видит себя на уровне полового соединения, и они, у мужчи-

ны, надежно вытеснены. Но даже доступ к символической функции, который они ему обеспечивают, не говорит еще ничего о том, о чем идет речь и в понимании чего мы сейчас так нуждаемся – каким образом оказывается так, что это сокрытие объекта начинает мотивировать функцию желания? И здесь на след нас наводит аналитический опыт.

Вот теперь-то и предстоит нам сделать очередной, решающий шаг.

4

До сих пор у нас так и не было объяснения тому, почему страдающие неврозом навязчивости находятся со своим желанием в столь непростых отношениях.

Поскольку вплоть до этого уровня все, от расщепленного субъекта до невозможного соединения, оказывается символизировано, тем более поразительно, что есть одно исключение – это само желание. Именно потому, что субъекту необходимо занять в качестве желания окончательную позицию, и делает он это в категориях могущества, то есть на четвертом этаже нашей схемы. Соединительным звеном служит здесь зеркальное отражение, нарциссическая опора власти над собственным Я в его отношениях с местом Другого.

Вам это прекрасно известно и объяснять это заново значило бы идти хоженою уже тропой. Вот почему мне хочется сегодня обратить внимание на то оригинальное, на что факты нам открывают глаза. Чтобы не быть голословным, возьмем один конкретный случай – тот случай №2, на котором строит Джонс свою феноменологию анальной функции у навязчивого невротика. В аналитической литературе подобных случаев описано множество.

Случай этот иллюстрирует то, о чем я тысячу раз уже говорил. Фантазмы навязчивого невротика, сколь бы богаты они ни были, как правило не воплощаются в жизнь. Бывает, однако, что вопреки всем условиям, которые откладывают их осуществление на более или менее определенное время, он свое желание реализует. Больше того, случается, что пространство препятствия преодолевают за него другие. Бывает так, что субъект, рано сформировавшийся как об-

разцовый невротик, принадлежит к семье, где царит распущенность. Перед нами как раз один из подобных случаев.

Все сестры субъекта – а их у него было много, да и вобще семья у него была необыкновенно многочисленна: мать, тетя, любовники матери и, прости Господи, бабушки – в возрасте пяти лет безжалостно им помыкали. Он стал, однако, невротиком, типичным навязчивым невротиком, с единственными желаниями, которые в регистре могущества могут сформироваться – с желаниями неосуществимыми. Неосуществимыми в том смысле, что как бы он ни старался осуществить их, ему это не удавалось. В этом регистре его поиски удовлетворения были обречены на неудачу.

Вопрос, который я задаю и который в этом, как и во многих других случаях, откровенно напрашивается, присутствует в статье Джонса в живой и блестящей форме – в образе маленькой рыбки. Эта рыбка, ἰχθύς – которая у меня, можно сказать, под рукой: в нашем культурном ареале, а другого мы, собственно, и не знаем, он встречается в неврозах навязчивости на каждом шагу – есть не что иное, как Иисус Христос собственной персоной. Можно долго рассуждать об окрашенной кощунством необходимости – она до сих пор, надо сказать, так объяснения и не получила – в силу которой наш субъект, как и многие другие навязчивые невротики, не может совершить ни один из не вполне обычных поступков, в которых находят выражение его сексуальные поиски, без того, чтобы не вообразить Христа своим соучастником. Факт этот известен аналитикам весьма давно, но я не думаю, что последнее слово в отношении его уже сказано.

Если фантазм этот является кощунственным, то ясно, что Христос в данном случае выступает как Бог. На самом деле для многих он действительно Бог, и люди эти столь многочисленны, что, невзирая на все манипуляции психологии и исторический критики, лишить его этого статуса так и не удается. И не удивительно – ведь это не просто один из богов. Мне не верится, что невротики времен Теофраста, автора *Характеров*, привлекали мысленно Аполлона к участию в своих бесчинствах.

Здесь-то и получает свое значение сделанное некогда

мною походя замечание, что боги, хотим мы этого или нет – это элемент реального, даже если мы никаких отношений с ними более не поддерживаем. А это значит, что они, будучи здесь, прогуливаются между нами инкогнито. При этом одно нам известно наверняка – к объектам желания отношение у богов иное, нежели у нас.

Я только что здесь упомянул Аполлона. Аполлон не кастрирован – ни до, ни после. После, однако, с ним что-то произошло. Нам говорят, будто это Дафна превратилась в дерево. Здесь дело не чисто – от нас кое-что скрывают. Скрывают, как ни поразительно, именно потому, что происходит все на виду. Лавр после превращения – это вовсе не Дафна, это сам Аполлон. Свойство бога состоит в том, что он, будучи удовлетворен, превращается в объект своего желания, даже если ему суждено в этом объекте окаменеть. Иными словами, бог, если он реален, являет в отношениях со своим желанием образ собственного могущества. А могущество его там, где он сам.

Это справедливо в отношении всех богов, даже Элогим, или Ягве, который является, в конечном счете, одним из них, хотя и занимает совершено особое место. Но в дело здесь вмешался фактор совершенно иного происхождения. Фактор этот – исторически тут, конечно, придраться не к чему, но историческая истина все-таки несколько выходит за рамки частного факта – носит имя Платона.

Платон учит нас вещам, которыми можно манипулировать, не покидая пределов этики наслаждения, поскольку они позволили нам обозначить предел, который в отношении к верховному благу знаменует собой прекрасное. Однако в соединении с рождающимся христианством эти идеи породили иное, настолько привычное для нас сейчас представление, что мы полагаем, будто люди думали так испокон веку; более того – что его разделяют уже самые ранние библейские авторы, хотя на деле, разумеется, это вопрос спорный и в следующем году, если мы снова с вами здесь соберемся, нам к нему еще придется вернуться. Я имею в виду фантазм всемогущего Бога, то есть Бога, чье могущество проявляется одновременно повсюду, а значит, как вынуждены мы признать, и в отношении всего вместе взятого. Причину того, что дела в

мире обстоят именно так, а не иначе, нужно искать в божественной мощи, проявляющей себя во всех направлениях.

Тот факт, что всемогущество это сопровождается, так сказать, всевидением, ясно дает понять, о чем идет речь. Речь идет о том, что вырисовывается в поле, лежащем по ту сторону миража могущества. Речь идет о проекции субъекта в область идеала – область, которая расщепляется на зеркальное *alter ego*, идеальное Я (le moi idéal), с одной стороны, и то, что лежит по ту его сторону, Идеал моего Я (l'Idéal du moi), с другой.

На уровне, где нужно замаскировать тревогу, Идеал Я принимает форму Всемогущего. Именно здесь ищет и находит навязчивый невротик то дополнительное, что необходимо ему для становления в качестве желания – тот фантазм вездесущия, что служит опорой, вокруг которой желания его, которые ему приходится вытеснять все дальше, кружат многочисленным роем.

В кругах, остающихся, так сказать, очагом аналитического движения, то есть там, где остатки прежнего воодушевления еще теплятся, был поднят вопрос о том, должен ли аналитик быть атеистом, и может ли субъект, оканчивая анализ, считать его завершенным, если он еще верит в Бога. Это вопрос, окончательного решения которому я сегодня давать не стану. Однако в русле его сразу хочу заметить: независимо от того, что навязчивый невротик вам на этот счет говорит, знайте – пока структура навязчивого невроза у него сохраняется, в Бога он по-прежнему верит. В Бога, я имею в виду, приверженцами которого являются у нас, в нашей культурной среде, все, или почти все – в Бога, в которого все, даже не веря в него, все-таки верят, в то всевидящее око, от которого не укроется ни один наш поступок.

Измерение это налицо и кадрировано оно так же жестко, как окно в упоминавшемся мной недавно фантазме. Закономерно, однако, что даже те, кто в вере наиболее тверд, все-таки не верят. Во-первых, если бы они верили, это было бы заметно. Будь они такими верующими, мы видели бы последствия это веры, которая покуда остается, строго говоря, невидимой.

Таково истинное измерение атеизма. Атеист – это тот,

кому от фантазма Всемогущего удалось избавиться.

К примеру, господин, которого звали Вольтером и который религию, как-никак, активно высмеивал, за свой деизм, а значит, и за существование Всемогущего, продолжал крепко держаться. Дидро обвинял его в непоследовательности, за что Вольтер, в свою очередь, считал его безумцем. Не исключено, что Дидро и вправду был атеистом: именно об этом, мне кажется, свидетельствуют его писания – то, как он в главных своих диалогах, *Племяннике Рамо* и *Жаке-фаталисте*, обыгрывает происходящее между субъектами. Обойтись при этом без зубоскальства и он, однако, не в силах.

Подлинный атеизм вообще немыслим иначе, как плод суровой аскезы – и не какой-нибудь, а именно психоаналитической. Под атеизмом я имею в виду отрицание измерения, где в основе мира присутствует некая всемогущая инстанция.

Это не значит, что существование атеиста не имеет в истории прецедентов, но природа этих последних совершенно иная. То, что исторический атеист утверждает – это его позиция по отношению к существованию богов как реальных существ. Он этого существования не признает и не отрицает, он лишь заявляет к богам свое отношение. Атеист из трагедии *Атеист* – я имею в виду елизаветинскую трагедию под этим заглавием – атеист этот, будучи борцом и революционером, не отрицает всемогущество Бога, он просто-напросто утверждает, что никакому богу не служит. Именно этот драматизм и придает вопросу об атеизме такой накал.

Я извиняюсь за это маленькое отступление чисто вспомогательного характера.

Вы видите, куда наши сегодняшние рассуждения нас привели – мы выяснили, что стадии 2 и 4 между собою глубоко связаны и что они обрамляют собой принципиальную невозможность соединить на сексуальном уровне желание с наслаждением.

То невозможное равновесие, в котором навязчивый невротик свое желание удерживает, те способы уклонения и охвата, к которым он прибегает, позволили нам в ходе сегодняшнего анализа придти к выводу, что отношения субъек-

та с утраченным объектом самого отвратительного свойства прочно связаны с наиболее возвышенными, идеальными продуктами его творчества.

Цепь эта, однако, покуда не замкнута. Мы уже видим, каким образом желание завязано на структуре объекта, но нам остается выяснить то, что в средней таблице, которую вы себе, надеюсь, скопировали, предстает как область, которой нам предстоит заняться, – то, как фантазм навязчивого невротика, отвечающий структуре его желания, соотносится с определяющей эту структуру тревогой.

19 июня 1963 года.

XXIII
ОБ ОКРУЖНОСТИ, НЕ СВОДИМОЙ К ТОЧКЕ

Об объекте, подлежащем уступке
О желании-защите
О делах и поступке
О заместителях фаллической дыры
Любовь и желание у страдающего неврозом навязчивости

Пытаясь продвинуться в наших рассуждениях дальше, я вернусь сегодня к формированию желания у навязчивого невротика и к связи этого процесса с тревогой. Для этого я вернусь сначала к таблице с двойным входом, матрице, которую я дал вам в этом году на первом занятии и затем дополнил. Вы видите ее здесь на доске – надписи в розовом цвете, обрамленные белым.

Эту таблицу я составил тогда, чтобы отделить друг от друга и распределить по уровням три термина, использованных Фрейдом в заголовке одной из своих статей – *торможение*, *симптом*, *тревогу*. Вокруг этих терминов я сгруппировал ряд моментов, обозначенных в других клетках таблицы. Соотнося каждый из них с теми, что в соответствующих ряду и строке стоят первыми, мы обнаруживаем между ними связи, которые подлежат исследованию и чья функция в изучаемой нами структуре может в результате оказаться подтверждена или опровергнута.

Таблица, однако, не была тогда заполнена до конца и содержала ряд загадочных недоговорок. Так, различие между смятением и тревогой давало, несмотря на мои этимологические экскурсы, пищу для недоумений, справиться с которыми самостоятельно вы были не в силах.

Сегодня я смог бы, пожалуй, дать некоторые уточнения, которые многим из вас наверняка покажутся новыми и даже несколько неожиданными.

1

Рассмотрим для начала термин *смятение* (*emoi*), не имеющий по происхождению с термином *эмоция* ничего общего.

Это вовсе не то *движение вовне* – не тот выход из области, к которой моторная реакция успела адаптироваться, – на

которое недвусмысленно указывает этимология слова *эмоция*, но я и не говорю, что этимологическим данным всегда можно безоговорочно доверять. Слово *emoi*, происходит от *emayer*, восходящего этимологически к древнему германскому корню *mögen*, *magan*. Речь идет о чем-то таком, что ставят вовне. Вне чего? Вне принципа власти. В связи с этим термином, не лишенным отношения с могуществом, имеется, таким образом, загадка.

Форма, которую это слово приняло во французском, подразумевает, на мой взгляд, что-то вроде нахождения вне собственного Я, вне себя. Недаром звучит каламбуром созвучие *emoi* (смятение) и *et moi* (и я) – сближение это очень для нас существенно.

Чтобы перейти прямо к делу, хочу напрямик и без обиняков, не откладывая в долгий ящик, сказать – тем более, что феноменология невроза навязчивости это положение с большой наглядностью иллюстрирует – что смятение, о котором здесь идет речь, и есть не что иное, как пресловутое *а*. Именно так, во всяком случае, обстоит дело в контексте, который мы здесь стараемся исследовать, распутать, выстроить – в контексте отношений между желанием и тревогой.

За этот год я научил вас внимательно прослеживать те двусмысленные обстоятельства, в которых тревога дает, как правило, себя знать. Работа эта позволила уловить и сформулировать то, что нас в феноменологии тревоги так поражает, что мы должны усвоить из нее и что столь многих авторов толкнуло на ложный путь: тревога лишена причины, но не лишена объекта.

Исходя из этого я и пытаюсь как раз понять, какое место в действительности занимает тревога. Ведь она не просто не лишена объекта – она указывает на самый глубокий, последний, можно сказать, объект, она указывает на Вещь. Именно в этом смысле и учил я вас говорить, что тревога никогда не обманывает. Что касается отсутствия причины, в феномене тревоги столь очевидного, то, мне кажется, я внес в это явление некоторую ясность, попробовав показать вам, откуда понятие причины берет начало.

Итак, будучи со смятением связана, тревога, тем не менее, от него не зависит. Она его, напротив, собой обуслов-

ливает. Тревога витает где-то между более ранней, так сказать, формой связи с причиной, тем *в чем дело?*, из которого впоследствии понятие причины и будет выведено, с одной стороны, и смятением, с другой. Причину, которую тревога первоначально, в буквальном смысле, произвела на свет, смятение удержать не способно.

Существует явление, не слишком, правда, удобоваримое, которое эту мысль замечательно хорошо иллюстрирует – именно им воспользовался я, чтобы объяснить позицию страдающего навязчивостью невротика в сцене тревожного противостояния человека-волка главному моменту его повторяющегося сновидения, что предстает ему как монстрация некоей окончательной, последней реальности. Здесь действительно происходит нечто такое, что так никогда и не достигает его сознания и может быть реконструировано лишь построением уходящей в прошлое цепочки ассоциаций. Продукту этому нетрудно дать имя: это движение – смятение, если хотите – в заднем проходе.

Вот та первая форма, в которой заявляет о себе у одержимого вмешательство объекта *a* – именно она лежит в основе всего того, что в дальнейшем вытекает из нее в качестве следствий. Объект *a* дан здесь в тот первичный момент, когда он выполняет определенную функцию, на которой мы и попробуем сейчас остановиться в попытке определить ее масштабы, значение и координаты – как начальные, так и те, что она приобретает впоследствии. Только потому, что таков объект *a* в своем первичном пориздостве, и может он впоследствии функционировать в диалектике желания одержимого.

Смятение скоординировано, следовательно, с моментом появления *a*, тем моментом травматического открытия, когда тревога предстает тем, что она есть, тем, что не обманывает, моментом, когда область Другого дает трещину, где видно становится ее дно. Каково оно, это *a*? Какую роль по отношению к субъекту оно выполняет?

Уловить его в чистом виде мы можем здесь ровно постольку, постольку в этом радикальном, травматическом столкновении субъект ситуации уступает.

Но что на этом уровне, в этот момент, мы, говоря *уступа-*

ет, имеем в виду? Как следует понимать это слово?

Оно не значит, будто субъект поддается или колеблется. Вспомните поведение субъекта в момент, когда он застыл как зачарованный перед окном, через которое видно дерево с сидящими на ветвях волками. В ситуации, чья неподвижность изначально не поддается выражению и чья печать ляжет на субъекте неизгладимым следом, происходит нечто такое, что и дает как раз слову *уступает* его настоящий смысл – делается, в буквальном смысле, *уступка*.

Итак, *а* выступает как объект уступки, и эта сторона в нем настолько существенна, что я приглашаю вас перебрать все нам известные его формы, чтобы посмотреть, действительно ли она, эта уступка, в них налицо. Вы сами увидите, что либидо всегда оказывается фиксировано вокруг одного из моментов, по самой природе своей легко вписывающихся в структуру субъективной уступки.

Уже самый первый момент тревоги, к которому аналитический опыт постепенно приблизился, связав его с травмой рождения, это положение позволяет артикулировать и акцентировать куда лучше, нежели попытка определить его в первом приближении как фрустрацию. Решающий момент тревоги, о которой идет речь, тревоги, вызванной отнятием от груди, связан не столько с тем, что грудь порой отсутствует, когда субъект испытывает в ней потребность, сколько с тем, что уступая грудь, чьим придатком ребенок является, он уступает часть самого себя. Не забывайте того, о чем я вам уже говорил и что – сошлюсь хотя бы на Берглера – отметил не один я: грудь во время кормления является частью ребенка, на мать она, как я образно в свое время выразился, просто налеплена.

Само то, что грудь эту он волен удержать или отпустить, рождает в ребенке момент изначального удивления. Удивление это можно уловить порой в выражении лица новорожденного, по которому пробегает связанная с этим органом – органом, который является чем-то большим, нежели простой объект, который есть не что иное, как сам субъект – тень чего-то такого, во что и уходят как раз корни переживания, именуемого, в ином регистре, одиночеством или заброшенностью.

Что может подтвердить это более убедительно, нежели подчеркнутая мною возможность заменить в данном случае, как и в случаях с другими формами *a*, естественный объект каким-то другим? Естественный объект действительно можно механически заменить здесь любым другим подходящим объектом. Им может оказаться, к примеру, кормилица – фигура, которая вызывала у первого сторонника природного воспитания такие сомнения: вспомните значение, которое придавал Руссо материнскому кормлению. Кроме этого, есть еще кое-что – предмет, который существовал далеко не всегда и которым мы обязаны культурному прогрессу: соска. Появляется возможность, таким образом, откладывать *a* про запас, включать его в товарно-денежный оборот, изолировать его в стерильных пробирках.

То, что я назвал уступкой объекта, оборачивается, таким образом, появлением в ряду производимых человеком продуктов особых, подлежащих уступке, объектов, которые могут стать эквивалентом естественных. Напоминание об этом уместно здесь потому, что позволяет мне прямо связать с этим объектом функцию, на которую я давно настойчиво обращал внимание, функцию так называемого *переходного объекта* – термин, которым, удачно ли, нет ли, окрестил его автор, впервые на его существование обративший внимание, Винникот, и который успел, так или иначе, уже устояться.

Нетрудно видеть, что позволяет этому так называемому переходному объекту выполнять функцию объекта уступки. Обычно это оторванный от чего-то кусочек, чаще всего обрывок пеленки – субъект явно находит в нем определенную поддержку. Не растворяясь в этом объекте, он на него опирается. Опирается в своей изначальной функции – функции субъекта, выпавшего из цепи взаимно противопоставленных означающих. Перед нами здесь вовсе не инвестиция *a* – перед нами его, если угодно, инвеститура.

Оно, это *a*, выступает здесь как заместитель субъекта – заместитель в позиции предшественника. Тот мифический первоначальный субъект, которому предстоит еще в столкновении означающих сформироваться, остается для нас совершенно неуловимым. И это понятно – ведь *a* субъекту

предшествовало и появляясь, уже вторично, по ту сторону собственного исчезновения, он оказывается печатью этой первичной подмены уже отмечен.

Функционирование отделяемого фрагмента как подлежащего уступке объекта служит первоначальным проводником переживания идентичности собственного тела – переживания, которое предшествует в образовании субъекта формированию тела как такового.

Поскольку я уже упоминал о существовании в истории производства явлений, способных нашу мысль подтвердить или опровергнуть, нельзя не упомянуть здесь, хотя бы вскользь, о проблемах, которые ставит перед нами наиболее радикальное из этих явлений, затрагивающее саму суть человека: неизбежное и необратимое уже расширение практики пересадки органов. О масштабах этого процесса не только публике, но и нам, специалистам, остается только догадываться. Стремительное, поражающее воображение развитие этой практики невольно заставляет задуматься над тем, насколько далеко в этом направлении нужно и позволительно заходить.

Поразительные возможности современной науки позволят, по всей вероятности, искусственно поддерживать определенные субъекты в состоянии, о котором уже нельзя будет больше сказать, жизнь это, или смерть. Существуют, как вы знаете, средства, позволяющие поддерживать жизнь в тканях субъекта, функционирование нервной системы которых восстановлено, судя по всему, быть не может – электромагнитные волны мозга на нуле, мидриаз, необратимое отсутствие рефлексов. Что мы совершаем, когда заимствуем у такого субъекта орган? Разве вы не чувствуете, что в реальном возникает нечто такое, что позволяет заново, и в совсем иных терминах, поставить вопрос о том, что составляет существо личности и с чем оно связано. Зная все это, мы поневоле должны будем рано или поздно обратиться к ученым авторитетам с просьбой объяснить, на практике на сей раз, и с юридической обстоятельностью, в какой степени можем мы судить о том, является ли субъект душой или телом.

Я не стану сегодня на этом задерживаться, так как ученые авторитеты уже предложили на этот вопрос ответы настоль-

ко неожиданные, что прежде чем судить о том, насколько совместимы они с привычными для нас представлениями, их следует внимательным образом изучить. Так, отождествление личности с чем-то бессмертным, что именуется душой, решительно нельзя соотнести с учением, чья практическая сторона связана с представлением, платоновской традиции прямо противоположным – представлением, согласно которому воскресению может подлежать только тело.

Но как ни связана область, о которой я говорю, с предприимчивой эксплуатацией исключительных возможностей технического прогресса, писатели давно разглядели ее в своих провидческих грезах. Достаточно вновь напомнить вам о функции *unheimlich*, которую обретают глаза, когда Коппелиус, персонаж Гофмана, использованный Фрейдом для иллюстрации понятия *unheimlich* в одноименной статье, манипулирует ими, пересаживая их от живого вещества автомату. Вырывая глаза из орбит, Коппелиус надеется проникнуть в корень того, что же он, этот капитальный, внушающий максимальную тревогу, потусторонний, по сути, объект желания, который он сам же и формирует – глаз – собой представляет.

Я уже упоминал мимоходом о функции голоса и о том, почему он тоже оказывается – и с развитием техники будет оказываться все чаще – в ряду объектов, которые могут подлежать уступке, объектов, сложенных на полке в виде пластинок или магнитофонных кассет. Нет нужды напоминать здесь о том или ином, будь то новом, или давно известном, эпизоде, чтобы понять какую неожиданную связь это может иметь с определенным типичным для возникновения тревоги контекстом.

Прибавим сюда все то, что сопровождает возникшую ныне – в слоях культуры, которые никак нельзя назвать примитивными – возможность отделить тело от образа, от зеркального образа, от образа тела, и свести его, в форме фотоснимков, а то и просто рисунков, к чему-то такому, что может стать предметом уступки. Я имею в виду переживание отвращения, неприятия, ужаса, которое внезапное появление этого объекта в способной распространяться повсюду и умножаться до бесконечности форме может порой

спровоцировать. Именно этим переживанием обусловлено бывает и нежелание быть снятым на пленку – ведь одному Богу известно, что с этим снимком в дальнейшем может произойти.

Что касается анального объекта, то в функционировании желания он тоже играет роль объекта уступки. Роль эта кажется здесь естественной, но естественность эта связана исключительно с тем, что нам легко объяснить, каким образом объект в ней оказался. Нам еще только предстоит, однако, понять, в каком именно качестве объект на этом уровне выступает.

Не забудем проверить лишний раз в связи с этим справедливость той формулы, которой мы с вами до сих пор руководствовались – формулы, согласно которой объект *а* является не целью желания, а его причиной. Почему? Да потому, что желание в принципе неэффективно; что образует его, лежит у него в основе, не что иное, как функция нехватки; что в качестве эффекта, следствия, выступает оно лишь там, где налицо понятие причины, то есть исключительно на уровне означающей цепочки – цепочки, которую желание и наделяет той связностью, что обеспечивает становление субъекта в качестве метонимии.

Как можем мы охарактеризовать это желание на анальном уровне – на уровне, где его участие в становлении субъекта выступает наглядно? Это желание удержать, спору нет, но чем оно объясняется? Не лежит ли в основе его чисто случайный фактор, требование чистоплотности, которое предъявляется субъекту в нашей культуре? Нет, ибо именно функция удержания задает желанию его фундаментальную структуру.

Желание удержать является частной формой чего-то более общего. Чего именно, нам и предстоит сейчас с вами выяснить.

2

Полярно противоположное тревоге, желание должно, соответственно, занять в нашей прежней таблице место торможения. Вот почему желание может брать на себя функцию того, что именуют защитой.

Проследим шаг за шагом, как это происходит.

Что такое торможение? Чтобы точно определить его функцию, одного аналитического опыта и умения им манипулировать недостаточно. Что представляет собой торможение, как не включение в определенную функцию – в своей статье Фрейд приводит в пример функцию двигательную, но на ее месте может быть любая другая. Включения чего? – Другого желания, не совпадающего с тем, которое эта функция естественным образом удовлетворяет.

Все это хорошо известно и я не претендую здесь на открытие чего-то нового. Мне просто кажется, что артикулируя происходящее таким образом, я ввожу новую формулу, из которой можно вывести следствия, к которым иным образом нам было бы не прийти.

Соотношения, которые наглядно прослеживаются в этой таблице, указывают на торможение как на то место, где, собственно говоря, желание деятельно себя проявляет и где налицо один из корней того, что аналитики зовут *Urverdrängung*. Под личиной торможения кроется, в силу самой структуры, желание – потому и объясняем мы характерные спазмы руки у того или иного писателя тем, что он эротизирует ее функции. С этим, я полагаю, будут согласны все. Напрашивается мысль о возможности соединить в одном месте три термина, два из которых – *торможение* и *желание* – мной уже названы, а третьим должно быть *действие*.

Когда речь идет об определении того, что действие, этот единственный полярный коррелятив тревоги, собой представляет, нам остается лишь поместить его там, где вы видите его в этой матрице – на месте торможения.

Ни для нас, ни для кого иного, действие не является чем-то таким, что происходит исключительно в реальной, так сказать, сфере, каким предстает она в терминах движения, двигательной реакции. Двигательный эффект в области реального всегда может, разумеется, иметь место, но преобразованный таким образом, что в нем заявляет о себе действие совершенно иного поля. И это не просто поле чувственной стимуляции, как считают те, кто не принимает в расчет ничего, кроме рефлексивной дуги, и не поле, тем паче, пресловутой реализации субъекта.

Артикулировать действие в поле реализации субъекта, игнорируя первичную роль, которая принадлежит *а* – это не что иное, как персоналистский миф. Именно *а* создает поле реализации субъекта и сохраняет там в дальнейшем свои привилегии, не позволяя субъекту реализоваться иначе, как в тех объектах, что встают с этим *а* в один ряд, занимают в матрице то же место. А это всегда объекты, подлежащие уступке – именно она имеется в виду под *делами*, в том смысле, который придает этому термину, следуя долгой традиции, нравственное богословие.

Так что же происходит в том другом поле, о котором я говорю и чье вторжение в реальное и представительство в нем делают те или иные движения действием? Как собираемся мы определить действие? Довольно ли сказать, что оно полярно противоположно тревоге и что именно там, в этом месте, она преодолевается?

Формулируя приблизительно положение дел, можно сказать, что действие в полном смысле этого слова имеет место тогда, когда оно является демонстрацией некоего означающего – означающего, в которое вписано то, что можно назвать состоянием желания. Действием та или иная двигательная активность становится лишь постольку, поскольку в ней обнаруживает себя то желание, что призвано, по идее, эту активность затормозить. Лишь постольку, поскольку в основе своей действие, акт, неотделимо от торможения, мы по праву называем актами то, что действием в полном, этическом смысле слова, поступком, ни в коем случае не является – сексуальный акт, например, или акт завещания.

Так что когда речь идет о связи *а* с формированием желания и о том свете, который проливает эта связь на соотношение желания с его природной функцией, пример одержимого неврозом навязчивости становится особенно показательным. Мы осязательно наблюдаем здесь характерную черту, чья загадочность лишь в силу привычки не бросается нам в глаза – желания одержимого всегда заявляют о себе в измерении, которое я только что назвал функцией защиты.

Делая это, я, разумеется, несколько предвосхищал события – почему, в самом деле, заслуживает вмешательство желания в торможение названия защиты? Заслуживает оно

его лишь постольку, поскольку заявивший о себе в торможении эффект желания вторгается в действие, уже вызванное, индуцированное другим желанием.

Все это тоже факты, известные нам из опыта. Но не говоря уже о том, что с подобного рода фактами мы постоянно встречаемся, заметим здесь, чтобы не уходить от нашего одержимого в сторону, что уже здесь налицо позиция анального желания – позиция, для которой характерно желание удержать, сосредоточенное на некоем первоначальном объекте – объекте, которому придается тем самым определенная ценность. Это желание удержать имеет для нас значение лишь внутри либидинальной икономии, то есть в связи с желанием сексуальным.

Именно здесь достоит напомнить о *inter urinas et faeces nascimur* блаженного Августина. Важно, однако – во всяком случае, для нас, аналитиков – не то, что мы рождаемся среди мочи и кала, а то, что именно там, среди мочи и кала, занимаемся мы любовью. Перед этим ссым, после идем срать, или наоборот.

На самом деле перед нами еще одно соотношение, которому в допускаемых анализом феноменологических наблюдениях уделяется недостаточное внимание. Мы уже говорили о нем в связи с незамеченной и едва упомянутой деталью истории человека-волка, его маленьким первичным подарком. Вот почему нужно держать ухо востро и отмечать, когда они обнаруживаются, малейшие признаки связи полового акта с тем, что, не имея на первый взгляд большого значения, становится важным как индикатор тех отношений, о которых я говорил – с привычным образованием какашки, чья последующая эвакуация имеет для субъектов неодинаковое значение, в зависимости от того, склонны ли они к неврозу навязчивости, или к чему-то иному.

3

Вернемся теперь к тому, с чего начали.

Как обстоит дело с тем, к чему я клоню, говоря о том, что за желанием всегда кроется другое желание? И как составить понятие о том, что позволит уяснить смысл этого явления, то есть понять его не просто как факт, а как необходимость?

Мы истолковали это желание как защиту и сказали, что то, от чего оно защищается – это другое желание. Понятно теперь, что приводит нас к этой мысли естественным, так сказать, образом не что иное, как стремление одержимого включаться в процесс возобновления желания, в то движение, посредством которого он стремится заново проследовать его этапами. Порождено это движение тем имплицитным усилием субъективации, которое, поскольку у него есть определенные симптомы, в них уже налицо.

Что означает вписанное в нашу матрицу двойное соседство с помехой и эмоцией? На этот вопрос отвечают термины, помещенные мной в находящейся перед вами таблице.

желание	*не мочь*	причина
не знать		
a		тревога

Переформулированная матрица тревоги

Я только что объяснил вам, почему место торможения заступило желание.

На месте помехи стоит у меня *не мочь*. Слово *помеха* (*empêchement*) восходит к латинскому *impedicare*, *поймать в ловушку*, и термин *торможение* оно ни в коем случае не дублирует. О чем идет речь? О том, что держаться за желание удержать субъекту не позволяют, мешают, что и проявляется как раз у одержимого как принуждение. Он *не может* сдерживаться.

На месте, где в матрице стояло *эмоция*, написано сейчас *не знать*. Термин *эмоция* заимствован из адаптационной психологии катастрофической реакции, области нам совершенно чуждой. Оно тоже фигурирует здесь в смысле, который с его классическим, привычным определением ничего общего не имеет. Под эмоцией подразумевается здесь переживание встречи с пятном, когда субъект *не знает*, как ему реагировать. Именно потому *не знать* и стоит на этом месте в таблице.

Он не знал, что это было так – и как раз поэтому на уровне, где *он не может помешать себе* субъект позволяет вещам идти своим чередом, то есть позволяет означающим

в вечной смене то появляться, то исчезать. Все движения эти направлены однако, и тоже без ведома субъекта, на одно и то же – на обретение первоначального следа. То, чего одержимый, возобновляя – вы понимаете, почему выбрал я это слово – тяжбу желания, ищет, и есть та настоящая причина, которая весь процесс приводит в движение. А поскольку причиной этой является не что иное, как наш последний, пакостный, смехотворный объект, то субъект и остается в поисках объекта, которые он, то откладывая, то следуя обходным путем, то пускаясь по ложному следу, то заходя в тупик, продолжает, кружась на одном месте до бесконечности. Все это, проявляясь на уровне *acting out*, заявляет о себе и в таком фундаментальном симптоме, как сомнение – сомнение, которым ценность любого объекта-заместителя оказывается для субъекта поставлена под подозрение.

Что означает здесь наше *не мочь*? Не мочь помешать. Принуждение оказывает здесь именно сомнение. Его вызывают те подозрительные объекты, из-за которых бесконечно откладывается момент доступа к тому последнему объекту, которым и будет ознаменован конец в полном смысле этого слова, то есть потеря субъекта на том пути, куда смущение, замешательство, в которое приводит его вопрос о причине, его могут вывести. Вопрос этот и есть то самое, что позволяет субъекту вступить в перенос.

Удалось ли нам приблизиться, хотя бы начерно, к проблеме того, каким образом вторгается в этот процесс другое желание, которое играет по отношению к первому роль защиты? Очевидно, что нет. Я лишь наметил путь возвращения к первичному объекту, коррелятом которого и служит тревога – ведь именно здесь обнаруживается причина возникновения и роста тревоги по мере того, как анализ навязчивого невротика близится к своему концу, если, конечно, анализ последовательно этим путем идет.

Вопрос, таким образом, остается открытым – не столько о том, что я, собственно, хотел сказать, так как это, я полагаю, вы успели уже себе уяснить, а о том, что именно представляет собой и откуда идет это вмешательство желания в роли защиты, защиты против первого желания, защиты деятельной и делающей все, чтобы сроки того, что я назвал возвратом к

объекту, как можно далее оттянуть. Каким образом это возможно? Понять это можно лишь при условии, что центральное место мы отведем, как я только что это и сделал, желанию сексуальному, или, как еще говорят, генитальному.

У мужчины желание это, будучи выстроено вокруг опосредующего его объекта, с самого начала содержит у себя в сердцевине тревогу – тревогу, отделяющую желание от наслаждения. На уровне генитального желания функция *а*, которая вообще в икономии желания доминирует и наиболее значима, символизируется знаком (-*ф*), обнаруживая себя как субъективный вычет, остаток, на уровне совокупления. Связка налицо повсюду, но связывает она лишь постольку, поскольку там, где она действительно связывает, в совокуплении, ее нет. Эта расположенная в центре дыра и сообщает как раз привилегированное значение тревоге кастрации – ведь только на этом уровне тревога возникает на том самом месте, где налицо нехватка объекта.

Именно поэтому и вступает у одержимого в игру другое желание. Это другое желание и дает как раз почву для эксцентричной позиции, которую я попытался вам описать, позицию желания одержимого по отношению к генитальному желанию.

Ведь желание одержимого, само наличие его, как и его механизм, вообще мыслимы лишь постольку, поскольку оно восполняет то, что в другом, то есть в его собственном месте, восполнить нельзя. Одержимый, одним словом, как и всякий невротик, уже достиг фаллической стадии, но поскольку получить удовлетворение на этой стадии для него невозможно, как раз и является на свет божий собственный его объект, экскрементальное *а*, *а*-причина желания удержать. Пожелай я действительно сблизить его функцию со всем тем, что было здесь сказано об отношениях между желанием и торможением, я бы его, это *а*, назвал, пожалуй, затычкой.

Именно по отношению к этой функции приобретает объект *а* те значения, которые я назвал бы развернутыми. И именно здесь очевидно становится происхождение того, что я назвал бы аналитическим фантазмом жертвенности.

Я уже говорил и повторял не раз, что жертвенность является фантазмом одержимого. Всем, ясное дело, хотелось бы,

чтобы генитальное соединение было даром – *Я отдаюсь, ты отдаешься, мы отдаемся.* К сожалению, как бы успешен генитальный акт, акт совокупления, ни был, никакого дара в нем нет и следа. Дар налицо только там, где его всегда и обнаруживали, на анальном уровне. Что касается генитального уровня, то на нем возникает, вырисовывается нечто такое, что останавливает субъект на пороге зияния, находящейся в центре дыры, не позволяя ему получить в распоряжение ничего, что могло бы функционировать как объект дара, объект, призванный дать удовлетворение.

Затычку, о которой я только что говорил, можно рассматривать как примитивную разновидность крана, о котором шла речь, когда мы обсуждали функцию причины. Итак, как можно проиллюстрировать функцию объекта-затычки, объекта-краника, и вытекающее из нее желание краник закрыть? Как соотнести элементы нашей матрицы с деталями этой схемы?

Причина. Наблюдения говорят нам о том, что связь с причиной – *а что это такое? а что с этим краником можно сделать?* – и есть тот начальный пункт, в котором ребенок впервые на опыте ощущает, насколько для него, в отличие от любого другого животного, этот фундаментальный тип объекта оказывается притягателен. То, что он *не может* и с этим ничего поделать, да и *не знает*, что с этим поделать можно, достаточно ясно здесь сказывается, как сказывается здесь и сама разница между *не мочь* и *не знать.*

Что такое симптом? Это протечка крана.

Отыгрывание, это когда кран открывают, но открывают, сами того не зная. Происходит что-то такое, в чем причина высвобождается средствами, которые не имеют с этой причиной ничего общего, ибо, как я только что отметил, краник выполняет функцию причины постольку лишь, поскольку все, что может из него вытечь, поступает извне. Только потому, что в сердцевине генитального имеется фаллическая дыра, вступает в игру и обретает смысл происходящее на анальном уровне.

Что касается *acting out*, то это, если воспользоваться метафорой краника, вовсе не момент, когда его открывают, это всего-навсего присутствие или отсутствие струи. *Acting*

out – это струя, то есть то, что имеет место в силу чего-то внешнего, не имеющего отношения к причине, которую только что привели в действие. Наш опыт это ясно показывает. Провоцирует *acting out* не то, что наша интерпретация, например, на анальном плане, оказалась ложной, а то, что интерпретация эта оставляет в своем предмете место чему-то такому, что привходит извне. Иными словами, причину желания не следует тревожить всуе.

Здесь, на почве, где решается судьба желания одержимого, его симптомов и его сублимаций, возникает, следовательно, возможность для прихода в действие чего-то такого, чье значение определяется тем фактом, что оно огибает, очерчивает зияющую в центре дыру фаллического желания. Я имею в виду происходящее на зрительном уровне. Все сказанное нами о функции *a* как объекта аналогичного дара, призванного удержать субъект на краю кастрационной дыры, можно с успехом отнести и к образу. Зеркальный образ выполняет аналогичную функцию, так как находится в положении, коррелятивном фаллической фазе.

Здесь-то как раз и возникает та характерная для любви одержимого навязчивостью субъекта двусмысленность, которая неизменно всеми наблюдателями отмечалась.

Что представляет собой идеализированная любовь, которую находим мы у человека-крысы, человека-волка и во всех сколь-нибудь развернутых наблюдениях случаев невроза навязчивости? Какова разгадка этой тайны, тайны наделения Другого, в данном случае женщины, ролью возвышенного объекта, которая, как всем прекрасно без меня, без вас, и без моих теорий известно, молчаливо подразумевает отрицание ее желания? Сами женщины, во всяком случае, никогда на это счет не обманываются.

Что отличало бы такую любовь от любви эротомана, не будь у одержимого чего-то такого, что он в эту любовь от себя бы вкладывал и что мы, со своей стороны, должны обнаружить? Если дело обстоит именно так, как я говорил, если последний объект, который анализ, исходя из повторений определенного рода, может открыть, это экскремент, не он ли служит для одержимого тем источником, в котором, как бы в гадании, является ему любимый объект?

Попробуйте теперь посветить вашим карманным фонариком в другую сторону и посмотреть, какую позицию занимает в отношении всего этого сам одержимый?

Сомнение явно не играет здесь важной роли, так как субъект предпочитает просто в эту сторону не смотреть. Эта осторожность очень для него характерна. Но, несмотря на это, любовь принимает для него форму возвышенной связи. Дело в том, что любить, он считает, должны в нем определенный образ. Его, этот образ, он и дает другому. Дает, воображая при этом, что у того почва уйдет из под ног, если он этого образа вдруг лишится. Это как раз и лежит в основе того, что я назвал в другом месте альтруистическим измерением мифической любви – любви, основанной на мифической жертвенности.

Поддержание этого образа и есть то, что побуждает одержимого настойчиво поддерживать по отношению к себе ту дистанцию, устранить которую как раз и бывает в анализе труднее всего. Именно поэтому один известный вам аналитик, обладавший богатым опытом, но не имевший в своем распоряжении, по причинам, в которых еще предстоит разобраться, аппарата, который позволил бы его результаты правильно сформулировать, стал жертвой иллюзии, будто именно в дистанции заключается вся суть дела. Но дистанция, о которой здесь идет речь, это та дистанция субъекта по отношению к себе самому, в силу которой все, что он делает, остается для него, пока он не начал анализа и предоставлен своему одиночеству, чем-то таким, что воспринимается им, в итоге, как всего лишь игра – игра, выгоду от которой получает, в конечном счете, лишь тот другой, о котором я говорю, лишь образ его самого.

Эту связь с образом рассматривают обычно как нарциссическое измерение, в котором получают развитие не центральные, симптоматические черты, а черты поведенческие или жизненные. Но главное для него, это добиться, чтобы желанию его ни за что не позволено было, хотя бы поначалу, проявить себя в действии – именно это дает ему почву под ногами. Желание его поддерживает себя старательным перебором любых возможностей сделать происходящее на генитальном и фаллическом уровне невозможным. Говоря,

что одержимый поддерживает свое желание в качестве невозможного, я имею в виду, что он поддерживает свое желание на уровне, где препятствия, которые его встречают, непреодолимы.

Здесь напрашивается образ дыры – я потому и настаивал на нем так давно, что окружность, которую описывает желание одержимого, как раз и принадлежит к тем окружностям, которые никогда не могут стянуться в точку на чисто топологических основаниях, то есть в силу своего положения на поверхности тора. Дело в том, что переходя от орального плана к анальному, от анального к фаллическому, от фаллического к зрительному, от зрительного к голосовому, оно не может совпасть с собой, не пройдя заново через отправной пункт.

Разработанная на этом показательном примере схема применима, посредством соответствующих преобразований, к другим структурам, в частности, к истерической.

Обратившись на следующем занятии к этим структурам, я попытаюсь сформулировать в заключение то, что позволит нам окончательно уяснить место тревоги и ее функцию.

26 июня 1963 года

XXIV
ОТ *а* К ИМЕНАМ-ОТЦА

Зрительная маскировка объекта а
Рождение как вторжение Другого
Разлучать и удерживать
Скорбь, мания, меланхолия

Я заключу сегодня то, что собирался сказать вам в этом году о тревоге.

Я обозначу ее границы и ее функцию, указав тем самым, каковы те позиции, придерживаясь которых можем мы свести в роли аналитика концы с концами.

1

Тревога, писал Фрейд в конце своего творческого пути, представляет собой сигнал. Сигнал, отличный от последствий травматической ситуации и сопряженный с тем, что Фрейд называет *опасностью* – термин, отсылающий у него к понятию, надо сознаться, недостаточно проясненному, *опасности для жизни.*

Оригинальная сторона этого курса заключалась в том, что мне удалось уточнить природу этой опасности. Воспользовавшись указаниями Фрейда и внеся в них необходимые уточнения, я сказал вам, что опасность эта связана с тем, что момент образования объекта *а* носит черты уступки.

Итак, тревога предстает на этом этапе наших изысканий как сигнал – но сигнал чего? Здесь мы вновь несколько иначе, чем Фрейд, определяем момент, когда функция тревоги приводится в действие.

Момент этот предшествует у меня уступке объекта. Необходимость его как-то артикулировать заставляет Фрейда предположить, что ситуация опасности предваряется чем-то более ранним. Наш опыт и не позволяет нам, собственно, поступить иначе.

Как я вам на Семинаре позапрошлого года уже говорил, тревога явно обнаруживает с желанием Другого сложную связь. Уже тогда я в первом приближении дал понять, что свойство желания Другого вызывать тревогу связано с тем,

что я не знаю, в качестве какого объекта *a* для этого желания выступаю.

Сегодня я хотел бы особо отметить следующее. Лишь на четвертом из тех пяти уровней, что характерны для формирования субъекта в его складывающихся вокруг тревоги отношениях с Другим, артикулируется целиком, предстает в образцовой форме и выполняется до конца та специфическая схема, в которой человеческое желание выступает как функция желания Другого.

Тревога, как я говорил, связана с тем, что я не знаю, каким именно объектом *a* для желания Другого являюсь, но справедливо это, в конечном счете, лишь на зрительном уровне. Именно этот уровень имел я в виду в той поучительной притче, где Другой выступает как радикально Другой, в образе самки богомола с ее прожорливым желанием – желанием, с которым у меня нет абсолютно ничего общего. Если, напротив, Другой выступает в облике человека, то нас связывает с ним отношение подобия, в результате чего остаток, *a*, тот объект, который мы, *не зная, какой объект мы собой представляем*, имеем в виду, остается в принципе неузнаваем для нас. Место, которое занимает *a* в икономии моего, человеческого, желания, остается мною не признано – вот почему четвертый уровень, уровень зрительного желания, уровень, где структура желания наиболее полно предстает в целиком отчужденной форме, является, как это ни парадоксально, тем самым, где объект *a* наилучшим образом замаскирован и где субъект поэтому защищен от тревоги надежнее всего.

Именно поэтому следы *a* в момент его формирования нам приходится искать в другом месте.

Хотя реальность Другого по сути своей всегда налицо целиком и потому, будучи наделена субъективным присутствием, всегда может обнаружить ту или иную из своих граней, доступ к ней на различных этапах развития не одинаков.

На первом уровне, реальность Другого представлена потребностью – об этом ясно говорит свойственная грудному ребенку беспомощность. И лишь на втором уровне, где вмешивается требование Другого, ощутимо становит-

ся нечто такое, что позволяет обрисовать сложную картину формирования *а* по отношению к функции Другого как места означающей цепочки.

Но я не хочу сегодня покидать первый уровень, уровень орального, не указав на то, что тревога заявляет о себе уже там, прежде, чем требование Другого окажется артикулировано. Интересно, что это обнаружение тревоги совпадает с самим появлением того, кому суждено стать субъектом, на свет. Обнаружением этим является крик.

Я уже давно описывал функцию крика как не первоначальную, а, напротив, конечную форму связи с тем, что неизбежно предстает нам как самое сердце Другого, Другого, который в определенный момент принимает свой окончательный облик – облик нашего ближнего. Я попрошу вас обратить внимание на тот факт, что исходный момент того первого следствия уступки, которое является следствием тревоги, парадоксально совпадает здесь с тем, что в конце станет чем-то вроде его точки прибытия. Разница в том, что с криком, который вырывается у новорожденного, тот ничего не может поделать. Он уступил здесь нечто такое, с чем его ничего уже более не соединяет.

Первый ли я, кто на эту первоначальную тревогу обратил внимание? Отнюдь нет – это делали буквально все авторы. Все они обращали внимание на драматические отношения организма – в данном случае, человеческого организма – с миром, где ему предстоит жить. Какие именно из многочисленных, путаных и, само собой разумеется, противоречивых мнений на этот счет можем мы принять всерьез? Можем ли мы, к примеру, поверить Ференци, уверяющему нас в том, что и в онтогенезе мы возникли из некой первичной водной среды, которая сродни морской? Не связана ли амниотическая жидкость, в свою очередь, с этой водной средой?

Для живого существа, обитающего в такой среде, обмен между внешним и внутренним происходит посредством жабер, в то время как у человека ни на одном этапе развития эмбриона жабры не функционируют. Тем не менее все психоаналитические спекуляции, как бы невнятны и путаны они зачастую ни были, не лишены смысла и даже могут

рассматриваться как своего рода путеводная нить. То двигаясь скачками, то топчась на месте, они проливают порой на вещи неожиданный свет. И поскольку филогенез тоже, случается, дает для них повод, я попрошу вас обратить внимание на следующее.

Согласно базовой схеме обмена веществ между организмом и его средой, организм имеет границы с рядом распределенных по ним обменных пунктов. Эта перегородка обеспечивает взаимное проникновение между внешней и внутренней средами, имеющими, таким образом, общие составляющие. Задержитесь здесь, чтобы представить себе эту невероятную картину – скачок, посредством которого живые существа покинули свою первоначальную среду и стали обитателями иной, воздушной стихии.

Для этого им понадобился орган, появление которого в процессе развития носит – загляните в работы по эмбриологии – на удивление произвольный характер. Он буквально вторгается внутрь организма и мобилизует адаптационные возможности нервной системы, которая со временем настраивает этот механизм так, что он начинает работать как хороший насос. Скачок, обусловленный возникновением этого органа, представляет собой, по сути дела, явление не менее странное, чем тот факт, что люди научились в определенный исторический момент пользоваться легкими из стали или полетели в место, именуемое не слишком удачно космосом, окруженные чем-то таким, что мало отличается по своей жизненной функции от естественного запаса воздуха.

Тревога была выделена Фрейдом как сигнал чего-то такого, чьей характерной чертой является радикальное вторжение в жизнь человеческого существа с выходом его в атмосферу чего-то настолько Другого, чуждого, что оказавшись в мире, где ему предстоит дышать, он поначалу, наоборот, задыхается, испытывает удушье. В этом, и только в этом, и заключается пресловутая травма рождения – не в разлуке с матерью, а во вбирании в себя принципиально иной стихии.

Связь этого момента с разлукой, связанной с отнятием от груди, не лежит, разумеется, на поверхности. Я попрошу, вас, однако, свести воедино данные вашего аналитического

опыта и ваших наблюдений над детьми и реконструировать, опираясь на них, все то, что может понадобиться для осознания того смысла, который отнятие от груди может в себе нести. Сразу скажем, что отношения в момент отнятия от груди не просты, что здесь налицо связь пересекающихся явлений, связанных, скорее, одновременностью.

Неверно, прежде всего, уже то, что ребенка от груди отнимают. Он ее отпускает сам. Он отделяется от нее, для него это игра. Сделав первый опыт, субъективированный характер которого наглядно проявляется уже в появлении на его лице предвосхищающей удивление мимики, он начинает забавляться, то отпуская грудь, то беря ее вновь. Не проявляй он уже на этом этапе какой-то активности, которую можно было бы истолковать в смысле желания отделения от груди, как можно было бы объяснить те очень ранние факты отказа от груди, те первичные формы анорексии, которым опыт наш учит нас немедленно искать соответствия на уровне большого Другого?

Чтобы выступать полноценно в той роли, которую приписывает ему классическая теория, в роли объекта, на котором разыгрывается процесс разрыва с Другим, объекту, который мы именуем грудью, не хватает с ним, с этим Другим, полноценной связи. Вот почему я особо подчеркнул, что связь эта ближе к той, что характерна для новорожденного. Грудь не принадлежит Другому, не является связью, которую, отделяясь от Другого, необходимо порвать – она, в лучшем случае, лишь первый признак подобной связи. Вот почему сопровождается он тревогой и вот почему является, в то же время, первичной формой переходного объекта в смысле Винникота – формой, которая позволит ему выполнять в дальнейшем соответствующую функцию. Однако на этом уровне, уровне *а*, он не единственный объект, который на эту функцию претендует.

Немного позднее, в момент, когда Другой начнет функционировать сам, сформулировав требование, взять на себя эту функцию предстоит, уже в более явной форме, иному объекту – объекту анальному. Вот почему следует лишний раз отдать должное мудрости тех издревле наблюдавших за рождением на свет человеческого существа повитух,

что так удивлялись появлению на свет знаменательного и единственного в своем роде объекта, именуемого первородным калом.

Поскольку в прошлый раз я на этом подробно уже останавливался, я не стану снова подробно рассматривать ту картину, гораздо более характерную, функционирования объекта *a*, которую позволяет создать анальный объект, поскольку именно он оказывается первой опорой субъективации в отношениях с Другим – тем самым, в чем, или посредством чего, субъект впервые должен заявить о себе перед лицом требования Другого как полноправный субъект, субъект в полном смысле этого слова.

То, что на этом уровне предстоит отдать – это он сам, ибо то, что он есть, он сам, не может войти в мир иначе, нежели как несводимый к наложенному на него символическому отпечатку излишек. Именно к этому объекту как объекту-причине и оказывается привязано то, чему предстоит с самого начала идентифицировать человеческое желание как желание удержать. Первая форма в эволюции человеческого желания оказывается тем самым сродни торможению. Таким образом, являясь впервые, на втором уровне, в сформированном виде, желание противодействует тому самому акту, в котором оригинальность желания как такового дала на предыдущей стадии о себе знать. Вторая форма желания, та, что бросает свет на функцию причины, которой наделяется у меня объект, как раз и заявляет о себе тем, что обращается против функции ей предшествующей, той самой, что вводит объект *a* как таковой в обращение.

Ясно ведь, в самом деле, что первичная форма желания, та, которую мы охарактеризовали как желание расставания, к объекту уже привязана. Объект в нем, как я только что вам напомнил, уже налицо. Он уже дан, уже произведен, уже явился на свет как продукт тревоги. И лишь затем, как нечто заранее данное, поступает он в распоряжение функции, обусловленной введением требования.

Речь идет не об объекте в себе и не о субъекте, который постепенно якобы выделяется из некоего смутного и неопределенного первичного целого. Речь уже с первых шагов, с самого начала, идет об объекте, способном, по природе

своей, стать объектом уступки, объектом, с самого начала оставленным, брошенным, и о субъекте, особенности формирования которого обрекают его на то, что он навсегда, до самого конца, остается в роли того, что им, этим *a*, представлено.

Вот уровень, которого нам предстоит держаться, если мы действительно собираемся отдать себе отчет в той технической функции, которую мы в анализе выполняем.

2

Теперь важно заметить, что позиции тревоги, с одной стороны, и того, что выступает в качестве *a*, с другой, могут меняться местами. Мы имеем, с одной стороны, ту точку, где впервые вступает в игру желание, сформированное соединением в одних скобках *a* и большого *D*, означающего требование (Demande), и тревогу, с другой.

Итак, вот она, тревога.

Мы давно знаем, что она замаскирована, отодвинута на задний план так называемым амбивалентным отношением одержимого – отношением, которое мы упрощаем, редуцируем, а то и вовсе игнорируем, сводя его к агрессивности, хотя на самом деле речь идет о совершенно другом. Объект, которым субъект, удерживая его, дорожит, поскольку тот придает ему ценность, является одновременно всего лишь отбросом, излишком. Эти две стороны одного и того же объекта обусловливают и поведение самого субъекта, одновременно вынужденное и окрашенное сомнением.

Колеблясь между этими двумя противоположными полюсами, субъект проходит в какой-то момент через ту нулевую точку, где он отдан, в конечном *счете*, на милость другого, а именно, здесь, маленького другого в дуальном смысле.

Вот почему на втором занятии я напомнил вам, что структура отношений между желанием субъекта и желанием Другого в том виде, в котором они предстают у меня, противоположна структуре, в которую укладывает их, в едва ли не алгебраической форме, гегелевская диалектика.

Я сказал уже, что точка, где эти два желания частично друг на друга накладываются, как раз и дает повод опреде-

лить эти отношения как отношения агрессии. Я уже выводил для вас формулу, описывающую эти отношения в точке, где *момент* этого желания – в физическом смысле этого слова – мы приравниваем к нулю. Это формула *d(a)*: 0 > *d*(0). Читать ее следует: *желание а, то есть желание, предопределенное первым объектом, характер которого делает возможным его уступку.* Можно сказать, что в точке этой субъект на деле сталкивается с тем, что предстает в гегелевской феноменологии как невозможность сосуществования двух самосознаний и что на самом деле есть всего-навсего невозможность для субъекта найти, на уровне желания, собственную причину в самом себе.

Вы заметили, должно быть, что уже здесь намечается то, что координирует функцию причины с понятием *causa sui*, фантазмом, где мысль тешит себя существованием – где-то там, по ту сторону – некоего бытия, которому собственная причина не чужда и которому человеческий спекулятивный разум в каком-то смысле вынужден прибегать в поисках компенсации, в беззаконной попытке избежать человеческого удела, состоящего в том, что человеческое существо получает свое желание уже готовым и несущим в себе неведомую ему опасность.

Этим и объясняется величественный, торжественный тон включенных некогда в сердце Священного Писания и оставшихся в нем, несмотря на кощунственный их оттенок, слов Экклезиаста רוח, *все суета.* То, что мы передаем словом *суета* звучит по-еврейски *руах* – три еврейские буквы этого корня я здесь для вас написал, רוח – и означает ветер, дыхание, или, если хотите, облако, нечто эфемерное, тающее на глазах и дающее повод к двусмысленности, связанной с тем омерзительным, что дыхание может в себе нести – двусмысленности, вспомнить о которой здесь будет куда уместнее, нежели об измышлениях Джонса относительно зачатия Девы Марии через ухо. Именно эта тема, тема суеты, задает тон тому гегелевскому определению изначальной и плодотворной борьбы, из которого берет начало его *Феноменология духа*, той борьбы за престиж, что оборачивается, по сути дела, борьбой за ничто.

Построить работу со страдающим неврозом навязчи-

вости вокруг агрессивности означает положить в основу ее – совершенно явным, неприкрытым образом, хотя, может быть, и невольно – подчинение желания субъекта желанию аналитика. Это последнее, будучи, как и всякое другое желание, внутренне связано с *а*, артикулировано в другом месте. Оно идентифицируется в данном случае с идеалом позиции, которую аналитику удалось, как он полагает, по отношению к реальности занять, идеалу, перед которым желанию пациента остается лишь преклониться.

То *а*, о котором у нас идет речь и которое фигурирует у нас как причина желания, ни с этой суетой, ни с этим отбросом, отождествить нельзя. Если оно действительно выполняет ту роль, о которой я говорю, если это действительно объект, представляющий собою нередуцируемый остаток осуществляющейся в месте Другого символизации, от этого Другого он, тем не менее, остается зависим, ибо без него он вообще не мог бы образоваться.

Говоря, что *а* представляет собой единственный остаток существования, выступающего как ценность, мы не имеем в виду, вопреки прозвучавшему однажды мнению, существование как нечто искусственное. Ведь сама искусственность эта коренится в пресловутой, мифической по своей природе, ноэтической необходимости, которая и оказывается в этом случае по отношению к ней чем-то первичным. Но в нашем остатке, в *а*, ни малейшей искусственности нет и в помине, ибо в нем коренится желание, которому в той или иной мере суждено в существовании одержать верх.

Большая или меньшая жесткость редукции – то, иными словами, что делает желание в каждом случае нередуцируемым и в чем каждый может точно узнать тот уровень, на который он в месте Другого поднялся, – вот что в этом диалоге окончательно выясняется. Разыгрывается диалог на сцене, с которой желание, взойдя на нее, должно сойти, пройдя испытание тем, что оно, в финале трагедии, а чаще комедии, там оставит.

Хотя желание и выступает в той или иной роли, важна, как наш опыт и внутренняя уверенность нам подсказывают, не сама роль, а то, что там, по ту ее сторону, остается. Остается, разумеется, в состоянии рискованном и опасном,

поскольку каждому прекрасно известно, что он всегда остается объектом, подлежащим уступке, объектом обмена, и объект этот как раз и есть то начало, которое заставляет меня желать, делает меня тем, кто желает нехватки – нехватки, которая представляет собой не нехватку субъекта, а ущербность расположенного на уровне Другого желания.

Вот почему, какую бы функцию *а* ни выполняло, она всегда будет соотнесена с тем расположенным в центре провалом, зиянием, что отделяет желание от места наслаждения и вынуждает нас волей-неволей смириться с тем, что наслаждение, по природе своей, желанию не обещано. Желанию остается идти ему навстречу и, чтобы встретить его, оно должно не просто понять, но преодолеть тот фантазм, который само это желание, поддерживает и формирует.

Именно этот тупик, открыв его, назвали мы тревогой кастрации. Но почему не желанием кастрации? Ведь с центральной нехваткой, разъединяющей желание с наслаждением, связано, в свою очередь, желание – желание, чья угроза для каждого обусловлена лишь признанием его в желании Другого. В предельном случае Другой, кем бы он ни был, оказывается, похоже, в фантазме кастрирующим персонажем, агентом кастрации.

Позиции мужчины и женщины здесь, естественно, рознятся. Позиция женщины более удобна, так как для нее дело уже сделано. Поэтому и с желанием Другого у нее устанавливается особая связь. Тонкое замечание Кьеркегора о более острой форме, которую принимает у женщин тревога, кажется мне глубоко справедливым. Каким образом было бы это возможно, если бы на центральном, фаллическом уровне, именно отношения с желанием Другого не были ее, этой тревоги, единственным источником?

Желание, будучи в сердцевине своей желанием желания, то есть искушением, ведет нас туда, где тревога эта выступает в своей изначальной функции. Тревога, на уровне кастрации, репрезентирует Другого тогда, когда в результате ослабления инструмента объект обнаруживает свое отсутствие.

Нужно ли напоминать о том, что выступает в аналитической традиции только что сказанному подтверждением? Кто дает нам первый пример навлеченной на себя, приня-

той, желанной кастрации – кто, как не Эдип?

Эдип не выступает поначалу в роли отца. Именно это я давно хотел сказать, иронически замечая, что о наличии у него эдипова комплекса Эдип ни за что не узнал бы. Эдип – это человек, который хочет действительно, и мифически тоже, перейти на четвертый уровень, уровень, характерным путем к которому является нарушение запрета на сопряжение *a*, которое выступает здесь как (-ϕ), и тревоги, – человек, который хочет увидеть то, что лежит по ту сторону удовлетворения, пусть успешного, его желания. Грех Эдипа – это *cupido sciendi*: он хочет знать и расплачивается за это описанным мною ужасным зрелищем, зрелищем собственных глаз, валяющихся на земле.

Значит ли это, что это и есть структура четвертого уровня, что этот кровавый ритуал ослепления всегда должен в нем, так или иначе, иметь место? Отнюдь – ведь глаза у них не для того, чтобы видеть, и вырывать их поэтому вовсе не обязательно.

Вот почему человеческая драма представляет собой не комедию, а трагедию.

Достаточно плениться зеркальным образом, *i(a)*, чтобы тревога оказалась неузнана, отодвинута на задний план. В лучшем случае она отразится в глазах Другого – но в них субъект не нуждается: ведь у него есть зеркало.

3

Посмотрим теперь, как встраивается четвертый уровень в нашу таблицу торможения-симптома-тревоги.

Таблица примет следующий вид.

I	желание не видеть	бессилие	понятие тревоги
S	неузнавание	всесилие	самоубийство
A	идеал	скорбь	тревога

Зрительный уровень

Место торможения заступило желание не видеть. Учитывая место, которое эти явления занимают, аргументация здесь излишня: соответствие соблюдено полностью.

Неузнавание, являясь на уровне *не знать* моментом структуры, занимает вторую строчку. В третьей, на месте смятения, стоит идеал. Это Идеал собственного я, то есть то, что удобнее всего из Другого, как говорится, интроецировать. Хотя термин *интроекция* введен мной здесь не случайно, я посоветовал бы вам пользоваться им с осторожностью: сама двусмысленность в отношениях между проекцией и интроекцией свидетельствует о том, что если мы хотим говорить об интроекции в полном смысле этого слова, нам придется для этого ввести еще один уровень.

В сердцевине четвертого уровня, на центральном месте симптома в том виде, в котором он у одержимого выступает, я давно уже поместил фантазм всесилия, всемогущества. Фантазм этот является коррелятивом бессилия, призванного поддержать желание не видеть.

На месте *acing out* оказывается здесь функция скорби. Чтобы понять, почему, мы попробуем чуть далее вспомнить то, что говорил я о месте скорби в фундаментальной структуре образования желания на нашем прошлогоднем курсе.

На уровне отыгрывания стоит фантазм самоубийства, характер и аутентичность которого должны быть самым серьезным образом поставлены под вопрос внутри нравственной казуистики.

Внизу справа – по-прежнему тревога, только здесь она выступает в замаскированном виде.

На уровне смущения стоит то, что мы по праву можем назвать понятием тревоги – я не знаю, известно ли вам, как отважно воспользовался этим термином Кьеркегор. Что это означает? Это означает, что сойтись с реальным вплотную позволяет либо функция гегелевского понятия, обеспечивающая символическую над ним власть, либо функция тревоги, этого конечного восприятия реальности как таковой, – и что между ними приходится выбирать.

Понятие тревоги возникает как таковое исключительно на пределе и все говорит о том, что в размышлениях о нем точки опоры долго искать не надо. Но для нас важно сейчас одно – найти новое подтверждение истинам, обнаруженным нами ранее.

А теперь возвращаюсь, как обещал, к функции скорби.

Подытоживая свои размышления о тревоге, Фрейд спрашивает себя: чем то, что он говорил о связи тревоги с утратой объекта, отличается от скорби? Эта маленькая приписка, приложение своего рода, к *Торможению, симптому, тревоге* красноречиво говорит о том, насколько трудно Фрейду дать объяснению тому факту, что эти две отсылающие к одному и тому же явлению функции проявляют себя настолько по-разному.

Мне кажется, здесь уместно напомнить вам итоги наших размышлений о Гамлете как важнейшем драматическом персонаже, знаменующем собой возникновение, на заре этики нового времени, иного, нового отношения субъекта к своему желанию.

Я уже указывал на то, что именно отсутствие всяких признаков скорби со стороны матери рассеяло, истребило, с корнем вырвало в нем все порывы желания – причем случилось это с героем, представленным автором в таких чертах, что Сальвадор де Мадарьяга, к примеру, видит в нем образцовое воплощение ренессансного человека. Надо ли напоминать, что Гамлет – человек, исполненный, по меньшей мере, хладнокровной решимости и не привыкший отступать перед препятствиями. Единственное, на что этот герой не способен, это совершить поступок, к которому он призван – чтобы сделать это, ему не хватает желания.

Желания нет потому, что оказался сокрушен его Идеал. Недаром вспоминает он о почитании, которым старый Гамлет, его отец, верховный властелин Дании, окружал, к нашему изумлению, любимое существо, как преклонялся он, стлался перед ней, присягая в любовной верности. Не внушает ли поклонение, о котором мы из слов Гамлета узнаем, некоторые подозрения? Не признак ли это чувства слишком сильного, слишком экзальтированного, чтобы не быть сродни любви единственной в своем роде, мифической, любви в куртуазном стиле? Но, возникая вне рамок культурного и ритуального контекста, где адресуется она, конечно же, не Даме, а кому-то другому, куртуазная любовь является, напротив, признаком несостоятельности, играет роль алиби, которое субъект, не сумевший преодолеть ждавших его на пути к подлинной любви трудностей, пытается себе обеспечить.

Завышенной ценности, которую, судя по воспоминаниям Гамлета, получает Гертруда-супруга в глазах отца и отвечает, очевидно, чисто животное бегство его от Гертрудыматери. Когда Идеал становится пререкаемым, когда он рушится, результат нетрудно констатировать – сила желания оставляет Гамлета. И вернет ему эту силу, как я вам уже показывал, лишь зрелище чужой, подлинной скорби, с которой его собственная и вступает в соперничество – скорби Лаэрта о сестре Офелии, предмете любви принца, с которым разлучил его недостаток желания.

Разве не открывает нам эта пьеса глаза, разве не дает она в руки ключ, позволяющий нам лучше Фрейда, но вполне в его духе, сформулировать, наконец, что же такое скорбь?

Фрейд замечает, что перед субъектом скорби стоит задача изжить, пережив ее заново, свою утрату – утрату отнятого у него судьбой объекта любви. Вот почему он настойчиво обращает наше внимание на детальность, тщательность, с которой вспоминает субъект все то, что его с любимым предметом связывало.

Что касается нас, то работа скорби предстает для нас в том же и, одновременно, полностью противоположном свете. В поддержке и сохранении малейших деталей утраченного она нуждается исключительно для того, чтобы восстановить связь с подлинным, завуалированным объектом своих отношений, с объектом *а*. Впоследствии на место его можно будет подставить следующий предмет любви – предмет, который будет значить не больше, чем тот, что это место занимал до него. Как говорил мне с юмором один из коллег по поводу сюжета фильма *Хиросима, любовь моя*, история эта наглядно показывает, что любой незаменимый немец может легко найти себе полноценную замену в первом встречном японце.

Проблема скорби состоит в том, чтобы поддержать, на зрительном уровне, то, что связывает субъект не с объектом *а*, а с *i(a)*, с тем образом, которым его любовь нарциссически выстроена, поскольку в нем имплицитно присутствует то измерение идеализации, о котором я только что говорил. Именно этим отличается то, что происходит в скорби, от происходящего в меланхолии или мании.

Не увидев разницу между объектом *a* и *i(a)*, мы не поймем и радикального различия между скорбью и меланхолией – различия, которое Фрейд настойчиво проводит как в примечании, которое я недавно цитировал, так и в известной работе о *Скорби и меланхолии*. Нужно ли мне зачитывать вам соответствующий отрывок, чтобы его вам напомнить? Приняв гипотезу об обращении якобы объектного либидо на собственное я субъекта, Фрейд недвусмысленно признает, что в меланхолии этот процесс явно не достигает цели, так как объект направление процесса изменить не дает. Объект в меланхолии берет верх.

Характерный для скорби механизм возвращения либидо в случае меланхолии не работает, и весь процесс, вся диалектика, выстраивается в ней по-иному. С объектом, говорит Фрейд – вопрос, почему именно в данном случае, я оставляю сейчас в стороне, – с объектом, говорит он, субъекту надлежит объясниться. Однако сам факт, что меланхолик имеет дело с объектом *a* и что на четвертом уровне объект этот укрыт за нарциссическим образом *i(a)*, оставаясь по сути своей нераспознан, вынуждает его пройти, так сказать, сквозь собственный образ, разрушить его, чтобы там, внутри, достичь, наконец, того объекта, объекта *a*, который выходит за его пределы, справиться с которым он бессилен и чья пропажа толкнет его на самоубийство с теми чертами механичности, автоматизма и глубокого отчуждения, которые обычно самоубийствам меланхоликов свойственны. Сама обстановка, в которой они совершаются, показательна. Не случайно меланхолики зачастую кончают с собой у окна, а то и просто выбрасываются в него, воспроизводя тем самым структуру собственного фантазма.

Уловить отличие черт цикла маниакально-меланхолического от черт цикла желания и настроенной на идеал скорби можно лишь обратив внимание на функциональное различие между соотношением *a* и *i(a)* в скорби, с одной стороны, и радикальной, укорененной в субъекте глубже всех прочих связей, но столь же мало распознанной и отчужденной от него ориентацией на *a* в нарциссизме, с другой.

Сразу скажем, что в случае мании дело не в том, что *a* оказывается неузнано, а в том, что оно не функционирует

вовсе. Субъект, не нагруженный этим балластом, теряет порой свободу и отдается на произвол бесконечной, игровой по свое природе цепочки означающих как она есть.

О многом я, разумеется, умолчал, но сказанного достаточно, чтобы на уровне, которого мы достигли в этом году, подвести некоторые итоги.

4

На четвертом уровне желание носит наиболее фантазматический, наиболее отчужденный характер. Наметив структуру пятого уровня и показав достаточно ясно, что *a*, откровенно отчужденное от субъекта, оказывается здесь перекроено и выступает как опора желания Другого, который, на этот раз, себя называет, я хотел, в частности, как вы заметили, показать, почему именно этим уровнем я в этом году закончу.

Вся диалектика происходящего на пятом уровне гораздо теснее, чем на любом предыдущем, сплетена с тем, что я только что назвал интроекцией – интроекцией, которая предполагает измерение слуха, предполагающее, в свою очередь, отцовскую функцию.

Если семинар наш продолжится в будущем году своим чередом, то не просто Имя, но Имена-Отца станут его главной темой. И не случайно.

В мифе, созданном Фрейдом, отец выступает как мифическая фигура, чье желание подчиняет себе, сокрушает, подавляет собой все прочие. Однако разве не противоречит это тому очевидному по опыту факту, что именно благодаря фигуре отца происходит нечто совершенно иное – происходит нормализация желания на путях закона.

Но все ли это? Разве сама необходимость – невзирая на все то, что в нашем опыте хорошо прослеживается, вплоть до фактов несостоятельности отцовской функции, над которыми мы не раз размышляли – этот миф поддерживать, не дает нам понять еще кое-что? Разве не дает он понять, что отец, являя свое желание, прекрасно знает, на какое *a* оно ориентировано?

Вопреки тому, что провозглашает религиозный миф, отец – это не *causa sui*, это субъект, который пошел в осу-

ществлении своего желания достаточно далеко, чтобы воссоединить его со своей причиной, какая бы она ни была – с тем, что в функции *а* остается неустранимо. Именно это позволяет нам смело исходить в наших исследованиях из того, что не существует человеческого субъекта, которому не приходилось бы выступать в качестве конечного объекта с конечными желаниями – желаниями, которые представляются бесконечными лишь постольку, поскольку, удаляясь все дальше от центра и друг от друга, они уводят субъект все дальше от возможности действительно реализовать себя.

Неузнавание *а* оставляет, впрочем, двери открытыми. Это было нам известно всегда – чтобы убедиться в этом, никакого психоанализа не требуется, что я и показал в свое время на материале платонова *Пира*. Единственный путь, на котором желание сможет отдать в наше распоряжение то, в чем предстоит нам узнать, в конечном итоге, самих себя, тот объект *а*, что в пределе, никогда, разумеется, недостижимом, оборачивается, в самом радикальном смысле, собственным нашим существованием, открывается лишь тогда, когда мы помещаем *а* как таковое в поле Другого. Он не просто должен быть там помещен – для всех и для каждого из нас он фактически уже там. Только поэтому перенос для нас и возможен.

Аналитическая интерпретация всегда высвечивает большую или меньшую зависимость желаний друг от друга, но лицом к лицу с тревогой она никогда не сталкивается. Преодоление тревоги возможно лишь тогда, когда Другой назвал себя. Нет иной любви, кроме любви к имени – это на собственном опыте испытал каждый. Момент, когда впервые произносится имя любимого или любимой, является, как известно, в любви важнейшим порогом.

Но это лишь след – след чего-то такого, что ведет от существования *а* к переходу в его историю. То, что делает психоанализ авантюрой, единственной в своем роде, – это поиск в поле Другого сокрытой там *агалмы*.

Я уже несколько раз спрашивал у вас, каким, по вашему мнению, подобает быть желанию аналитика, чтобы аналитическая работа могла продолжаться там, где мы пробуем за порог тревоги перешагнуть.

Ясно, так или иначе, что аналитиком является тот, кто хоть немного, каким-то образом, с какого-то края коснулся своим желанием этого неустранимого *а* – коснулся достаточно, чтобы дать вопросу о том, что тревога собой представляет, реальное поручительство.

3 июля 1963 года

ПРИМЕЧАНИЕ

В подготовке настоящего текста к публикации мы пользовались находившимся в нашем распоряжении уникальным машинописным экземпляром. Лакан посылал своей дочери, Жюдит, находившейся тогда в отъезде, машинописный экземпляр каждой лекции, внося своей рукой примечания и исправления, которые и были в работе над этим изданием учтены.

*

В первой главе есть место, где Лакан обращается с вопросом к аудитории, желая убедиться, что слово *smagare* в итальянском действительно существует. Из данного ему ответа он заключает, что на этот счет есть сомнение. На адресованном дочери машинописном экземпляре, датированном шестнадцатым ноября 1962 года, то есть двумя днями спустя, имеется на полях следующее уточнение: «Здесь я обращаюсь с вопросом к Пьера, чей ответ заставил меня усомниться, но позже я навел справки: *smagare* действительно имеет тот смысл, в котором понимают его Б. и В.»

Другая заметка на полях позволяет идентифицировать автора работы, появления которой Лакан ожидал: «Я имел в виду работу Грина о *Первобытном мышлении*». Рецензия Грина на эту работу Леви-Стросса была вскоре опубликована в журнале *Critique*.

Ж.-А. М.

Жак Лакан. Семинар, кн. X (1962-1963). ТРЕВОГА

Содержание:

СТРУКТУРА ТРЕВОГИ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК

I. Тревога в сети означающих ...7

Желание Другого. К орографии тревоги. Серьезность, забота, ожидание. Торможение, затруднение, смущение. Торможение, эмоция, волнение

II. Тревога, признак желания ...23

Идеал простоты. Гегель и Лакан. Пять формул желаниия Другого. Деление и его остаток. Я желаю тебя, даже если сам этого не знаю

III. От Космоса к *Unheimlichkeit* ...39

Зеркальный образ и означающее. От мира к миру как сцене. Гамлет и сцена на сцене. Безмятежность Леви-Стросса. Неважно что в пробеле фаллоса

IV. По ту сторону тревоги, внушаемой кастрацией ...56

Разрозненный объект. Гофмановский объект. Подставной объект. Объект-требование. Объект, нехватки в котором нет

V. То, что обманывает ...71

Павлов, Гольдштейн и требование Другого. Джоунс и наслаждение Другого. Следы субъекта. Купюры влечения. Паскаль и переживание пустоты

VI. То, что не обманывает ...88

Бесценное наблюдение Ференци. Тревога заключена в рамки. Тревога не лишена объекта. От тревоги к действию. Требования Бога евреев

ПЕРЕСМОТР СТАТУСА ОБЪЕКТА

VII. Не без него ...107

Физика. Лингвистика. Социология. Физиология. Топология

VIII. Причина желания ...125

Объект по ту сторону желания. Садистская идентификация с объектом-фетишем. Мазохистская идентификация с обычным объектом. Реальная любовь, присутствующая в переносе. Падение в случае женской гомосексуальности

IX. Отыгрывание и *acting out* ...142

Дать выронить себя и взойти на сцену

Эгоизация. Родовой вырез. Наслаждение симптомом. Уловки бессознательного. Страсть Фрейда

X. О нехватке, которая не сводится к означающему ...163

Дифференциальная топология дыр. Нехватка, которую не восполняет символ. Объект в переносе. Маргарет Литтл и ее большое R. Интерпретация-вырез

XI. Желание: расстановка акцентов ...183

От обратного переноса к желанию аналитика. Желание как воля к наслаждению. Желание, от борьбы к любви

ТРЕВОГА МЕЖДУ НАСЛАЖДЕНИЕМ И ЖЕЛАНИЕМ

XII. Тревога, сигнал реального ...195
Страхи Чехова. Сосок и опадающий объект. Агата и Люсия. Извращение и тревога Другого. От детумесценции к кастрации

XIII. Афоризмы о любви ...210
Отрицание по-русски. Желание и профессор. Субъект наслаждения. а не является означающим. Мужчина и женщина

XIV. Женщина, более истинная и более реальная ...225
Ослепленный Тиресий. Дыра, пустота, горшок. Женщина не испытывает нехватки. Дон Жуан, мета женщины. Люсия Тауэр и ее желание

XV. Предмет мужской заботы ...243
Люсия Тауэр и эдипова комедия. То, чего не хватает, предмет мужской заботы. То, что смехотворно именуют перверсией. Ваза, у которой ни внутреннего ни внешнего нет. Обрезание как установление

ПЯТЬ ФОРМ ОБЪЕКТА маленькое а

XVI. Веки Будды ...263
Причина, синкопа объекта. Достоверность тревоги. Евреи и функция маленького а как остатка. Христианский мазохизм. Мужчина или женщина?

XVII. Рот и глаз ...284
Губы, зубы, язык. Грудной младенец, паразит. Пункт тревоги и пункт желания. Тревога и оргазм. Скопическое устранение кастрации

XVIII. Голос Ягве ...301
Райк и использование символа. Звук шофара. Чтобы Бог помнил. Функция родинки. То, что на нас глядит

XIX. Исчезающий фаллос ...318
От тревоги перед кастрацией к оргазму
Педагогика кастрации. Наслаждение в фантазме. Дефекация человека-волка. Вечно слишком рано. Тупики желания

XX. То, что входит через ухо ...332
Обманчивое фаллическое могущество. Монолог ребенка. Креветка Исаковера. Инкорпорация голоса. Боги в ловушке желания

XXI. Кран Пиаже ...347
Категория причины. Оформление симптома. История понимания. Вода и желания. Пять уровней формирования а

XXI. От анального к идеальному ...365
Циркулярное формирование объекта. Происхождение причины. Джонс и непорочное зачатие. Любить по ту сторону фаллоса. Желание богов

XXI. Об окружности, несводимой к точке ...385
Об объекте, подлежащем уступке. О желании-защите. О делах и поступке. О заместителях фаллической дыры. Любовь и желание у страдающего неврозом навязчивости

XXI. От *а* к Именам-Отца ...403
Зрительная маскировка объекта а. Рождение как вторжение Другого. Разлучать и удерживать. Скорбь, мания, меланхолия

Примечание редактора ...421

Жак Лакан

Тревога

Семинары: Книга X (1962/63)

Перевод с французского – *Александр Черноглазов*

Редакторская поддержка – О. Никифоров (глл. 1-6, 16-24), Н. Гомоюнова (глл. 12-15), М. Страхов (глл. 7-11)

Корректура – a.kefal. *Препринт* – letterra.org

Издательство "Гнозис", Издательство "Логос"
Москва, Зубовский пр, 2 стр. 1
e-mail: letterra@gmail.com; logospublishers@gmail.com
Справки и оптовые закупки по адресу:
Книжный магазин "Гнозис", тел. (499)2557757.

Подписано в печать 04.11.2010. Формат 60x90/16.
Печать офсетная. Печ. л. 26,5.
Тираж 3000 экз. Заказ № 1872.
Первый завод (1-2000)

Отпечатано в ППП "Типография "Наука"
121099 Москва, Шубинский пер., 6

ЛОГОС ГНОЗИС

КНИГА 1 • **Работы Фрейда по технике психоанализа**
КНИГА 2 • **"Я" в теории Фрейда и в технике психоанализа**
LIVRE III • Les psychoses
LIVRE IV • La relation d'objet
КНИГА 5 • **Образования бессознательного**
LIVRE VI • Le désir et son interprétation
КНИГА 7 • **Этика психоанализа**
LIVRE VIII • Le transfert
LIVRE IX • L'identification
КНИГА 10 • **Тревога**
КНИГА 11 • **Четыре основные понятия психоанализа**
LIVRE XII • Problemes cruciaux pour la psychanalyse
LIVRE XIII • L'objet de la psychanalyse
LIVRE XIV • La logique du fantasme
LIVRE XV • L'acte psychanalytique
LIVRE XVI • D'un Autre à l'autre
КНИГА 17 • **Изнанка психоанализа**
LIVRE XVIII • D'un discours qui ne serait pas du semblant
LIVRE XIX • ... ou pire
LIVRE XX • Encore
LIVRE XXI • Les non-dupes errent
LIVRE XXII • R.S.I.
LIVRE XXIII • Le sinthome
LIVRE XXIV • L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre
LIVRE XXV • Le moment de conclure
LIVRE XXVI • La topologie et le temps